

АКАДЕМИЯ НАУК СССР  
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

# ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ  
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

**1**

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ

«Н А У К А»  
МОСКВА — 1990

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
БАНЕР В. (ГДР)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШТЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПИЛЬХ Г. (ФРГ)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	ПОЛОМЕ Э. (США)
БУДАГОВ Р. А.	РАСТОРГУЕВА В. С.
ВАРДУЛЬ И. Ф.	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВАХЕК Й. (ЧССР)	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ВИНТЕР В. (ФРГ)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЖАУКЯН Г. Б.	УОТКИНС К. (США)
ДОМАШНЕВ А. И.	ФИШЬЯК Я. (ПНР)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)	ХЕМП Э. (США)
ЗИНДЕР Л. Р.	ШВЕДОВА Н. Ю.
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КОМРИ Б. (США)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУПШИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРЬАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания», Тел. 203-С0-78

## СОДЕРЖАНИЕ

Хегер К. (Гейдельберг). Ноэма как <i>tertium comparationis</i> при сравнении языков	5
Рона-Таш А. (Будапешт). Алтайский и индоевропейский (Заметки на полях книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова)	26
Десницкая А. В. (Ленинград). О понятии вторичного генетического родства и его значении для исследования проблем балканистики	38
Гиндин Л. А. (Москва). Лувийцы в Трое (Опыт лингвофилологического анализа)	45
Яковлев А. В. (Москва). Пограничные сигналы языка африкаанс, связанные с вариативностью произношения	66
Алексахина А. Н. (Москва). Структура слога китайского языка как проявление системообразующих свойств согласных и гласных (Теория согласно-гласной коартикуляции)	72
Лернер К. Б. (Тбилиси). К вопросу о социолингвистических условиях эволюции грамматической категории (На материале истории грузинского языка)	89
Молчанова О. Т. (Львов). Модели географических имен в тюркских и индоевропейских языках	101
Попов В. Н. (Москва). Русские глаголы со значением несуществования в их противопоставленности глаголам со значением существования	114
Иванесян Е. Р. (Москва). Понятие перспективы в семантическом описании глаголов движения	128

### ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В. И. Даль. Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка	134
Диброва К. Ю., Ступин Л. П. (Ленинград). О теоретических взглядах Л. Блумфила	138

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Рецензии

Софронов М. В. (Москва). <i>Norman J. Chinese</i>	149
Полинская М. С. (Москва). <i>Оглоблин А. К. Мадурский язык и лингвистическая типология</i>	154
Загоровская О. В. (Сыктывкар). <i>Сороколетов Ф. П., Кузнецова О. Д. Очерки по русской диалектной лексикографии</i>	159
Кальниш В. В., Прокопова Л. И. (Киев). <i>Златоустова Л. В., Потапова Р. К., Трунин-До некой В. Н. Общая и прикладная фонетика</i>	162
Пюрбеев Г. Ц. (Москва). <i>Скрибник Е. К. Полипредикативные синтетические предложения в бурятском языке: структурно-семантическое описание</i>	165

#### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	169
----------------------	-----

## CONTENTS

H e g e r K. (Heidelberg). The noeme as tertium comparationis in comparative analysis of languages; R o n a -T a s A. (Budapest). Altaic and Indo-European. Marginal remarks on the book of T. V. Gamkrelidze and V. V. Ivanov; D e s n i c k a j a A. V. (Leningrad). On the notion of the secondary genetic affinity and its importance for the study of Balkan linguistics; G i n d i n L. A. g. (Moscow). The Luvians in Troy (an essay of linguo-philological analysis); J a k o v l e v A. V. (Moscow). Juncture in Afrikaans caused by variations in pronunciation; A l e k s a x i n A. N. (Moscow). System-forming features of consonants and vowels as reflected in the Chinese syllable-structure (theory of consonantal-vocal coarticulation); L e r n e r K. B. (Tbilisi). The sociolinguistic factors contributing to the evolution of a grammatical category (founded on the material illustrating the history of the Georgian language); M o l e a n o v a O. T. (Lvov). Patterns of geographical names in the Turkic and Indo-European languages; P o p o v V. N. (Moscow). The opposition of verbs of non-being and being in Russian; I o a n e s i a n E. R. (Moscow). The notion of perspective in the semantic description of the verbs of motion; From the history of science: V. I. Dal'. The cant of St-Petersburg rogues; D i b r o v a K. Yu., S t u p i n L. P. (Leningrad). On the theoretical views of L. Bloomfield; Reviews: S o f r o n o v M. V. (Moscow). *Norman J.* Chinese; P o l i n s k a j a M. S. (Moscow). *Ogloblin A. K.* The Madur language and linguistic typology; Z a g o r o v s k a j a O. V. (Syktyvkar). *Sorokoletov F. P., Kuznecova O. D.* Sketches of Russian dialectal lexicography; K a l ' n i s V. V., P r o k o p o v a L. I. (Kiev). *Zlatoustova L. F., Potapova R. K., Trunin-Donskoj V. N.* General and applied phonetics; P j u r b e e v G. Ts. (Moscow). *Skribnik E. K.* Polypredicative synthetic sentences in the Buriat language: structural and semantic description; Scientific life.

© 1990 г.

ХЕГЕР К.

**НОЭМА КАК TERTIUM COMPARATIONIS  
ПРИ СРАВНЕНИИ ЯЗЫКОВ**

## 0. Введение

**0.1. Задачи работы**

Излагаемая ниже концепция ноэматического *tertium comparationis*, используемого при сравнении языков, ориентированном на означаемое, возникла в последние 30 лет в результате усилий лингвистов представить теоретические предпосылки языкового сравнения в наиболее эксплицитной форме. То, что отдельные языки в том или ином отношении сопоставимы и могут сравниваться друг с другом по меньшей мере в неявном виде, является предпосылкой любой области сравнительного языкознания и переводческой деятельности. Более того, именно опыты языкового сравнения и соответственно выяснение сущности феномена различия и сравнимости отдельных естественных языков находились в центре внимания наиболее ранних исследований по языкознанию, теории языка и лингвистической философии. В качестве древнейшего из известных примеров можно упомянуть решавшуюся около четырех тысяч лет назад задачу по переводу с шумерского на аккадский.

Предпосылкой всякого сравнения является наличие по меньшей мере двух сравниваемых объектов (*comparanda*) и одного основания сравнения (*tertium comparationis*); для научно обоснованного сравнения необходимо, чтобы *comparanda* и *tertium comparationis* были представлены в эксплицитном виде. Применительно к *comparanda* при языковом сравнении отдельных языков это требование соблюдается в той мере, насколько адекватен их анализ и основывающееся на нем описание. В то время как для некоторых языков это условие выполняется хотя и не идеальным, но, по-видимому, более или менее удовлетворительным образом, в отношении требуемых *tertium comparationis* дело обстоит несколько иначе. В особенности это касается различия между возможностью при сравнении фонем и фонологических систем различных языков [т. е. при сравнении служащих для различения значения единиц (второе членение — «*deuxieme articulation*» — по А. Мартине), которые принадлежат исключительно сфере означающего (Ф. де Соссюр) языкового знака] более или менее однозначно эксплицировать фонетически определенные или поддающиеся определению *tertium comparationis*, с одной стороны, и традицией вообще не эксплицировать или эксплицировать не слишком убедительным образом *tertium comparationis*, используемые при сравнении значащих единиц первого членения («*premiere articulation*»), т. е. при сравнении, ориентированном на означаемое, с другой стороны. Речь идет либо о категориях, соотносимых с одним из сравниваемых языков или с третьим языком (раньше это обычно была латынь, а в наши дни, в соответствии с ориентацией школь-

ного образования, английский), либо о таких подставляемых по мере необходимости внеязыковых денотатах, которые были гипостазированы в *tertium comparationis*. В первом случае нарушается условие, согласно которому *tertium comparationis* при сравнении отдельных языков не должно быть одним из них, во втором — условие, согласно которому *tertium comparationis* должно быть достаточно тесно связано и сопоставимо в рамках теории с *comparanda*.

В этой ситуации естественно было бы поставить вопрос о более подходящем *tertium comparationis* для языкового сравнения, ориентированном на означаемое, и попытаться ответить на него, чтобы решить следующие задачи:

1. Существующие модели языкового знака должны быть усовершенствованы таким образом, чтобы в них нашлось место единицам, не связанным с конкретными языками, т. е. не зависящим от особенностей одного или нескольких конкретных языков, но достаточно тесно связанным с языком в целом и в этом смысле не являющимся внеязыковыми [1], — ноэмами, причем была бы обеспечена их сопоставимость в рамках теории со знаками отдельных языков, предусмотренными в качестве *comparanda* (см. ниже § 1).

2. Необходимая для таких ноэм независимость от конкретных языков должна быть доказана как в общем виде, так и с помощью примеров — путем построения по меньшей мере нескольких частных ноэматических систем (см. ниже § 2).

3. Учитывая возможность того, что одна и та же ноэматическая категория в одном языке может быть выражена лексическими средствами, в другом — морфосинтаксическими, в третьем — с помощью целого предложения, а в четвертом — с помощью перифраз еще большего объема, должна быть построена иерархия значащих единиц различной протяженности, которые на уровне абстракции, соответствующем системам языка (*langue*), могут быть названы с и г н е м а м и (см. ниже § 3).

## 0.2. Исторический экскурс

Основные теоретические предпосылки рассматриваемой концепции были заложены представителями различных европейских школ преимущественно структуралистского направления. Имена Соссюра и Мартина уже были названы во Введении. Решающую роль в возникновении рассматриваемой здесь концепции сыграла «Теория языка» К. Бюлера [3—5]. Это относится и к попыткам найти подходящее *tertium comparationis* с целью «зафиксировать принципы сопоставления, позволяющие систематизировать все существующие различия при универсальном сравнении человеческих языков» [2, с. XXII], и к решению отдельных задач, связанных с построением моделей знака (см. ниже § 1.2), и к построению фрагментов ноэматических систем (см. ниже § 2.2), и к разработке свободной от тривиальной рекурсивности иерархии сигнемных рангов (см. ниже § 3.1.3.). Помимо Бюлера, важную роль сыграли идеи, связанные с традицией Пражской школы, — речь идет о построенных Э. Кошмидером фрагментах ноэматических систем временного дейсиса (ср. [6, 7]) и о необходимой для построения иерархии сигнемных рангов актантной модели, разработанной в «Структурном синтаксисе» Л. Теньера [8]. Для усовершенствования существующих моделей знака не меньшее значение имели работы моего учителя и друга К. Балдингера (ср. [9]) и нашедшие в них продолжение идеи нашего общего учителя В. фон Вартбурга — в особенности идея о комплементарности семасиологии и ономасиологии.



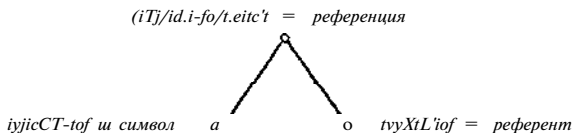


Рис. 1.

сигнификат семема поэма I

сигнификант

элемент/класс

Рис. 2.

Из числа франкоязычных структуралистов, помимо Соссюра и Мартине, следует упомянуть работы Б. Поттье и А. Греймаса. Наконец, я обязан идеям, возникшим на последних этапах создания моей теории, тесному сотрудничеству с руководимой Г.-Я. Зайлером Кёльнской группой по исследованию универсалий (УНИТИП) (ср. [10]).

## 1. Модель знака

### 1.1. Построение

Путь, который привел автора от классического семантического треугольника в том виде, в каком он был описан в 1923 г. Ч. К. Огденом и А. А. Ричардсон [11] (ср. рис. 1), и от использовавшейся в большинстве моих работ трапециоидной модели (см. рис. 2) к гораздо более сложному многоугольнику, детально описан в [12]. В двенадцатиугольнике разграничиваются — строго параллельно для означающего и означаемого — четыре качественно различных и два количественно различных уровня. При этом четыре качественно неодинаковых уровня соответствуют различию: 1) формы (= уровень 1) и 2) субстанции (= уровень 2), на которые, вслед за Соссюром, обратил внимание Л. Ельмслев, 3) представления говорящего, оперирующего знаком, об означающем (= соссюрловскому акустическому образу — «image acoustique») и означаемом [= «представлению о предмете» («Dingvorstellung»), ср. [13] (= уровень 3)] и, наконец, 4) обеих точек основания классического треугольника, т. е.  $\sigma\text{Т}j\text{ia}\sigma/\sigma\text{v}$ , понимаемого как четырехмерное множество или класс множеств акустических (в случае письменной речи — оптических) пространственно-временных координат (= символу, соссюрловской фонической форме — «forme phonique»), и  $z\text{>}j\text{f}\sim/\text{.b.vov}$ , понимаемого как n-мерное множество точек (= референту), т. е. как денотат, который можно представить в виде элемента или класса таких элементов (= уровень 4).

На уровне 2 предусмотрены два дополнительных количественно различных уровня, которые первоначально были введены для анализа означаемых, но могут быть также весьма полезны для анализа означающих. Это разграничение отражает, во-первых, осуществляющийся в два этапа

процесс, разработанный на основе трудов Б. Поттье (см. особенно [14]), во-вторых, применяемый на обоих этапах метод и, в-третьих, предусмотренные на первом из этих этапов итоговые единицы; их различие заключается исключительно в предусмотренном на втором этапе конечном результате. Первый этап связан с явлениями полисемии и/или омонимии и предусматривает возможность описывать сигнификат в виде дизъюнкции различных семем; по аналогии представляется целесообразным описывать (абстрактную) фонему в виде дизъюнкции конкретно-языковых аллофонов (аллофонем), находящихся в дополнительной дистрибуции в соответствии с теми или иными критериями. Следующий за этим второй этап соответствует тому, что\* известно под названием компонентного анализа, и восходит в конечном счете к классическому определению по родовой близости и видовому отличию (*definitio per genus proximum et differentiam specificam*), от которого он отличается лишь тем, что принципы родовой близости (*genus proximum*) и видового отличия (*differentia specifica*) взаимозаменяемы. Тем самым исключается иллюзия универсальной понятийной пирамиды.

В терминах конъюнкций компонентов на втором этапе могут описываться семы и аллофонемы; причем статус этих компонентов таков, что позволяет разграничить два дополнительных уровня: на уровне 2а в качестве такого рода компонентов предусматриваются минимально-дистинктивные и, тем самым, по определению, специфические для соответствующего конкретного языка признаки, которые в качестве компонентов семем носят название сем, а в качестве компонентов аллофонем — обычное название д и с т и н к т и в н ы х п р и з н а к о в; на уровне 2б, предусматриваются не связанные с конкретными языками компоненты, которые в качестве компонентов семем называются н о э м а м и, а в качестве компонентов аллофонем — ф о н е т и ч е с к и м и п р и з н а к а м и.

Проблема независимости ноем от конкретного языка будет подробно рассмотрена в § 2. Здесь же будут даны некоторые разъяснения по поводу неожиданного на первый взгляд разграничения между дистинктивными и фонетическими признаками (алло)фонем. Хорошо известна возможность разложения (алло)фонем на дистинктивные и/или фонетические признаки; меньше внимания обычно уделялось неясному с терминологической точки зрения вопросу относительно необходимой степени точности фонетического описания этих признаков. Здесь важно различать, с одной стороны, специфические конкретно-языковые д и с т и н к т и в н ы е п р и з н а к и, фонетическое описание которых должно быть настолько точным, чтобы их можно было отличить от других дистинктивных признаков того же языка; в этом смысле, например, высказывание о том, что оппозиция фонем /p/ vs. /b/ соответствует оппозиции признаков «глухой» vs. «звонкий», может быть принято и для немецкого, и для французского языков; с другой стороны, следует учитывать не связанные с конкретным языком ф о н е т и ч е с к и е п р и з н а к и, фонетическое описание которых должно быть настолько точным, чтобы учесть все релевантные различия между отдельными конкретными языками; в этом смысле немецкий и французский различаются как раз тем, что оппозиция фонем /p/ vs. /b/ основывается во французском на противопоставлении признаков «глухой» vs. «звонкий», а в немецком — в первую очередь на противопоставлении признаков «сильный» («fortis») vs. «слабый» («lenis») и, кроме того, на диатонически ярко выраженной вторичной оппозиции признаков «придыхательный» vs. «непридыхательный», причем оба члена оппозиции являются глухими.



## 1.2. Означающее : означаемое

Прежде чем перейти к итоговому описанию различных составных частей уточненной модели знака и построению общей схемы, необходимо указать еще на одну проблему, которая, на первый взгляд, возникает при попытке следовать строгому параллелизму при анализе означающего и означаемого. Как известно, означаемому обычно соответствует означающее, представляющее собой упорядоченную и иногда даже прерывную последовательность фонем, а не отдельную фонему, определяемую, по А. Мартине, как минимальный сегмент «второго членения». Но не следует на основании этого подвергать сомнению правомерность описываемой ниже схемы, поскольку соответствующая ей модель знака в плане означаемого также может считаться адекватной для минимальных сегментов, т. е. для того, что, вслед за А. Мартине, можно назвать монемами. Разумеется, с каждой из двух сторон знака существуют и неминимальные сегменты, для которых эта модель *mutatis mutandis* также должна быть справедлива. Что же касается единиц, служащих для различения значения («второе членение», по Мартине), то здесь можно было бы упомянуть противопоставление акцентных последовательностей (например, исп. *termino : termino* : *termino*), интонационные противопоставления типа «восходящий» vs. «нисходящий» или тактематические противопоставления в области порядка слов. Эксплицитное представление неминимальных сегментов в плане означаемого — задача иерархизации сигнемных рангов (см. ниже § 3.), но уже сейчас следует тем не менее подчеркнуть, что означаемое значащей единицы («первое членение», по Мартине) независимо от того, какому сигнемному рангу оно принадлежит, не может подвергаться никаким неоднозначно сформулированным ограничениям: например, различаемые К. Бюлером в его модели Органона (см. [2, с. 24—33]) функция симптома, или функция экспрессии, и функция сигнала, или апеллятивная, являются компонентами одного сигнификата на том же основании, что и функция символа, или репрезентативная (см. ниже § 4.).

## 1.3. Выводы

Составные части уточненной описанным выше образом модели знака могут быть схематически представлены в следующем виде (см. табл. 1). Два из шести различающихся на этой схеме уровней особенно важны для решения наших задач. Уровень 2b — это место перехода от связанного с конкретным языком сигнификата к независимой от конкретного языка ноэме; в качестве решающего для этого перехода связующего звена выступает семема, которую можно представить как в виде дизъюнктивного элемента конкретно-языкового сигнификата, так и в виде конъюнкции независимых от конкретного языка ноэм. Аналогичным образом локализующееся на уровне 3 представление о предмете («Dingvorstellung») в зависимости от того, интерпретируется ли оно (в рамках антропологически универсальной концепции языковой психологии) в качестве языковой единицы или же (в рамках физической нейрофизиологии) в качестве внеязыковой единицы (это различие теснейшим образом связано с вопросом о соотношении языка и мышления, который здесь не рассматривается), является точкой перехода от языковой (в самом общем смысле) к внеязыковой области, в связи с чем ноэма предстает как единица, которая не является внеязыковой, но в то же время не принадлежит ни одному конкретному языку.

Уровень	Означающее	Означаемое
1	сигнема выражения	сигнема содержания
2	сигнификат	сигнификат
2а	фонема   аллофонема ↓ дистинктивный признак	сигнификат   семема   сема
2б	фонема   аллофонема   фонетический признак	сигнификат   семема   ноэма
3	акустический образ	представление о предмете
4	фонетическая форма	денотат

## 2. Независимость от конкретного языка

### 2.1. Обоснование статуса ноэмы

Из приведенного в § 1 описания уровня 2б модели знака можно было бы заключить, что для «отыскания» ноэмы достаточно лишь подвергнуть семему данной конкретно-языковой значащей единицы достаточно глубокому компонентному анализу. Если бы это действительно было так — т. е. если, например, достаточно было бы разложить латинскую словоформу *уес-а-ба-н-т* «(они)убивали» на компоненты «каузатив», «отрицание», «живой», «I спряжение», «имперфект», «множественное число» и «3 лицо» и все эти компоненты квалифицировать как ноэмы, — тогда ноэма оказалась бы всего лишь новым термином для обозначения гипостазированной в *tertium comparationis* конкретно-языковой категории, против чего в § 0.1. были выдвинуты серьезные возражения. Не подлежит, конечно, сомнению, что описанный метод — особенно в тех случаях, когда он применяется к значащим единицам большого числа максимально различающихся по своей структуре языков, — представляет немалую эвристическую ценность и облегчает ответ на вопрос, в каких областях особенно необходимо и/или плодотворно определение нозм как *tertia comparationis* для языкового сравнения; тем не менее этот метод не может ни при каких обстоятельствах служить заменой требуемого обоснования независимости ноэмы от конкретного языка, т. е. обоснования ноэмного статуса компонента семемы.

Это обоснование может строиться лишь следующим образом: каждая ноэма должна соотноситься со строго отведенным ей местом внутри независимой от условий того или иного конкретного языка системы отношений. В качестве наиболее подходящих для этой цели систем отношений

(по крайней мере до сих пор) приводились реализуемые ad libitum комбинаторики, которые к тому же обладают тем преимуществом, что всегда могут быть подвергнуты необходимому количеству субспецификаций. Разумеется, здесь не может быть речи о чисто формальных комбинаториках; скорее необходимы содержательные посылки, аксиоматические заданные и невыводимые из подобного рода комбинаторик; для этих посылок в свою очередь требуется обоснование независимости от конкретного языка. Степень трудности такого обоснования может быть различной. С одной стороны, для посылок, получаемых на основании коммуникативных (например, в случае дейктических категорий) или антропологических (например, для системы терминов родства) универсалий, независимость от конкретного языка лежит на поверхности, и возможен даже случай, когда вполне традиционные описания языка — хотя бы имплицитно, — как правило, строятся на основе нозматических, а не конкретно-языковых критериев: числительные обычно приводятся в арифметическом порядке и не упорядочиваются или же упорядочиваются лишь вторично в соответствии с конкретно-языковыми критериями. С другой стороны, есть, конечно, и такие сферы — главным образом все те, которые связаны со спецификой социокультурных характеристик, — в которых обоснование независимости применяемых посылок от конкретного языка может быть осуществлено лишь достаточно сложным косвенным путем.

Все построенные таким образом комбинаторики могут, разумеется, выступать лишь в качестве частных нозматических систем; тем самым, по определению, исключается возможность построения глобальной нозматической системы, сравнимой с упомянутой в § 1.1. универсальной понятийной пирамидой. Причиной частного характера фрагментов нозматической системы является, во-первых, неограниченная рекурсивная повторяемость («Iterierbarkeit») многочисленных комбинаторик и, во-вторых, их способность подвергаться субспецификации, основывающаяся также на неограниченной способности к взаимному комбинированию различных комбинаторик друг с другом.

## 2.2. Частная нозматическая система личного дейксиса

Идеальным примером такой комбинаторики может служить предложенный впервые в [15] фрагмент нозматической системы личного дейксиса на его нижних комбинаторных ступенях. Посылками этой системы служат дейктическое поле, которое можно представить в виде обычной системы координат (см. [2, с. 102]), фиксация в качестве начала координат (точки отсчета, или нулевой точки) отправителя соответствующего речевого сообщения и оппозиция, которую любая категория образует со своим отрицанием. Для полноты следует отметить, что рассматриваемые К. Бюлером начальные точки координат (см. выше) временного и пространственного дейксиса, получаемые путем простого комбинирования с антропологически универсальными одноступенчатыми категориями (одномерного) времени и (трехмерного) пространства, могут быть превращены в посылки других нозматических систем. На первой ступени реализации комбинаторики может быть задана лишь оппозиция между нулевой точкой (0) дейктического поля, отождествляемой с отправителем соответствующего сообщения (E), и всеми отличными от нее ненулевыми точками (0). На второй ступени этот весьма неопределенный негативно заданный объект 0, характеризизуемый участием в коммуникативном акте E (в случае монолога — как адресат, в случае диалога — как потенциальный отправитель в другой момент времени), может быть подразделен на участ-

вующие в коммуникативном акте E (0E) и на не участвующие в нем (0Ė) ненулевые точки. Между прочим, это делает естественной замену обозначения 0 для нулевой точки, участвующей в E по определению, на OE. На третьей ступени остающийся пока неопределенным негативно заданный объект OE путем повторного и более детального соотношения с E и, соответственно, с определенными ранее нозматическими категориями ^личного дейксиса может быть подразделен, например, на 0Ė (0) и 0E(0), а последний, на четвертой ступени,— на 0E(0E) и 0E(0E) и т. д. Простейшим примером ономасиологического отображения конкретно-языковых сигнем, семемы которых соответствуют обнаруженным таким образом нозмам (т. е. идентичны с ними или содержат их в качестве компонентов), на соответствующие фрагменты нозматических систем, могут служить два следующих ряда:

	OE	OE	0E(0)	0E(0)
Немецкий:	<i>ich</i>	<i>du</i>	<i>dirsr(rf&lt;/l/s)</i>	<i>jene(r%ls)</i>
	<i>Ń</i>	OE	0E(0Ė)	0E(0E) OE(OE)
Латинский:	<i>ego</i>	<i>tu</i>	<i>h(i/aelo)c</i>	<i>ist(e jajud) ill(ejajud)</i>
	«Я»	«ты»	*эт(от/а/о)»	«т(от/а/о)»

### 2.3. Ономасиологическое отображение и конкретно-языковая структура

Уже этот элементарный пример показывает, что ономасиологическое отображение конкретно-языковых сигнем на фрагменты нозматических систем никоим образом не может претендовать на то, чтобы заменять репрезентацию конкретно-языковых структур. В этом смысле уже простое трехчленное противопоставление OE ^ «1 лицо», OE ss «2 лицо» и OĖ ^ «3 лицо» при применении к материалу немецкого языка привело бы к необходимости сделать следующий шаг и учесть оппозицию

*er : sie : es.*

Но для решения этой задачи в рамках ономасиологического отображения было бы необходимо, чтобы это отображение осуществлялось на фрагменте нозматической системы, которую можно было бы получить только в результате комбинирования описанного здесь фрагмента системы личного дейксиса с другим фрагментом нозматической системы, что соответствует релевантным для немецкого языка параметрам противопоставления по роду. Описание конкретно-языковых структур, включая необходимый для этого семасиологический анализ, с одной стороны, и создание не зависимо от конкретных языков нозматического tertium comparationis, в том числе ономасиологическое отображение соответствующих конкретно-языковых сигнем на это последнее, с другой,— слишком различные задачи, чтобы их можно было решить в рамках одного исследования.

## 3. Иерархия сигнемных рангов

### 3.1. Общие принципы

Необходимая для адекватного описания неминимальных сигнем (см. выше § 1.2.) иерархия сигнемных рангов предполагает соблюдение при ее построении следующих четырех принципов.

#### 3.1.1. Принцип исчерпывающего характера иерархии

Чтобы построить из единиц любого рода иерархию, которая носила бы исчерпывающий характер и не ограничивалась самопроизвольно своими собственными послылками, необходимо либо применяемый к наименьшим

единицам асцендентный метод, либо, наоборот^ применяемый к наибольшим единицам десцендентный метод.

### 3.1.2. Принцип асцендентности

Поскольку при исследовании значащих языковых единиц на нынешнем уровне лингвистических знаний менее рискованно рассматривать в качестве определенных или по крайней мере определяемых удовлетворительным образом именно наименьшие, а не наибольшие единицы, существует возможность применения лишь первого из двух предусмотренных в § 3.1.1. методов. Этот используемый, таким образом, по необходимости метод, применяемый к наименьшим единицам, предусматривает построение иерархии асцендентным способом (по восходящей — от меньших единиц к большим), оставляя ее открытой в верхней части и отказываясь от попытки определения того, что могло бы быть наибольшей значащей единицей (см. об этом также ниже, § 3.2.6.). Следует тем не менее подчеркнуть, что предпочтение, отданное асцендентному методу определения, имеет вторичный характер и обусловлено трудностью определения наибольших значащих единиц, что не свидетельствует, однако, о принципиальной недооценке десцендентного способа.

### 3.1.3. Принцип ранговой специфичности

Чтобы асцендентное построение требуемой иерархии сигнемных рангов не представляло собой простого повторного применения рекурсивных методов расширения, целесообразно воспользоваться идеей К. Бюлера о неповторимости и невозможности повторяемости отношения между словом и предложением (ср. [2, с. 258J). Применительно к обсуждаемым здесь принципам построения из этого следует, что указанные принципы должны гарантировать для каждого перехода от данного сигнемного ранга  $R_n$  к следующему, более крупному сигнемному рангу  $R_{n+1}$  особое, однозначно отличающее его от всех остальных ранговых переходов определение. Это определение строится путем введения соответствующей *differentia specifica* (ср. [16, с. 138]) для каждого последующего сигнемного ранга.

Введение этих *differentiae specificae* имеет два важных следствия для построения и характера иерархии сигнемных рангов. Поскольку вновь введенная *differentia specifica* позволяет осуществить дополнительные субспецификации, — что вероятнее всего в порядке вещей, — она может служить не только определением перехода от ранга  $R_n$  к рангу  $R_{n+1}$ , но и одновременно общим обозначением для всей группы рангов от  $R_n - 1$  до  $R_n + i$ , — которые различаются посредством обсуждавшихся выше субспецификаций. В случае описываемой здесь иерархии сигнемных рангов из этого следует возможность распределения предусматривавшихся до сих пор десяти (одиннадцати) сигнемных рангов по пяти однородным ранговым группам.

Второе важное следствие в известной степени дополняет первое. Поскольку каждая новая *differentia specifica* создает (по определению) своего рода гетерогенность относительно предыдущей ранговой группы и поскольку, с другой стороны, едва ли приходится считаться с тем, что каждая используемая здесь *differentia specifica* обладает одной и той же степенью релевантности для каждого отдельного языка, должны быть предусмотрены соответствующие возможности асцендентной и десцендентной смены рангов (ср. [17, с. 71—73]). В описываемом ниже случае это обеспечивается тем, что известные термины «свободный» и «связанный» уточняются в том смысле, что «свободной по рангу  $R_n$ » считается всякая сигнема

2<sup>n</sup> этого ранга, которая при асцендентной смене рангов без какого-либо дополнения может функционировать как сигнема  $2^{n+1}$  ранга  $R_n \neq 1$ , в то время как «связанными по рангу  $R_n$ » являются все те сигнемы  $2^m$ , которые могут характеризоваться рангом  $R_n \neq 1$  только в комбинации с другими сигнемами  $2^i$ , где  $1 < i < J$  п. В случаях, где при десцендентной смене рангов семема ранга  $R_n$  (см. ниже § 3.1.4.) принадлежит сигнификату и, тем самым, сигнеме, которая в силу другой *differentia specifica* уже квалифицируется как сигнема  $2^{n-1}$  ранга  $R_n - i$ , следует говорить о «редуцированных по рангу обозначениях семем более высокого ранга».

#### 3.1.4. Принцип независимости от конкретного языка

Иерархия сигнемных рангов, рассматриваемая как составная часть *tertium comparationis* при языковом сравнении, ориентированном на означаемое, должна, разумеется, удовлетворять тем же требованиям, что и само *tertium comparationis* в целом, в особенности — требованию нетождественности с *comparand a* — с одной стороны, и требованию совместности в рамках теории с этими *comparanda* — с другой. Оба эти требования необходимо выполнять, с одной стороны, посредством обоснования номного статуса *differentiae specificaе*, вводимых согласно § 3.1.3, и, с другой стороны, на основе того обстоятельства, что все возможные определения для рангов  $R > 1$  относятся не непосредственно к соответствующим сигнемам, а к их семемам как к важнейшим связующим звеньям между конкретно-языковой спецификой и независимостью от конкретного языка (см. выше § 1.3.); из этого следует, что полисемичная и/или омонимичная сигнема, включающие различные семемы, могут принадлежать к неодинаковым сигнемным рангам.

#### 3.2. Спгнемные ранги

Предлагаемое ниже описание дает общее представление о введенных к настоящему времени десяти (одиннадцати) сигнемных рангах; соответствующие определения и условные обозначения в более детальной форме содержатся в [17, 18]. Примеры их применения при десцендентном анализе конкретно-языковых сигнем приводятся в [19] для рангов с R1 по R8 и в [20] для рангов с R7 по R10.

##### 3.2.1. Лексические ранги

В соответствии с § 3.1.2. построение иерархии начинается с низшего сигнемного ранга R1 номем, т. е. с наименьших значащих единиц, или с минимальных сегментов в смысле «первого членения» Мартине. Применительно к семемам этих номем можно выделить\* два критерия, которые задают бинарное разбиение всей совокупности номем какого-либо конкретного языка.

Один из этих критериев вытекает из существования компонентов семем, которые дают рефлексивно-метаязыковую информацию о соответствующей сигнеме и/или о ее «весе» в качестве составной части сигнемы более высокого ранга; что же касается предметной области семем, то хотя соответствующая рефлексивно-метаязыковая информация и связана вполне однозначно с конкретным языком, метаинформация может быть сформулирована на любом языке и вследствие этого квалифицироваться как независимая от конкретного языка. Поскольку каждая семема содержит по крайней мере один рефлексивно-метаязыковой компонент такого рода и является носителем информации о принадлежности своей сигнемы к тому или иному конкретному языку, номемы могут подразделяться с по-

мощью этого критерия на: 1) мономы с исключительно рефлексивно-мета-языковыми семемами, например, латинский показатель типа спряжения *-a-* в словоформе *pec-a-ba-n-t* (см. выше § 2.1.), или та семема французского *potte*, которая содержит информацию лишь о роли этого элемента в качестве составной части сигнемы более высокого ранга *potte de terre* «картофель»; 2) мономы, не обладающие исключительно рефлексивно-мета-языковыми семемами, например, составные части *pec-*, *-Ba-*, *-n-* и *-t* латинской словоформы *pec-a-Ba-n-t*, или переводимая словом «яблоко» семема французского *potte*. Пример с французской мономой *potte* показывает, кроме того, что полисемичная и/или омонимичная сигнемы различными своими семемами могут принадлежать не только различным сигнемным рангам (см. выше § 3.1.4.), но и различным, располагающимся на одном сигнемном ранге сигнемным классам.

Второе подразделение всей совокупности монем конкретного языка известно как разграничение лексических (лексемы) и грамматических (граммемы) монем. Это подразделение, однако, нуждается в новом определении, соотносимом с соответствующими семемами. Обычному указанию на замкнутую парадигму (ср., например [21]) должно было бы довольно точно соответствовать определение, квалифицирующее такие мономы как граммемы, семемы которых являются константами или содержат константы, находящиеся друг с другом в нозматической системной связи (последняя непосредственно отражается на соответствующих сигнемных парадигмах). В качестве таких констант рассматриваются в первую очередь логические противопоставления, квалифицируемые как нозматические (типа оппозиции «утвердительный» vs. «отрицательный» или выводимые из нее шестнадцать юнкторов), а также выводимые из арифметического числового ряда квантитативные оппозиции. Кроме того, речь идет о выводимых на основе соотношения с соответствующим коммуникативным актом действительских оппозициях или о рефлексивно-мета-языковых оппозициях, полученных косвенным образом из определения более высоких сигнемных рангов. К последним относятся также различающиеся в зависимости от конкретного языка классификаторные парадигмы (типа оппозиций по роду или парадигм классных показателей, например, в языках банту или в языках с числовыми и другими классификаторами), если с их помощью — как обычно — одновременно передается рефлексивно-мета-языковая информация, например, в виде явлений конгруэнтности. Из приведенных выше примеров латинские мономы *-a-* (рефлексивно-мета-языковая информация о принадлежности к одному из латинских типов спряжения), *-Ba-* (темпорально-дейктическая спецификация), *-n-* (квантитативная спецификация) и *-t* (лично-дейктическая спецификация) являются граммемами» лат. *pec-* и франц. *potte* — на этот раз с обеими своими семемами, — напротив, *reg* *negationem* являются лексемами.

Из этих двух противопоставлений могут быть выведены субспецификации, которые позволяют дать следующее определение двух первых сигнемных рангов не самого нижнего уровня:

Ранг R1: м о н е м а (2<sup>1</sup>)

= минимальной с точки зрения сегментации сигнеме.

Ранг R2: а в т о с е м и ч н а я м и н и м а л ь н а я е д и н и ц а (2<sup>2</sup>)

= объединению

либо 1) лексемы с семемой, не являющейся исключительно рефлексивно-мета-языковой,

ч 2) связанных с этой лексемой монем с исключительно рефлексивно-мета-языковыми семемами,

либо

монем с исключительно рефлексивно-мета-языковыми семемами, которые в совокупности выполняют функцию лексемы, содержащей семему, которая не является исключительно рефлексивно-метаязыковой (например, франц. *potme de terre*).

Ранг R3: словоформа (E<sup>2</sup>)

= объединению 1) автосемичной минимальной единицы и 2) связанных с этой автосемичной минимальной единицей граммем (возможно, включая связанные с ними монемы с исключительно рефлексивно-метаязыковыми семемами).

Эти три ранга — единственные, определения которых еще не содержат рекурсивно применимых объектов и на основании которых поэтому может быть выведен конечный (существующий в конкретном языке) и исчерпывающим образом исчислимый инвентарь сигнем. Неслучайным, таким образом, является то обстоятельство, что эти ранги соответствуют традиционным предметным областям, с одной стороны, лексикологии и лексикографии (лексемы), с другой — морфологии (граммемы). Для нужд лексикологии и лексикографии рекомендуется в связи с этим определить для ранга R3 более абстрактную единицу-вокабулу (S<sup>3</sup>), состоящую из одной автосемичной минимальной единицы (или, в случае полиморфии, как у франц. *alter*, из нескольких находящихся в дополнительной дистрибуции внутри соответствующей парадигмы и ноэватически идентичных автосемичных минимальных единиц) и парадигм, связанных с этой (этим) автосемичной (автосемичными) минимальной (минимальными) единицей (единицами) граммем (включая, возможно, связанные с этой граммемой монемы с исключительно рефлексивно-метаязыковыми семемами).

### 3.2.2. Пропозициональные ранги

После того, как осуществляется объединение лексемы, обладающей неисключительно рефлексивно-метаязыковой семемой 2<sup>1</sup>, с монемами, имеющими исключительно рефлексивно-метаязыковые семемы (для ранга R2), и с граммемами (для ранга R3), переход от ранга R3 к следующей группе рангов требует наличия новой *differentia specifica*, обеспечивающей эксплицитное описание объединения двух или более лексем, содержащихся в соответствующем количестве словоформ 2<sup>3</sup>, с неисключительно рефлексивно-метаязыковыми семемами. Форма наиболее общего характера, к которой могут быть сведены в конечном счете все подобные объединения, — это соотношение какого-либо свойства с носителем свойств (элементом) или множеством носителей свойств (классом). Хотя при такой формулировке возникает ситуация, близкая к давнему спору об универсалиях (который, может быть, так ничем и не закончится), все же антропологической универсалией следует признать тот феномен, что естественные языки ведут себя таким образом, как если бы они стремились подчинить себе как существование свойств, так и существование носителей свойств. Тем не менее они фиксируют различие между этими двумя сущностями, обозначая свойства преимущественно в «свободной от субъекта» (ср. [2, с. 48—49]), т. е. в де ф и н и ц и о н н о й форме, а носителей свойств — в «соотносимой с субъектом», т. е. в д е й к т и ч е с к о й форме, — как непосредственно (например, в случае с личным местоимением *ich* «я»), так и косвенным образом (например, в случае с собственными именами, кото-



рые понятны лишь на основании знания отправителя (и/или адресата) о предшествовавшем акте крещения].

В ходе обсуждения основных положений грамматики зависимостей Л. Теньера в работах [22; 17, гл. 4; 18, гл. 2] в качестве способа репрезентации такого рода соотношения свойств с носителем свойств была разработана актанта́я модель. Тремя ее основными компонентами являются: выступающий в роли носителя свойств или класса носителей свойств актанта́ (А), выступающий в роли свойства релятор (R) и осуществляющий соотношение свойств (и в этом случае маркированный положительно) или не осуществляющий эксплицитно такого соотношения (и в этом случае маркированный отрицательно) предикатор (P).

Ввиду кажущихся аналогий, которые актанта́я модель обнаруживает со стеммами Л. Теньера (они восходят к основным идеям работы [8]), необходимо подчеркнуть, что актанты, реляторы и предикатор следует понимать исключительно как номатические категории. Только они непосредственно отображаются актанта́ной моделью, в то время как непосредственно отображаемые в грамматике зависимостей сйнемы соответствующих конкретных языков могут быть опомасиологически отображены лишь на второй ступени после исчерпывающего семасиологического анализа (см. выше § 2.3.).

Поскольку представленные релятором R свойства могут быть как одноместными (GR), так и двуместными ( ${}_2R$ ) атрибутами, то отсюда проистекает первая возможность субспецификации вновь введенной *differentia specífica*. Другая возможность субспецификации следует из особенности представленной здесь иерархии сигнемных рангов: поскольку большая часть констант, обозначаемых во многих языках граммемами (см. выше § 3.2.1.), служит для спецификации семем, локализуемых только на рангах R4 и R5, или их компонентов, эти константы в зависимости от обстоятельств должны снова вводиться после ранга R5, иначе их невозможно было бы принять во внимание в тех случаях, когда язык пользуется для их обозначения средствами, отличными от граммематических. Строго говоря, они образуют отдельную, следующую *differentia specífica*. Однако ввиду их возможного объединения уже в определении словоформ  $2^3$  ранга R3 кажется предпочтительным помещать их вместе с рангами R4 и R5 в особую группу рангов. Эта группа рангов объединяет следующие ранги:

Ранг R4: композиционная форма ( $2^4$ )

=F объединению 1) словоформы

и 2) сигнем  $2^{i1}$  рангов  $R_i$ , где  $1 < i < 3$ , которые посредством соотношения одноместных реляторов  $jR$  связаны с этой словоформой.

Ранг R5: препозиционная форма ( $2^5$ )

= объединению 1) композиционной формы

и 2) сигнем  $2^i$  рангов  $R_i$ , где  $1 < i < 4$ , которые посредством соотношения двуместных реляторов  ${}_2R$  связаны с этой композиционной формой.

Ранг R6: специфицированная препозиционная форма ( $2^6$ )

= объединению 1) препозиционной формы

и 2) сигнем  $S^i$  рангов  $R_i$ , где  $1 < i < 5$ , семемы которых являются постоянными спецификациями компонентов актанта́ной мо-

дели, соответствующей этой пропозиции,, или содержат эти спецификации.

### 3.2.3. Ранги предложения

В качестве новой *differentia specifica*, обеспечивающей переход от ранга R6 к следующей группе рангов, служит *ассерция*, с помощью которой отправитель сообщения ОЕ (см. выше § 2.2.) принимает на себя коммуникативную нагрузку, с тем чтобы при прочих равных условиях пропозициональное содержание произнесенной им специфицированной пропозициональной формы 2<sup>6</sup> и соответствующие этому пропозициональному содержанию экстенциональная среда в данной денотативной области были согласованы друг с другом. Эта ассерция может либо непосредственно передаваться отправителем ОЕ, например, в случае обычного высказывания, либо быть особо маркирована как отсутствующая и вследствие этого требующая дополнительной передачи. Этот второй случай соответствует значительной части того, что принято называть *речевыми актами*, и представляет собой первый шаг к систематизации этих речевых актов, основывающийся на следующих двух различиях: отправитель ОЕ может адресовать требование о передаче недостающей ассерции себе самому (ОЕ), адресату (ОЕ) или третьему лицу (ОЕ); отсутствующее коммуникативное требование взаимности при согласовании пропозиционального содержания и экстенциональных характеристик может быть реализовано либо в форме ассерции пропозиционального содержания (языковыми средствами), либо путем создания соответствующей экстенциональной среды (неязыковыми средствами). Из этих двух различий следует приводимая ниже шестичленная таблица, которая, естественно, может служить для осуществления дальнейших (в ряде случаев вполне очевидных) субспецификаций:

Таблица 2

В форме	Ассерция, требуемая от		
	Говорящего ОЕ	Слушающего ОЕ	ОЕ
Языковых средств	Риторический вопрос, на который должен отвечать говорящий INRH	Вопрос  INT	Риторический вопрос, на который не может быть дан ответ  ШОР
Неязыковых средств	Обещание, обязательство, угроза и т. д. PROM	Просьба, приказ, запрещение и т. д. IMP	Желание  OPT

Третья группа рангов охватывает, таким образом, два следующих сигнемных ранга —

Ранг R7: пропозициональная форма, специфицированная относительно речевого акта (E<sup>7</sup>) = объединению 1) специфицированной пропозициональной формы 2<sup>6</sup> и 2) сигнем 2' рангов R<sub>i</sub>, связанных с этой специфицированной пропозициональной формой (2<sup>c</sup>), где  $1 \wedge i \wedge 6$ ; семемы этих сигнем

являются спецификациями относительно речевых актов или содержат такие спецификации.

Ранг R8: ассертированная пропозиционная форма (2<sup>«</sup>)

= либо объединению 1) специфицированной пропозициональной формы 2<sup>«</sup>

и 2) связанных с этой специфицированной пропозициональной формой 2<sup>«</sup> сигнем 2\ где  $1 < i < 7$ ; семемы этих сигнем являются ассерциями или содержат их,

либо паре, состоящей из:

1) специфицированной относительно речевого акта пропозициональной формы 2<sup>7</sup>

и 2) сигнемы 2<sup>i</sup> рангов R<sub>i</sub>, где  $1 < i < 8$ ; семема этой сигнемы является соответствующей реакцией на речевой акт или содержит ее, в частности, например, из вопроса и ответа на него или из приказа и описания его выполнения.

### 3.2.4. Пресуппозиционная структура

Ассертированные пропозициональные формы S<sup>8</sup> ранга R8, располагающиеся в одной и той же последовательности сигнем, и — по крайней мере, по некоторым критериям — пропозициональные формы 2<sup>7</sup> ранга R7, специфицированные относительно речевых актов, могут обнаруживать определенные общие признаки и в этом случае объединяться в конструкции, которые в свою очередь предполагают соответствующий общий признак. Такие общие признаки могут, таким образом, служить для того, чтобы определять как новые *differentiae specificae* соответствующие пресуппозиционные структуры, выступающие в качестве сигнем рангов R<sup>^</sup> > 8. Поскольку, однако, различные пресуппозиционные структуры не только связаны друг с другом, но и допускают неограниченно-рекурсивное подчинение друг другу, все эти пресуппозиционные структуры следует квалифицировать как сигнемы 2<sup>9</sup> отдельного ранга R9, допуская между ними самые разнообразные комбинаторные отношения (в связи с первоначальной попыткой распределить различные пресуппозиционные структуры по различным сигнемным рангам R<sup>^</sup> > 8 ср. справедливую критику в [23; с. 140—144; 16, с. 143—144]). В разработанной к настоящему времени иерархии сигнемных рангов предусмотрены следующие пресуппозиционные структуры 2<sup>9</sup> ранга R9:

Ассертивная пресуппозиционная структура (2<sup>9E</sup>), определяемая как цепочка сигнем 2<sup>8</sup> или сигнем 2<sup>8</sup> и 2<sup>7</sup>, в которых каждый непервый член в какой-либо форме — преимущественно в форме выражения «согласия» (*Konsens*) или «разногласия» (*Dissens*) — соотносится с ассерцией предыдущей сигнемы 2<sup>8</sup>.

Актантная пресуппозиционная структура (2<sup>9A</sup>), определяемая как цепочка сигнем 2<sup>7</sup> и/или 2<sup>8</sup> (или как цепочка таких цепочек), каждая из которых содержит по меньшей мере один набор актантов, кореферентный с набором актантов, содержащимся в предыдущей (анафорическая идентификация) или в последующей (катафорическая идентификация) сигнемах 2<sup>7</sup> или 2<sup>8</sup>.

Монологическая пресуппозиционная структура ( $2^{9K^4(M^{*1})}$ ), определяемая как цепочка сигнем  $2^8$ , среди которых есть по крайней мере одна сигнема  $2^7$  или  $2^8$  и которые все без исключения исходят от одного и того же отправителя  $OE_{(M^*, a)}$  к одному и тому же адресату (или кругу адресатов)  $OE^{\wedge, i31}$ .

Диалогическая пресуппозиционная структура ( $2^{9K^*}$ ), определяемая как цепочка, состоящая из  $p$  монологических пресуппозиционных структур — от  $2^i$  &lt;math>^<math> до  $2^p$  ( $P$  в которой в каждой монологической пресуппозиционной структуре  $2^{i < i < p}$ ), помимо отправителя  $OE_{QJ}$ , участвуют все остальные отправители от  $OE_{(M_i)}$  до  $OE_{(M_p)}$  и все адресаты от  $OE^{\wedge, x}$  до  $OE^{\wedge, p}$ ). Как только отправителем более высокого ранга  $OE^{v-1}$  осуществляется референция и/или ассерция в отношении диалогической пресуппозиционной структуры  $2^i$  или цепочки из  $m$  диалогических пресуппозиционных структур от  $2^{i-1}$  до  $2^i$ , на следующем коммуникативном уровне  $K^{v-1}$  она автоматически превращается в

Полиорациопальную пресуппозиционную структуру ( $2^{9K}$ ), где можно разграничить различные коммуникативные уровни от  $K^1$  до  $K^n$ , на которых следует локализовать соответствующие диалогические пресуппозиционные структуры  $2^i$  (в этой структуре  $1 < i < 1 \wedge 1 \wedge J \wedge m$ ); составная часть самого высокого ранга этих диалогических пресуппозиционных структур —  $2^{9K^*}$  — соответствует так называемому гиперпредложению, которое вводит отправителя  $OE^1$  и адресата (адресатов)  $OE^1$  высшего коммуникативного уровня  $K^1$ . Ввиду неограниченно-рекурсивных возможностей ранга  $R9$  необходимо допустить для всех упомянутых в § 3.2.4. позиций  $2^7$ ,  $2^8$  и  $2^8$  также все сигнемы  $2^9$  ранга  $R9$  за исключением гиперпредложения  $2^{9K^*}$ .

### 3.2.5. Текстовые ранги

Для перехода от ранга  $R9$  к более высоким рангам  $R^{\wedge} > 9$  необходимы новые дифференциальные спецификации, которые, во-первых, способны специфицировать пресуппозиционную структуру  $2^9$  как целое и, во-вторых, уже не вводятся на ранге  $R < 9$ . Три возможности такого рода спецификации рассмотрены в качестве критериев в постулируемом в настоящее время варианте иерархии сигнемных рангов:

- (1) Пресуппозиционная структура  $2^9$  может быть специфицирована в соответствии с тем, каким точкам денотативной области  $W_i$  или областей  $W_i$  принадлежат экстенциональные соответствия интенциональных определений, содержащиеся в этой пресуппозиционной структуре  $2^9$ . В свою очередь эти денотативные области  $W_i$  должны быть определены интенционально, так, чтобы, во-первых, мог быть гарантирован возможный статус этой спецификации, который, согласно § 3.1.4., необходим для того, чтобы эта спецификация служила для определения нового сигнемного ранга, и чтобы, во-вторых, эксплицитное описание отношений между различными денотативными областями  $W_i$  было возможно там, где внутри одной и той же пресуппозиционной структуры  $2^9$  референция осуществляется последовательно (как, напри-

мер, в баснях, ср. [24]) или одновременно (ср. [20]) к нескольким денотативным областям  $W_t$ . С помощью этой спецификации можно разделить

специфицированную пресуппозиционную структуру ( $2^{1ns}$ ) как объединение 1) пресуппозиционной структуры  $2^9$  и 2) сигнем  $2^1$  (в последних  $1 <^{\wedge} i <^{\wedge} 9$ ), семемы которых содержат спецификации денотативной области (областей), к которой (которым) в этой пресуппозиционной структуре  $2^9$  осуществляется референция.

- (2) Для специфицированной пресуппозиционной структуры  $2^{1os}$  передающий сообщение (в том числе и на более высоком коммуникативном уровне K) отправитель OE может дополнительно обеспечить, чтобы указанная структура являлась текстом (как бы этот отправитель OE ни интерпретировал термин «текст»). Посредством этого отправитель OE осуществляет такое же коммуникативное требование взаимности, как и в случае введенной выше в § 3.2.3. ассерции. С помощью этой текстовой ассерции может быть дано определение ассертированной посредством текста пресуппозиционной структуры ( $2^{1ot}$ ) как объединения 1) специфицированной пресуппозиционной структуры  $2^{1os}$  и 2) сигнем  $2^1$  (в этих структурах  $1 <] i <; 10$ ), семемы которых являются текстовыми ассерциями или содержат их.
- (3) Определенные спецификации, такие, как обозначение текста посредством названия или заголовка, предполагают существование текстовой ассерции и поэтому при десцендентном анализе представляют собой эксплицитную гарантию наличия текстовой ассерции (в противном случае, возможно, лишь имплицитной).

При асцендентном построении иерархии сигнемных рангов с помощью этих спецификаций может быть определена специфицированная ассертированная посредством текста пресуппозиционная структура ( $2^{1on}$ ), рассматриваемая как объединение 1) ассертированной посредством текста пресуппозиционной структуры  $2^{1ot}$  и 2) сигнем  $2^1$  (в этих структурах  $1 <^{\wedge} i <^{\wedge} 10$ ), семемы которых являются соответствующими текстовыми спецификациями или содержат их.

Для ранга R10, как и для ранга R9, существует возможность рекурсивных упорядочений — например, посредством разного рода текстовых ассерции, которые передаются различными отправителями  $OE^V$  на различных коммуникативных уровнях, и, в соответствии с этим, различных комбинаторик. По этой причине невозможно соотнести с тремя различными сигнемными рангами три различающихся здесь типа сигнем  $2^{1o}$  — специфицированную пресуппозиционную структуру  $2^{1os}$ , ассертированную посредством текста пресуппозиционную структуру  $2^{1ot}$  и специфицированную ассертированную посредством текста пресуппозиционную структуру  $2^{1on}$ . По той же причине, если пресуппозиционной структуре  $2^{9o}$  на коммуникативном уровне  $K^{21}$  подчинена переданная отправителем

0E<sup>21</sup> текстовая ассерция, необходимо переименовать все пресуппозиционные структуры 2<sup>80</sup> — где о означает введенные в § 3.2.4. специфицирующие индексы E, A и K (кроме K<sup>1</sup>, см. об этом также ниже, § 3.2.6.) — в соответствующие сигмемы 2<sup>10\*</sup>.

### 3.2.6. Открытость иерархии сигменных рангов

Поскольку все введенные для ранга R10 спецификации — спецификации денотативной области (областей), текстовая ассерция и текстовые спецификации — передаются отправителем OE, и этот отправитель OE в свою очередь также должен быть каким-либо образом введен в рассмотрение, то и этот ранг R10, как и все остальные определенные до сих пор ранги, необходимо подчинить гиперпредложению полиорациональной пресуппозиционной структуры 2<sup>9к</sup> (ср. выше § 3.2.4). В нынешнем варианте иерархии сигменных рангов для этого достаточно переименовать предусмотренную там сигмеме 2<sup>9к\*</sup> в 2<sup>11к\*</sup> и квалифицировать это гиперпредложение 2<sup>11к\*</sup> как единственно возможную сигмему ранга R11.

Это решение тем не менее носит пока лишь временный характер, поскольку при дальнейшем асцендентном построении иерархии сигменных рангов может оказаться необходимым либо сдвинуть это гиперпредложение 2<sup>9к\*</sup> еще дальше вверх, либо, сохраняя предложенное решение проблемы для ранга R11, ввести новое гиперпредложение еще более высокого ранга. Разумеется, локализуемые рангом R10 тексты не могут, подобно моадам, не состоять друг с другом ни в каких взаимных отношениях. Легко представить себе, что по аналогии с асертивными пресуппозиционными структурами 2<sup>9Е</sup> могут быть определены и такие группы, как текст и пародия или научная статья и рецензия; по аналогии с актантными пресуппозиционными структурами 2<sup>9А</sup> — такие группы, как тексты, в которых обсуждается один и тот же предмет; или, по аналогии

с монологическими пресуппозиционными структурами 2<sup>9к\*</sup> (>\*<sup>9\*</sup>), — такие группы, как совокупность текстов одного автора. Какому бы из этих путей ни следовать, в любом случае мы окажемся перед необходимостью вводить для образованных таким образом сигмем 2<sup>11</sup> (в этих последних п<sup>9</sup> = 12) некоторую разновидность ассерции, локализирующуюся рангом Rn ≠ 1, а для ранга Rn (- 2 — необходимый для этого генератор ассерции.

Нигде, таким образом, не удастся избежать той ситуации, когда асертивное сообщение о чем-либо, сообщение о включенной в этот процесс ассерции и сообщение об опять-таки необходимом здесь генераторе ассерции как бы «соревнуются» друг с другом. Но из-за этого обстоятельства асцендентно строящаяся иерархия сигменных рангов должна оставаться открытой в верхней части не только по той причине, что она еще не разработана выше определенного ранга, но и потому, что из принципиальных соображений она обязана быть открытой в верхней части.

## 4. Уровень абстракции

В заключение следует поставить вопрос, который возникает при вовлечении в исследование текстов или целого класса текстов — например, текста определенного литературного жанра или текста, относящегося к определенной отрасли науки. Этот вопрос должен был бы ставиться уже на низших рангах неминимальных сегментов не только первого, но и второго членения (ср. об этом [25]). Поскольку существуют многоязычные тексты, как, например, дошедшие из средневековой Испании арабские

(или древнееврейские) стихи с заключительной строфой на испанском (ср. [26]), и поскольку текст следует рассматривать как реализацию сигнемы  $2^{10T}$  ранга R10, возникают следующие вопросы: во-первых, можно ли в связи с этим говорить о многоязычных сигнемах, и, если да, то, во-вторых, как совместить описание многоязычных сигнем с зависимостью сигнемы от отдельного языка. Поскольку на первый из этих двух вопросов следует ответить утвердительно, но необходимо заострить внимание на втором вопросе, затрагивающем в конечном счете проблему соотношения сигнем в отдельном языке и в нескольких языках.

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо уточнить уровни абстракции, на которых говорится о языках, отдельных языках и т. п., а также постулируется противопоставление, с одной стороны, зависимости от конкретного отдельного языка и, с другой стороны, независимости от конкретного языка, а кроме того, от одного языка и нескольких языков. При разрешении сосюрковского бинарного противопоставления конкретной речи (*parole*) и абстрактного языка (*langue*) в иерархии подчиненных друг другу уровней абстракции я следую в основном [27, 28] и, в соответствии с этим, различаю следующие 4 уровня:

нулевой уровень абстракции, на котором локализуются упомянутые выше в § 1.1. четырехмерные множества, акустических или оптических пространственно-временных координат или классы таких множеств;

первый уровень абстракции, на котором локализуются идиолекты одного временного среза; эти последние, в свою очередь, объединяясь в классы, могут быть на основе критерия подобия или производных от него критериев преобразованы в увеличивающиеся по объему диа-, хроно- и/или социолекты, а на их основе — в исторические языки и, в свою очередь, — в языковые семьи и/или группы различного объема;

второй уровень абстракции, на котором локализуется соотносенная «одним идиолектом одного временного среза система (системы); предусмотренным на первом уровне абстракции классам идиолектов одного временного среза здесь соответствуют классы соответствующих упорядоченных систем; и

третий уровень абстракции, на котором локализуются полученные из одного класса (под)систем диасистемы; простейшим примером применяемых при построении диасистем методов служит преобразование различий между (под)системами в диасистемные симптомо- и/или сигнально-функциональные (см. выше § 1.2.) оппозиции символично-функциональных синонимов (ср. нем. *Samstag* vs. *Sonnabend* «суббота» или франц. *septante* vs. *soixante-dix* «семьдесят»).

Для рассматриваемого здесь вопроса важно указать на то, что образование диасистем третьего уровня абстракции предусматривалось первоначально для того, чтобы применительно к классам идиолектов одного временного среза — диалектам, языкам, языковым семьям — также иметь возможность говорить о системах языка (*langue*) в сосюрковском смысле (а не только о классах систем, как на втором уровне абстракции). Однако в соответствии с определением, образование диасистемы из данных подсистем, в отличие от предусмотренного на первом уровне абстракции образования классов идиолектов одного временного среза, все же не связано с критерием подобия. Поэтому необходимо дополнительно уточнить, что термин «отдельный язык» с самого начала следует понимать как особую диасистему третьего уровня абстракции и констатировать, что обсуждаемая здесь многоязычность текстов или иных сигнем обычно касается исторических языков первого уровня абстракции. Для того чтобы устранить

кажущуюся внутреннюю противоречивость сигнемы, конкретно-языковой и многоязычной одновременно, необходимо лишь построение общей диасистемы, что доказывает зависимость от отдельных языков таких многоязычных сигнем. То обстоятельство, что в случаях, аналогичных упомянутому примеру с арабско-испанскими и древнееврейско-испанскими многоязычными текстами, основным критерием выбора подсистем, объединяемых в единой диасистеме, служит не подобие (это никем и не предполагается) соответствующих этим подсистемам исторических языков — арабского (соответственно, древнееврейского) и испанского,— а их совместная встречаемость в одной исторической ситуации многоязычия, вполне очевидно.

#### ^СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Heger K.* AuBersprachlichkeit— Aufiereinzelsprachlichkeit— Obereinzelsprachlichkeit // *Logos semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu 1921—1981/* Ed. by Geckeler H., Schlieben-Lange B., Trabant J., Weydt H. V. II. Berlin; New York; Madrid, 1981.
2. *Bühler K.* Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena, 1934 (2. Aufl.— Stuttgart, 1965).
3. *Heger K.* «Zeigfeld» und «Symbolfeld» // *Karl Bühlers Axiomatik. Fünfzig Jahre Axiomatik der Sprachwissenschaften /* Hrsg. von Graumann C. F., Herrmann T. Frankfurt-am-Main, 1984.
4. *Heger K.* Fifty years of linguistics. Four examples // *FL.* 1986. 20.
5. *Heger K.* Karl Bühlers «Sprachtheorie» und die Sprachwissenschaft der letzten fünfzig Jahre // *Karl Bühler's theory of language: Proc. of the conferences held at Kirchberg, August. 26, 1984 and Essen, November 21—24, 1984 /* Ed. by Eschbach A. Amsterdam; Philadelphia, 1988.
6. *Heger K.* Die Bezeichnung temporal-deiktischer Begriffskategorien im französischen und spanischen Konjugationssystem. Tübingen, 1963.
7. *Heger K.* Temporale Deixis und Vorgangsquantität («Aspekt» und «Aktionsart») // *Z. für romanische Philologie.* 1967. 83.
8. *Tesnière L.* Elements de syntaxe structurale. P., 1959.
9. *Baldinger K.* Semantic theory. Towards a modern semantics. Oxford, 1980.
10. *Heger K.* «Concepts» and «noemes» // *Language invariants and mental operations. International interdisciplinary conference held at Gummersbach, Cologne, Germany, September 18—23, 1983/* Ed. by Seiler H., Bretschneider G. Tübingen, 1985.
11. *Ogden Ch. K., Richards I. A.* The meaning of meaning. N. Y.; L., 1923.
12. *Heger K.* Von Dreiecken, Trapezen und anderen Polygonen//*Romania ingeniosa. Festschrift für Gerold Hilty zum 60. Geburtstag /* Hrsg. von Luidi G., Strieker H., Wuest J. Bern; Frankfurt-am-Main; New York; Paris, 1987.
13. *Raible W.* Zur Einleitung// *Zur Semantik des Französischen. Beiträge zum Regensburger Romanistentag /* Hrsg. von Stimm H., Raible W. Wiesbaden, 1983.
14. *Pettier B.* Recherchcs sur l'analyse semantique en linguistique et en traduction manique. Nancy, 1963.
15. *Heger K.* Personale Deixis und grammatische Person // *Z. für romanische Philologie.* 1965. 81.
16. *Gillich E., Raible W.* Linguistische Textmodelle— Grundlagen und Möglichkeiten. München, 1977.
17. *Heger K.* Monem, Wort, Satz und Text. 2. Aufl. Tübingen, 1976.
18. *Heger K., Mutersbach K.* Aktantenmodelle. Aufgabenstellung und Aufbauregeln. Heidelberg, 1984.
19. *Heger K.* Flexionsformen, Vokabeln und Wortarten. Heidelberg, 1985.
20. *Heger K.* Text coherence in a dialogical presuppositional group: Chapter XXXI of Unamuno's «Niebla» // *Connexity and coherence. Analysis of text and discourse /* Ed. by Heydrich W., Neubauer F., Petofi J. S., Sozer E. B. N. Y., 1989.
21. *Martinet A.* Elements de linguistique generate. P., 1960. P. 117.
22. *Heger K.* Valenz, Diathese und Kasus// *Z. für romanische Philologie.* 1966. 82.
23. *Raible W.* Vergleich mit der von Klaus Heger durchgeführten Textanalyse // *Linguistische Textanalyse. Überlegungen zur Gliederung von Texten /* Hrsg. von Gillich E., Heger K., Raible W. Hamburg, 1974 (2-te Aufl.—Hamburg, 1979) (Перепечатано



- в Grammars and descriptions/ Ed. by Teun A. van Dijk, Petuŕi J. S., B.; N. Y., 1977).
24. *Heger K.* Signemrange und Textanalyse // Linguistische Textanalyse. Überlegungen zur Gliederung von Texten / Hrsg. von Gillicn E., Heger K., Raible W. Hamburg, 1974 (Перепечатано в Grammars and descriptions Y Ed. by Teun A. van Dijk, Petuŕi J. S. B.; N. Y., 1977).
  25. *Heger K.* Signemas pŕirilingiies // Philologica hispaniensa in honorem Manuel Alvar. II: Linguistica. Madrid, 1985.
  26. *Heger K.* Die bisher veröffentlichten Hargas und ihre Deutungen. Tubingen, 1960.
  27. *Lieb H.-H.* Sprachstadium und Sprachsystem. Umriss einer Sprachtheorie. Stuttgart, 1970.
  28. *Lieb H.-H.* Integrational linguistics. V. I: General outline. Amsterdam; Philadelphia, 1983.

Перевел с немецкого *Куликов Л. И.*

© 1990 г.

РОНА-ТАШ А.

**АЛТАЙСКИЙ И ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ**

(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ КНИГИ Т. В. ГАМКРЕЛИДZE И ВЯЧ. ВС. ИВАНОВА)

Хорошо фундированные исследования обеспечивают продвижение вперед в науке. Это особенно верно в случае с превосходной работой Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова [1]. Авторы по-новому интерпретировали результаты предшествующих исследований индоевропейского (ИЕ) и дали достаточно законченный и во многих отношениях оригинальный очерк реконструкции ИЕ праязыка, его фонологии, морфологии и синтаксических особенностей. Они рассмотрели исконный лексический фонд в связи с гипотезой о первоначальной родине индоевропейцев и нарисовали примерную картину самых ранних миграций народов, говоривших на древних ИЕ диалектах. В своем исследовании они используют современные методы лингвистического анализа, исходя из постулата о том, что ИЕ праязык был живым языком и его следует изучать теми же методами, что и любой другой язык. Что касается фонологии, то переинтерпретированная ими система ИЕ смычных предполагает, что триадная система состояла из серий: незвонкие  $g$  локализованные, звонкие придыхательные и глухие придыхательные ( $K' : G^h : K^h$ ), — в которых для фонологического противопоставления серий II и III было релевантно участие голоса, но для истории этих звуков была важна также их аспирированность. Из предшествующих реконструкций сохранена трехтипность гуттуральных: «нормальные», палатальные и лабиализованные, но остался открытым вопрос о лабиализованных дентальных и поствелярных. Авторы постулируют три сибиланта — непалатализованный, палатализованный и лабиализованный, — причем последний тоже палатализованный.

Схема первоначального ареального распределения ИЕ диалектов такова [1, с. 398]:

Герчано-балто-славянскIш	Арийско-греческо-армянекий
Анатолийский	Тохарский Итало-кельто-п्लीрийский

Важны изоглоссы, которые могут быть установлены для всего ареала и которые позволяют последовательно членить данный ареал. Прародина народов, говорящих на ИЕ языках, локализована к северу от классической Месопотамии, где были возможны очень ранние контакты с прасемитским, пракартвельским и с такими языками Ближнего Востока, как хатти, эламский, хурритский и др. Членение ИЕ праязыка началось в конце V тыс. — начале IV тыс. до н.э.

Германо-балто-славянский, итало-кельто-иллирийский и тохарский обладают рядом общих изоглосс, и первые два в противовес тохарскому названы «древнеевропейским». Именно в этой точке, по мнению авторов, берут свое начало контакты с фишо-угорским и алтайским языками: они предполагают, что «древнеевропейцы» и тохары мигрировали вместе

в Центральную Азию, затем «древнеевропейцы» где-то возле Арала повернули назад, на запад, тогда как тохары продвинулись дальше на восток. «Древнеевропейцы» прибыли в Северное Причерноморье и низовья Волги, и этот регион авторы считают последней общей территорией «древнеевропейцев» перед их разобщением. Здесь они встретились с какой-то ветвью арийцев, которая еще раньше из области южного Кавказа двинулась прямо на север. Я не хотел бы здесь вступать в дискуссию по пересмотру контактов финно-угорского с индоевропейским, но нахожу полезным обратиться к его контактам, по возможности — в отдельности, с «древнеевропейским», тохарским и индоиранским, а также с более поздним иранским.

Авторы опираются главным образом на А. Йоки [2], но и в этом случае они пересматривают отдельные положения, а некоторые — критикуют. Отмечу лишь следующее: то, что они называют «общепринятой хронологией финно-угорских исторических штудий», основывается по существу на ИЕ заимствованиях и ИЕ хронологии, и поэтому само по себе не может быть опорой при пересмотре ИЕ хронологии. Мои заметки посвящены наиболее ранним контактам с алтайскими языками.

Наиболее ранние контакты с ИЕ языками давно интересуют ученых, работающих в области алтайских языков. Опустим совсем тот период исследований, когда алтайские и уральские языки считались генетически едиными, и не будем временно учитывать иранские контакты с отдельными алтайскими языками. Это тем более допустимо, что и авторы придерживались такого подхода. Что же касается предполагаемых связей алтайского с ИЕ, а точнее с тохарским и «древнеевропейским», то здесь авторы опираются главным образом на Г. Рамштедта [3] и не используют работу Ю. Немета [4], в которой он, кроме всего прочего, дал и краткий обзор предшествующих исследований<sup>1</sup>. В принципе авторы отличают заимствования от миграционных культурных слов, но проведено это не всегда последовательно. Подобная непоследовательность в некоторых случаях неизбежна, и можно лишь предполагать, насколько это не повлияло на основные выводы.

Далее я буду обсуждать алтайские сопоставления, предложенные Гамкрелидзе и Ивановым.

### 1. Тунгусо-маньчжурские слова

Привлечено всего четыре тунгусо-маньчжурских слова. Одно из них должно быть исключено. Маньчж. *xalmari* (цитировано как *xal-mari*) сопоставлено с уральским *kud* «нож» и литов. *kirvis*, гот. *hairus*, др.-исл. *hjrr* и считается миграционным словом [1, с. 932—933]. Идея этого сопоставления, как и в большинстве других случаев, восходит к Рамштедту и процитирована Йоки. Маньчжурское слово, описанное у Хауэра [13] как «обрядовый нож, используемый шаманами при камлании», широтой своей семантики, несомненно, удобно для сопоставлений. Маньчжурские слова на *-ri* — группа форм словообразования, ср. *xalxuri* «перец» от *xalxun* «горячий» (ср. монг. *qalayun* «горячий»), *xoosari* «бумажный» от *xoosan* «бумага» «кит.» и др. Таким образом, исходное слово будет *xci-*

<sup>1</sup> Немец опубликовал впервые свою работу на венгерском языке в двух частях [5, 6], а затем с исправлениями и дополнениями — по-немецки [4]. К сожалению, немецкий вариант работы почти недоступен, поскольку большая часть тиража пропала во время второй мировой войны. В кратком, но емком обзоре предшествующих исследований Немец всячески подчеркивает вклад Б. Мункачи [7—11] и приводит критические суждения З. Гомбоца [12].

*man* или *xalmin*. И права В. И. Цинциус [14, с. 365], давая вполне корректную этимологию: «нож плоский (у шамана)» из тунг.-маньчж. \**kalbin* «плоский», маньчж. *xalfiyān* тж. Данное тунгусо-маньчжурское слово имеет монгольские параллели, также приведенные Цинциус, среди которых в бурятском мы находим аналогичное *-lb---lm-*: *хальмы-* «быть плоским и тонким».

Остальные три слова — заимствования из монгольских языков: монг. *ge'in* «кобыла», *moḡ in* «конь» и *hiiker* «бык». В определенных отношениях все три тунгусо-маньчжурские формы представляют интерес. В случае *ge4in* ясно, что слово было заимствовано относительно недавно и по отдельности в разные тунгуро-маньчжурские языки и диалекты (сокращения названий языков и диалектов см. [14]): эвенк. *гэу*, эвенк. диал. *гоу* (Брг), *гон* (Тит.), *гэйэн* (Вл.), *гёк* (К.) «кобыла», *гоуо* (С-Б) «самка дикого оленя», сол. *гэу* «кобыла», маньчж. *гэо* «кобыла; корова; самка», *гэо мурин* «кобыла», разг. маньчж. *geu*, *geo* [15, с. 179], чжурчж. *ge* «лошадь». Чжурчженское слово транскрибировано китайским словом (1) [16, № 3397 /c'o], которое имеет то же самое значение и, кажется, является в китайском заимствованием; фонетическая часть иероглифического сочетания имела в древнекитайском начальный слог *klw-* (полужирные цифры в скобках означают номера иероглифов, представленных в указателе). Монгольское слово зафиксировано в «Сокровенном сказании» в форме *ge'i*, *ge'in* с регулярной формой мн. ч. *ge'iid*. Показатель мн. ч. *-d* замещает конечное *-n* ед. числа (ср.: *Qitan* — мн. ч. *Qitad*, конечное *-n* восходит к \**-n*, которое в тюркском перешло в *-y*, отсюда название *Kumay*). В большинстве современных монгольских языков и диалектов *gii(n)*, но в дагурском *geii*. Инлаутные *-g-* в таких письменно-монгольских формах, как *gegii(n)*, *gegiiiti*, и *-w* в форме *gewiin* из «Мукаддмат ал-адаб» (с двумя буквами «ва») — вторичного происхождения, как, впрочем, и конечные гуттуральные в эвенкийских и солонской формах. Это слово отсутствует в тюркских языках, и для монгольского оно может быть реконструировано только как \**ge'in*, в котором конечный согласный — неустойчивое категориальное *-n-*, вероятно, вторичного происхождения; значения: «кобыла, корова». Монгольское слово нельзя отделить от тохарского, ср. тох. А *ko*, *ki* (вин. п. ед. ч.), тох. Б *keu* «корова» [17, с. 226—227]. Гамкрелидзе и Иванов не видят каких-либо проблем с тохарским словом, однако Виндекенс отметил, что из соответствующей формы в тохарском Б следовало бы ожидать \**kau*. Тохарское слово необходимо связать с тох. А *kayurs*, тох. Б *kaurse* «бык» из ИЕ \**k<sup>o</sup>ou-nrs-*] с. 566], а палатальный элемент в тох. А *bl* и тох. Б *keu* — внутренняя тохарская проблема. Во всяком случае этот элемент *-l-*, кажется, отсутствует в каких-либо других ИЕ языках и является специфически тохарским (см. также склонение этого слова [17]). Монгольский отражает тохарскую, а не «древнеевропейскую» форму. Данное ИЕ слово связано с некоторыми китайскими словами. Современное пекинское (2) *у* и *и* в древнекитайском было *ngiug*, ср.-кит. *ngidu* [18, № 998], начальный носовой и конечный *-g* не могут быть ИЕ происхождения. Кит. (3) «бык, самец» [16, № 3457] не встречается в ранних памятниках, но его фонетическая часть звучала в древнекитайском как *ko*, в среднекитайском — *kiuo* [18, № 49], однако очевидно, это не тохарское и не монгольское слово<sup>2</sup>. Китайское же слово, которое следует рассматривать вместе с тохарско-монгольским,— это

<sup>2</sup> Возможно, здесь могло бы быть приведено кит. (4) *kū*, др.-кит. *kyi*, ср.-кит. *кги* «жеребенок» [18, № 108 г], но, кажется, оно связано с ИЕ \**edio* «лошадь».

упоминавшееся выше кит. *ke*, в значении «самка лошади, мула», используемое в качестве определения к словам «лошадь», «мул», например, *ke ta* «кобыла» [16, № 3397]. Гамкрелидзе и Иванов сомневаются относительно происхождения монг. *ge'u* (-<sup>^</sup>-тунг.-маньчж.), и вопрос о том, является ли оно тохарским или заимствовано из других ИЕ языков, оставляют открытым [1, с. 935, примеч. 1]. Исходя из того, что было изложено выше, возможно лишь заимствование из тохарского → в монгольский и из тохарского → в китайский.

Следующее слово — *morin* «лошадь». Оно представлено во всех тунгусо-маньчжурских языках. Первым гласным, однако, является *-и-* (й): эвенк. *murin*, орок. *muri(n)*, уд. *mui*, *muji*, ульч. *murin*, орок. *mtirin*; и хотя сол. *mori*, негид. *mojin*, нан. *mon* и маньчж. *morin* с *-о-*, но чжурчж. *murin*; которое, возможно, должно читаться даже как *mtirin*, что согласуется с некоторыми тунгусо-маньчжурскими данными. Тем не менее формы с передним вокализмом, такие, как калм. *morn*, (→русс. *мерун*), конечно, вторичны, ср. калм. *morda* «ехать верхом на лошади». Это слово сопоставляли с некоторыми восточноазиатскими словами, но без каких-либо серьезных оснований. Кит. *ma* не имело в древнекитайском *-z-*, а гласный *a* был, возможно, лабиализованным. В бирм. *mrang* «лошадь», где *m* — префикс, ср. канаури *rang* манчати *hrang*, буан. *srangs*, чепанг *serang*, качин. *kumrang*. В тибетском — *ra* «лошадь»<sup>3</sup> не имеет ничего общего ни с бирманским, ни с китайским. Рамстедт, сравнивая монг. *morin* с герм.-кельт. *\*markho-*, реконструировал *\*mog*; добавив же уменьшительный суф. *-da*, он получил *\*morqa* [3, с. 25]. Предположение К. А. Новиковой [19, с. 68—78] о том, что исконной тунгусо-маньчжурской формой могло быть *murkin*, сохранившееся в токкиском диалекте эвенкийского языка, неверно, так как тунг.-маньчж. *\*-гк-* отразилось в тунгусо-маньчжурских языках следующим образом: эвенк. *-гк-*, эвен. *-гк-*, негид. *-jk-*, *-Vk-*, *-sk-*, сол. *-кк-*, *-гк-*, орок. *-кк-*, уд. *-к-*, *-jg-*, орок. *-г-*, ульч. *-с-*, *-г-*, нан. *-jk-*, *-к-*, *-г-*, маньчж. *-с-*, *-dz-* [20, с. 230], так что тунг.-маньчж. *\*murkin* перешло бы в маньчжурском в *\*\*mucin*, как *\*irke* «новый» стало *ice*. Эта закономерность обнаруживается в самых ранних монгольских заимствованиях [21]. Это значит, что не было формы *\*morqa*, по крайней мере, в тунгусо-маньчжурских языках; да и непонятно, почему эта форма должна была исчезнуть из монгольского, не говоря уже о проблемах вокализма: монг. *o* — я, германо-кельт. *a* — о. Мне бы не хотелось утверждать, что сопоставление монгольского с германо-кельтским невозможно, но я бы не решился строить теорию миграций на таком шатком основании.

Последнее тунгусо-маньчжурское слово — ср.-монг. *hiiker*, которое встречается в немногих тунгусо-маньчжурских языках: эвенк. *hukur* (Брг, 3, Алд, Хнг, Учр), *ику* (3, Втм), эвен. *huken* (Юк), *lieken* (Ск., L), сол. *eggel* (Ив.), *tixtir* (P), *ekic* (Li), *ukuru*, *uyur* (Ив.), *eregil* (O), *ukuri* (L). Эти тунгусо-маньчжурские слова являются заимствованиями из монгольских языков, некоторые восходят к ср.-монг. *hiiker*, *hiktir*, другие — к более новым формам без */г-*. Монг. *hiiker* нельзя рассматривать отдельно от тюрк. *oktiz*, чуваш. *vakar* <<sup>^</sup> *\*bkuq* (→ венг. *бокo*). Существует два ИЕ сопоставления этого, столь часто привлекавшегося в качестве «алтайского», слова. Одно из них предложено Рамстедтом [3, с. 25]: из ИЕ *\*p<sup>h</sup>eU<sup>h</sup>m* — приводится Гамкрелидзе и Ивановым [1, с. 579, примеч. 1], где они, оче-

<sup>3</sup> Древнетибетское *\*mrang* [1, с. 554] не существует, оно изобретено ad hoc на основе бирманского.

видно, принимая во внимание ряд трудностей, полагают, что это слово было заимствовано еще в период «алтайского диалектного единства». Идея Рамстедта состояла в том, что ср.-монг. *h-* во всех случаях восходит к алтайск. *p-*, поэтому он реконструирует \**roküz*, которое сопоставляет с др.-инд. *radu*, лат. *pecus, pecoris*. Конечно, Рамстедт знал, что *-z*- латинского флективного корня — позднего вторичного развития, а именно широко известный ротализм, существование которого в чувашском и монгольском языках он отрицал. Однако это его сопоставление стало популярным именно потому, что некоторые авторы видели здесь классический случай, говорящий в пользу первичности *-г-* по отношению к тюрк. *-z-*. Сам же Рамстедт считал, что *-z* — алтайский суффикс. Сопоставление «алтайского» \**roküz* (если мы базируемся на тюркском) или \**rüküz* (если мы идем от монгольского) с ИЕ \**pV\Wm-* сталкивается с определенными трудностями. Здесь есть сомнения относительно и суффикса, и вокализма, и даже начального *p-*, поскольку не каждое *h-* восходит к *p-*. В тюркских языках есть узб. *hiikiz*, н.-уйг. *hokiiz*, но *h-* в них вторично, и это, очевидно, так же, как в монгорск. *fuguo* /- развилось из /*f-* в позиции перед лабиализованным гласным, а не представляет собой последовательное изменение *p > f > h*. Хронологические проблемы также были осознаны Гамкрелидзе и Ивановым: именно в связи с ними авторы говорят о том, что данное заимствование должно было произойти во «времена алтайского диалектного единства» [1, с. 579, примеч. 1].

Существует и другое ИЕ сопоставление этого слова, давно уже предлагавшееся Н. И. Золотницким, Б. Мункачи и др. и обоснованное Ю. Неметом в его упоминавшейся выше-работе. Рассматриваемое тюрко-монгольское слово считали заимствованием тох. Б *okso* (восходящего, согласно авторам, к другому ИЕ корню: \**uk<sup>h</sup>s-en* [1, с. 566]). В пользу данной версии говорит то, что в тюркских языках существуют также формы с задним вокализмом, например, якут, о<sup>h</sup>*us*, сарыгуйг. *okus* (<*C*\**oquz*). Дублетность форм *okiiz* — *oquz* и указывает на заимствованный характер слова: *-к-* заимствующего языка приводило к переднему вокализму, тогда как на самом деле исходный вокализм был задним. В тюркском не было сочетания *-ks-*, да и замена *s* на *-г* нормальна. Единственной проблемой является *h-*, которое, похоже, не ИЕ происхождения, поэтому приходится допускать, что в тюркских языках (например, в узбекском и новоиугурском) оно вторично.

Как видим, оба сопоставления сталкиваются с определенными трудностями, но второе более приемлемо в хронологическом отношении. В любом случае ни одно тунгусо-маньчжурское слово не может быть сопоставлено с ИЕ непосредственно, все они заимствованы через монгольское посредство. Такой вывод имеет серьезные последствия. Он означает, что алтайский праязык, если он когда-либо существовал<sup>4</sup>, не имел с ИЕ исторических контактов, сколько-нибудь значительных в лингвистическом плане, поскольку невозможно предположить, что все ИЕ заимствования, которые могли бы попасть в алтайский праязык, исчезли в тунгусо-маньчжурских языках, и именно только в них.

## II. Монгольский и индоевропейский

Выше рассмотрены три монгольских слова — *morln*, *ge'-ii* (*n*) и *hiiker*. К числу тюрко-монгольских слов принадлежит и *buyday*, которое со-

<sup>4</sup> Я никогда не отрицал возможность существования алтайского праязыка, я только утверждаю, что сопоставления, приводившиеся до сих пор Рамстедтом, Поппе и их последователями в защиту такого праязыка, — чистые заимствования [22, 231].

поставляется Гамкрелидзе и Ивановым с ИЕ \**phur-* «пшеница». Это делается, естественно, с опорой на чуваш, *pari*, однако оказывается неприемлемым. Чувашская форма закономерно восходит к др.-тюрк, *buyday*, у исчезло, *-d-* закономерно через *z* (ср. венг. *biiza*) перешло в г, др.-тюрк, *y* стало редуцированным лабиализованным *o* в диалекте вирьял чувашского языка, где мы находим *port*, или редуцированным нелабиализованным *a* в диалекте анатри: *pari*<sup>5</sup>. Поздний характер чувашской формы говорит не в пользу указанного сопоставления, его необходимо отвергнуть.

Следующие монгольские слова вне всякого сомнения — заимствования из тюркского, как, например, *bars* (см. конечное *-rs*) и *teke* «некастрированный или дикий козел»<sup>6</sup>. Первое, вероятно, — иранское заимствование в тюркском<sup>7</sup>; второе сопоставляется Гамкрелидзе и Ивановым с ИЕ этимолоном немецкого *Ziege*: \**14g*[J]- [1, с. 586, примеч. 1]. Это слово, очевидно, заимствовано из языка, в котором *-gh-* перешло в *-k-*. Таким является тохарский язык, но данное слово отсутствует в его словарном запасе, известно до настоящего времени. Менее ясен случай с монг. *esige* — *isige* «козленок»<sup>8</sup>. В тюркском существуют два названия «козла»: *ecki* и *keci* (второе имеет также форму *kecke*, ср. чуваш, *касакка* —> венг. *kecske*), первое — «восточная» форма, второе — «западная» (самый последний по времени анализ слова без монгольской формы см. в [24, с. 283 — 284]). Неясно, соотносятся ли оба тюркских слова друг с другом как звукоподражательные или же скорее они могут быть образованы от слов-подзвоний животных. Сопоставление монг. *esige* «детеныш, козленок» с тюрк, *ecki* «козел» проблематично, потому что монг. *-s-* или, вернее, *-S-*<sup>9</sup> не является закономерным соответствием тюркскому *-c-*<sup>10</sup>. Я думаю даже, вопрос с аффрикатой в тюркских словах значительно сложнее. ИЕ форма — \**q^ok*~ [1, с. 589], и приходится предполагать, что свистящий (ср. слав. *koza*) развился через аффрикату, — это предположение подтверждало бы существование аффрикатной стадии. Вокализм тоже проблематичен. В примечании у Гамкрелидзе и Иванова [1, с. 589, примеч. 2] говорится, что тюрк, *qocqar* «баран» может восходить к той же ИЕ основе. Исходное тюркское слово — *qoc*, а в монгольском — *quca*, все остальные формы образовались от них. К ИЕ *qhok*<sup>7</sup> это подходило бы в большей степени фонетически, но вот семантическая сторона (ИЕ «козел», тюрк, «баран») остается не до конца ясной, хотя оба являются «животными с большими рогами».

Монг. *elngen* «осел» и тюрк, *esgek* (все остальные формы вторичны) тоже были сопоставлены Гамкрелидзе и Ивановым с \*\**sefel mo* — более ранней формой ИЕ \**ek*<sup>11</sup>/\**l*/\**c* — «лошадь» [1, с. 564]. Это действительно очень ранний миграционный термин (см. егип. *sk*, копт, *seg*), но в ИЕ данных нельзя найти прототип тюркской формы [1, с. 544]. Монг. *elngen* — это древнее заимствование из языка чувашского типа, в котором изменение *s* в *l* было еще в своей первой фазе. Наконец, последнее монгольское

<sup>5</sup> Единственная проблема с чувашским словом — в его семантическом сдвиге от «пшеница» к «пшоба», который произошел под влиянием русск. *пырей*.

<sup>6</sup> Приведенная монгольская форма *tex* вторична; *a* в тюркском *tekii* является усложненной транскрипцией.

<sup>7</sup> Форма *pars* [1, с. 500] — не письм.-монг. форма, а грузинская транскрипция монгольского слова.

<sup>8</sup> Цитируемая монгольская *isig* [1, с. 589] — современная вторичная форма.

<sup>9</sup> Др.-монг. *si-* перешло в *si-*, так как исконого *s* в древнемонгольском не было.

<sup>10</sup> В казахском и некоторых диалектах ногайского и каракалпакского языков *s* на месте др.-тюрк, *c* — вторичного развития [25, 26].

слово *qotan*. Гамкрелидзе и Иванов считают его древним миграционным термином, имеющим отношение к финно-угорскому *kota* «дом» и обнаруживаемым в ряде ИЕ языков и далее во многих других языках Евразии [1, с. 932]. В этом случае тюркская форма — монгольского происхождения, она не означает «дом»<sup>11</sup> и не имеет ничего общего с упомянутым финно-угорским словом (несмотря на мнение Рясянена и Йоки; об уральском слове см. теперь [28, с. 190]). Монг. *qotan* — действительно миграционный термин и должно быть сопоставлено с уральским \**woca* «забор».

Я рассмотрел все монгольские слова, приведенные Гамкрелидзе и Ивановым как имеющие возможно ИЕ происхождение. За исключением монг. *geii(n)*, в котором я усматриваю вероятное тохарское происхождение<sup>12</sup>, все остальные слова либо не имеют отношения к ИЕ, либо тюркского происхождения, и поэтому их непосредственная связь с ИЕ должна быть отвергнута. Эти непроверяемые факты важны для локализации прародины соответственно ИЕ, тунгусо-маньчжурских и монгольских народов. Но прежде чем пойти дальше, нам необходимо проанализировать ИЕ сопоставления тюркских слов.

### III. Тюркский и индоевропейский

Выше мы рассмотрели уже девять сопоставлений, имеющих отношение к тюркским языкам. Одно из них приходится снять из-за трудностей на собственно тюркской почве (*buyday*), другое — монгольского заимствования, не связанное с ИЕ (*qotan*), третье — иранское слово, а потому относящееся к более позднему периоду, не рассматриваемому здесь (*bars*), остальные шесть сопоставлений (*okitiz*, *teke*, *ecki*, *keci*, *qoc* и *esgek*) имеют каждое свои особые и еще не преодоленные трудности. Если все подобного рода проблемы и могут быть решены, одна вещь останется неизменной: эти слова не относятся к одному хронологическому пласту и их истоки должны быть различны. Важными являются следующие ботанические термины: ИЕ \**ablu/amlu* «яблоко» — тюрк., *alma* (—монг. *alima*^ сол. *alim*), ср. [30, с. 28]; ИЕ \*(*H*)*osp*^ «осина» — тюрк.- \**absa* (*q*), ср. чуваш., *avas*, хакас., *os*, алт. (Леб.) *apsaq*, татар., *usak* (<*C\_ausaq* <^ *avsaq*)<sup>13</sup>; греч. *alfiton*, албан. *efp*, иран. \**arba* — тюрк., *azpa* «ячмень» (→ монг. *arbai*, маньчж. *arfa*) [31, с. 24]; др.-греч. *cannabis*, англ. *hemp* и т. д., осет. *gaenlgaewe* (ср. [32, с. 512—513])—тюрк., *kendir* (→монг. \**kentir*^> *kencir*, *kendir*, \* *kendir* ~^> *kenfir*, см. [31, III, с. 608—609]; в некоторых тюркских языках, например, туркменском, казахском и др., *kenep* «конопля» — иранское заимствование).

<sup>11</sup> Узбекское слово *kota* в значении «дом», цитировавшееся обычно из Г. Ярринга [27], заимствовано из персидского, куда вошло из хинди. Предложение *qajitip keldi kotasiya keldi* в переводе Г. Ярринга гласит: «Он вернулся в свой дом (где он жил)», а в подстрочном примечании добавлено: *kota* «дом, комната»; в глоссарии же это слово помечается как заимствование из хиндустаны.

<sup>12</sup> Разумеется, *ge'u* могло быть заимствовано и через тюркские языки, однако для этого у нас нет доказательств.

<sup>13</sup> Чувашская и хакасская формы не обязательно непосредственно соотносятся с татарской (и башкирской) и алтайской (ойротской) формами. Конечное *-q* в чувашском исчезает через озвончение и спирантизацию, поэтому *absaq* могло измениться следующим образом: *absaq* >> *absay* > *absa* >> *avas*, — однако такой же результат был бы и при исходном \**absa*,\ в хакасском в большинстве случаев конечное *-q* сохраняется, поэтому *os* скорее восходит к *abas*, если только оно не заимствовано из какого-нибудь диалекта древнечувашского языка. Этого нельзя исключить, потому что известно несколько южносибирско-чувашских изоглоссов, среди них название дерева, аналогичное чуваш. *xi'ra* «сосна» [29, с. 745—746].



Что касается тюрк, *alma*, оно относится к огромному семейству ранних культурных слов, однако трудно сказать, когда и где тюрки заимствовали это слово. Тот факт, что оно было заимствовано монголами и венграми, заставляет думать, что это произошло в начале I тыс. н.э. Это могло быть и раньше, но у нас нет данных, чтобы судить об этом. Тюрк. *absa* (*q*), видимо, свойственно узкому региону, а именно западной части Южной Сибири и Поволжью<sup>14</sup>.

Если мы исходим из того, что данное слово не было заимствовано дважды (т. е. *absaq* ^> чуваш, *avas*, но не \**absa* ^> чуваш, *avas*) и это развитие заняло значительный период времени, то тогда надо считать, что рассматриваемое слово относится к общепратюркскому периоду. Если же обе эти формы не соотносить друг с другом, а считать, что *absaq* — собственное развитие, а \**absa* — какое-то заимствование того же слова, тогда они не обязательно очень древние слова, но и в этом случае нельзя исключать их раннего заимствования.

Тюрк, *agra* могло быть заимствовано из Иран. \**agra*, однако это слово как будто отсутствует в иранских языках. Эта идея восходит к Йоклу, который утверждал, что афганские данные, приведенные Рамstedтом [34], не принадлежат ИЕ семье языков, хотя иранская форма \**agra* или \**arba* все же может быть реконструирована. К сожалению, это может быть сделано только на основании тюркских данных.

В случае названия «конопли» можно выделить три формы: *kan(a)*— ср. осет. *gsn/geenas*, сван, *kan*, абхаз. *a-k'nd*, кабард. *gand* и марийск. *kэne* (вероятно, из аланского); *kanap* в греческом (считается скифским), латинском, балто-славянском, германском и далее в иранских языках — сакском (он имеет *kamka* <^ *kanabha* и *kumba* <^ *kanamha*), согдийском (*kanbd*) и персидском (*kanab*) [32, 35]; сюда же [1, с. 662] тюрк, *kendir*, где вторая часть—*dür* — не совсем ясна<sup>15</sup>, возможно, даже не тюркского происхождения, но зафиксированная пока лишь в алтайских языках.

Из других тюркских слов, которые разбирают Гамкрелидзе и Иванов, можно упомянуть *kelin* «невеста, невестка, жена сына или младшего брата» ([1, с. 942] — опечатка: *kalin*), которое некоторыми авторами, например в [37, с. 719], связывается с тюркским глаголом *kel-* «приходить», т. е. «та, кто приходит в дом мужа». Скорее всего, это народная этимология, но данная ассоциация — очень древняя, ср. тунг.-маньчж. *kelin* «свояк, свояки (мужья сестер)» [14, с. 446], ИЕ \**kol(on)-* (лат. *glos*, русск. *золовка*).

Ниже приводятся некоторые сопоставления Немета, отсутствующие в книге Гамкрелидзе и Иванова. Др.-тюрк, *mure* — *burc* «перец» было сопоставлено с скр. *marica*<sup>16</sup>. Тюрк, *sira* «пиво» было сопоставлено с скр.

<sup>14</sup> Интересно, что это слово встречается у Лейденского анонима (1343 г., издано Хоутсма [33]) в форме *awsaq*, которая является прототипом для казанскотатарской и башкирской форм.

<sup>15</sup> В древнетюркском мало слов на *-dltir*: *ogdir* «вознаграждение», *beltir* «место соединения двух или более дорог или слияния рек», *bald'ir* «относящийся к прошлому периоду (посев в начале весны; ягненок, рожденный в начале окота)», *b'ildir* «прошлый год», *qand'ir* «сыромятная кожа», (*ald'ir* звукоподражание постукиванию стрел в колчане, — однако ни одно из них не имеет ясной этимологии). В большинстве случаев здесь детальный следует после сонорного; об этом сочетании много дискутировали, см. [36].

<sup>16</sup> Большинство этих сопоставлений было предложено раньше и другими учеными. Ключевую роль здесь сыграл Б. Мункачи, написавший обширную работу об (индо)-арийских и кавказских элементах в финно-угорских языках [38] и параллельно с этим издавший серию статей относительно индоевропейских элементов в тюркских языках [7—9, 11]. Эти работы Мункачи были подвергнуты серьезной критике рядом венгерских ученых, в том числе Гомбоцем [12].

*sura* (это слово по-иному рассматривается авторами [1, с. 653] без привлечения тюркских и финно-угорских параллелей); тюрк, *tana* «телка» — с скр. *dhenā* (рассмотрено авторами [1, с. 567, 570, 933] без сопоставления с тюркским); тюрк. <ато^«стена, строение» — скр. *dama* (по Гамкрелидзе и Иванову, \**Vom* [1, с. 741] — без сопоставления с тюркским). В подстрочных примечаниях [4, с. 92, примеч. 1] Немет добавил в качестве возможного сопоставления тюрк, *аpa* «ячмень», обсуждавшееся выше. По поводу данных слов я приведу мнение Немета: «Когда и где произошли эти заимствования из древнеиндийского в тюркский? Вероятно, очень рано, во всяком случае, до нашей эры. Следует предположить, что заимствования указанных слов в тюркский осуществлялись не сразу, не в одном месте и, возможно даже, не непосредственно. Слово *tana*, в высшей степени вероятно, более древнее; *Bugz*, видимо, позднее проникшее из Индии бродячее слово. Не исключено также — по меньшей мере в ряде случаев, — соответствующие слова в тюркском были заимствованы собственно не из известного древнеиндийского языка, а из какого-то другого доисторического индоиранского диалекта. Нужно отделять эти индоиранские заимствования, которые вошли в тюркский, на мой взгляд, в более ранний период, от более поздних, таких, как, например, слово *sad*» [4, с. 92—93]. Как видим, Немет отделял ранние индоиранские заимствования, среди которых много миграционных культурных слов, от более поздних иранских слов. От этих двух групп он отделял две другие — заимствования из тохарского (согласно Немету — их тохарского Б). Такие параллели, как тюрк, *kun* «солнце» — тох. *kom* «день, солнце», тюрк, *сек-* «тянуть» — тох. *tsak-* «вытягивать», тюрк, *уap-* «делать» — тох. *ya-*, *уpa-* т.ж., — он объяснял случайными совпадениями, но два таких слова, как тюрк. *Штен* «десять тысяч» — тох. *tumane*, *tmane* т.ж. и тюрк, *okūb* — тох. *okso*, цитировано выше, — он полагал очень важными для реконструкции предистории тюркского. Согласно Немету, тохарско-тюркские контакты происходили в период миграции тохаров с запада на восток. Такие слова, как древнетюркский титул *cor*, относятся к гораздо более позднему слою (если только это слово тохарского происхождения — добавление, сделанное Ф. В. К. Мюллером). Все это Немет считал дополнительными аргументами для подтверждения своей гипотезы, согласно которой первоначальной родиной тюрков была Западная Азия (а не Восточная Азия, как полагал Рамстедт).

В статье, опубликованной в 1971 г., П. Аалто рассмотрел ранние иранские контакты тюрков [39]. Некоторые из приведенных там слов, вероятно, старше: например, чуваш, *turax*, монг. *taray* «кислое молоко» (<← тюрк, *taraq*), тюрк, *toraq* «сыр», чуваш, *turax* (→ венг. *turn* «творог»), которое, возможно, восходит к греч. *tyros*, русск. *тварог*. В 1974 г. я предложил несколько новых тюркско-тохарских параллелей [23]. Эти сопоставления были разобраны Вяч. Вс. Ивановым в докладе на сессии ПИАК в Ташкенте в 1986 и опубликованы в 1988 [40]. Хотя от некоторых из этих сопоставлений я с тех пор отказался, ряд других все же заслуживает быть упомянутым здесь, поскольку Гамкрелидзе и Иванов рассматривают соответствующие ИЕ слова. К основе \**iaH-* «ходить, двигаться» [1, с. 724] относятся такие слова, как скр. у *ana* «дорога», тох. А *уom* «следы ног» [17, с. 604], которые я сопоставил с очень древним словом степного пояса: др.-тюрк. *уam* «почтовая станция», встречающееся уже в языке табгачей (тоба-вэй), для которого оно было реконструировано Лигети в виде *у'iam* (см. [41, с. 294—295], там же монг. *jam*; об их более поздней истории в персидском, маньчжурском см. также русск.

ямщи(к), ямской<sup>17</sup>. Иванов прав [40, с. 102—103], когда он замечает, что, кажется, только основа — ИЕ происхождения, а *-n* и *-m* в *yam* — разные суффиксы.

В связи с ИЕ словом для «золота, металла» \**Hau-s-IHu-os* авторы [1, с. 713] цитируют Аалто [39] и приводят финно-угорские параллели [1, с. 710, 932], но не упоминают два алтайских слова, имеющих к этому отношению: тюрк. *uez* «медь» (-^ монг. *ier* «оружие») и др.-кирг. *dam*, кидань. *qasu*, дагур. *qaso* и т. д. «железо» (см. об этом слове подробно у Лигети [42])<sup>18</sup>.

Можно привести еще несколько слов, которые рассматриваются у Гамкрелидзе и Иванова, хотя при этом их тюркские параллели не упоминаются ими. Авторы [1, с. 603] привлекают внимание к тому факту, что в ИЕ диалектах было два слова для «меда»: \**mel-i-th* и \**meaV^u-*. Длительное время с этими словами связывали тюрк. *bal* «мед» (из недавних работ см. [37, с. 330, 771], на последней из указанных страниц также специфическое слово *mir*, несомненно из китайского *mier*, которое само из тохарского). Проблема только в вокализме, указывающем на иранский, в котором есть вариант *medhu* (авест. *madu* «вино, мед» и т. д., см. [35, с. 340]), и нет варианта *mel-*. К той же группе ИЕ слов относится тюрк. *bor* «вино» (→ монг., тюрк. → венг.) с тем же самым переходом *m^> b*, как и в *marica ^> burc* «перец». Авторы [1, с. 543] реконструируют ИЕ слово для «утки» как \**anHitW*, и оно должно быть сопоставлено с тюрк. *aj*, *ayit*, *ai-girt* «гусь, утка» и т. д., распространившимся из тюркского в монгольский (*anggir*), из якутского в эвенкийский и негидальский, из монгольского в эвенкийский, нанайский, маньчжурский. Я подробно рассмотрел это слово [25, с. 10—11] и сопоставил его с протоуральским *ua* «полярная утка» (см. еще [28, с. 13]), типичным бродячим культурным словом охотников Евразии. Интересно тюрк. (урал., монг.) *-z-* в противоположность *-n-* в ИЕ, где исконным звуком должен быть *ng* [;].

Не входя в дальнейшие детали и обсуждение нескольких других слов, не рассматривавшихся выше<sup>19</sup>, перейдем к заключению, которое пред-

<sup>17</sup> Начальный *y*, отразившийся не только в табгачском, но и в маньчж. *giya-mun (-yiam)*, указывает на субституцию *y-* звуком *j'*- (см. монг. *jam*), а затем */-> y'* в языке, в котором *j'* было невозможно в начальной позиции. Согласно Лигети, маньчжурская форма представляет собой раннее заимствование из сыньбийского. Клоос [37] сопоставил тюркское слово с китайским *chan* (5) (ср. [16, № 128], слово имело в среднекитайском финаль *-to*), среднекитайская форма обнаруживает нерегулярности в инициалах.

<sup>18</sup> Лигети наряду с другими рассмотрел слово «дом» в кетских языках [42, с. 148], связывая его (кет. *xuos*, *xus*, *kuos*, кот. *hus*, арин. *kuss* и т. д.) вполне корректно с тюрк. *qas* «палатка», монг. *qas* т.ж., которые не могут быть сопоставлены с германским словом *Haus* и его этимонами, как это у Гамкрелидзе и Иванова, следующих в этом предположению А. П. Дульзона. Мое высказывание [23, с. 503] о том, что данное тюрко-монгольное слово, возможно, тохарского происхождения, должно быть отвергнуто.

<sup>19</sup> Например, с ИЕ \**khormi-* «червь» [1, с. 527, примеч. 2] в тюркской семье может быть сопоставлено слово для «муравья»: *qomursqa*, *qimirsa*, *qormusqa*, *qumrusqa* и т. д. [37, с. 628], — ср. [23, с. 503], хотя возможны и другие этимологии (*qoyuz* «насекомое, червь», *qoyuz* «темнокоричневый», чуваш. *xamae*). В своей статье Иванов [40] предложил сопоставить чжурчж. *ancun* «золото» с монг. *altun*, с одной стороны, и с тох. В *encuwo* «железо», с другой. У Цинциус [14, с. 22, 33] тунг.-маньчж. *aisi*, чжурчж. *anci* отделены от *altun*, и это имеет серьезные основания. Лигети [43, с. 225] реконструировал для чжурчжэньского *alcun* и связал его с *altun*. К сожалению, китайская транскрипция амбивалентна. Первый иероглиф, используемый в транскрипции [18, № 145], имеет чтение *an*, которое передает в иностранных словах и *an*, и *al*, так что чжурчжэньское слово могло быть равным образом и *ancun*, и *alcun*. Маньчж. *aisin* «золото» может восходить только к более раннему *alsin* <C *alcin* < *altin*. Тогда предпочтительное реконструировать чжурчж. *alcin*, *aleun*. Однако в маньчжурском



8. *Munkacsı B.* Arische Sprachdenkmale in Tiirkischen Lehnwortern//Keleti Szemle. 1900. 1.
9. *Munkacsı B.* Beitrage zu den arischen Lehnwortern im Tiirkischen *I/I* KSz. 1905. 6.
10. *Munkacsı B.* Spuren eines altgermanischen Einflusses auf die ostfinnischen Sprachen und auf das Cuwasische // KSz. 1906. 7.
11. *Munkacsı B.* Beitrage zu den alten arischen Lehnwortern im Tiirkischen // KSz. 1905. 6-
12. *Gombocz Z.* Arja elemek a toroksegben // Nyelvtudományi Közlemenyek. 1906. 36.
13. *Hauer E.* Handwörterbuch der Mandchusprache. I—III. Wiesbaden, 1952.
14. Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков / Отв. ред. Цинциус В. И. Т. I—II. Л., 1975—1977.
15. *Kaluzyński S.* Die Sprache des mandchurischen Stammes Sibe aus der Gegend von Kuldscha. Warszawa, 1977.
16. Mathews' Chinese-English dictionary. Cambridge, 1956.
17. *Windekens A. J.* Le Tokharien confronte avec les autres langues indo-europeennes. V. I. La phonétique et le vocabulaire. Louvain, 1976.
18. *Karlgren B.* Grammata serica recensua. Stockholm, 1957.
19. *Новикова К. А.* Названия домашних животных в тунгусо-маньчжурских языках // Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979.
20. *Цинциус В. И.* Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков Л., 1949.
21. *Ligeii L.* Les anciens elements mongols dans le mandchou//AOH. 1960. 10.
22. *Rona-Tas A.* К проблеме родства алтайских языков//ВЯ. 1974. № 2.
23. *Rona-Tas A.* Tocharische Elemente in den altaischen Sprachen? // Sprache, Geschichte und Kultur der altaischen Volker: Schriften zur Geschichte und Kultur des alten Orients. 5. Berlin, 1974.
24. *Ligeii L.* A magyar nyelv torok kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Arpad-Korban. Bp., 1986.
25. *Rona-Tas A.* De hypothesi Uralo-Altaica, MSFOu. 1983. 185.
26. *Rona-Tas A.* «Rokonsagszeru osi Kapcsolat». Nemeth Gyula nezetei az urali es torok nyelvek viszonyaril // Uxalisztikai Tanulmányok. Bp., 1983.
27. *Jarring G.* Uzbek texts from Afghan Turkestan with glossary. Lund, 1938. (Lunds Universitets Arskrift N. F. Afd. 1. Bd 34. Nr. 2).
28. Uralisches etymologisches Wörterbuch / Redei K. (red.) Bp., 1986.
29. *Rona-Tas A.* Turkic influence on the Uralic languages // The Uralic languages. Description, history and foreign influences / Ed. Sinor D. Leiden; New York, 1988.
30. *Joki A.* Der wandernde Apfel// Studia Orientalia. 1963. 28.
31. *Doerfer G.* [TMEN] Tiirkische und mongolische Elemente im Neupersischen. I—IV. Wiesbaden, 1963—1975.
32. *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л., 1958.
33. *Houtsma M. Th.* Ein turkisch-arabisches Glossar. Leiden, 1894.
34. *Ramstedt G. J.* Kalmiikisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.
35. *Bailey H. W.* Dictionary of Khotan Saka. Cambridge, 1979.
36. *Johanson L.* Altitiirkisch als «dissimilierende Sprache». Wiesbaden, 1979.
37. *Claudson G.* An etymological dictionary of pre-thirteenth century Turkish. Oxford, 1972.
38. *Munkacsı B.* Arja es kaukazusi elemek a finn-magyar nyelvekben. Bp., 1901.
39. *Aalto P.* Iranian contacts of the Turks in Pre-Islamic Times *I/I* Studia Turcica / Ed. Ligeii L. Bp., 1971.
40. *Иванов Вяч. Ве.* К проблеме тохаро-алтайских лексических связей// ВЯ. 1988. № 4.
41. *Ligeii L.* Le tahgatch, un dialect de la langue sien-pi // Mongolian Studies / Ed. Ligeii L. Bp., 1970.
42. *Ligeii L.* Mots de civilisation de Haute Asie en transcription chinois *I/I* AOH. 1950. 1.
43. *Ligeii L.* Note preliminaire sur le dechiffrement des «petits caracteres» joutchen // AOH. 1953. 3.
44. *Benzing J.* Chwaresmischer Wortindex. Wiesbaden, 1983.

Перевели с английского *Корму шин И. В.* и *Корму шина П. И.*

© 1990 г.

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

**О ПОНЯТИИ ВТОРИЧНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО РОДСТВА  
И О ЕГО ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ  
БАЛКАНИСТИКИ**

Прошло более 60 лет со времени I Международного лингвистического конгресса (1928 г.), на котором Н. С. Трубецкой впервые сформулировал понятие «языкового союза», противопоставив тем самым историко-типологическое схождение языков генетическому родству, единицей которого является языковая семья. В обоснование своей теоретической новации Трубецкой привел краткие перечни дифференциальных признаков, выявляющих, как он полагал, коренное различие двух типов языковых единств. Представленное таким образом определение самого понятия «языковой союз» с тех пор никогда не пересматривалось, и поэтому кажется уместным привести его здесь в том виде, как оно было впервые сформулировано:

«Группы языков, обнаруживающих большое сходство в синтаксическом отношении, сходство в основах морфологического строения и большое сходство в области культурной лексики, иногда также внешнее сходство звуковых систем — однако никаких систематических звуковых соответствий, никаких соответствий в звуковой стороне морфологических элементов и никакой общности элементарной лексики,— такие языковые группы мы назовем языковыми союзами.

Группы, состоящие из языков, которые обладают значительным количеством общих слов элементарного характера (Elementarwörter), соответствиями в звуковом обозначении морфологических категорий и, прежде всего, постоянными звуковыми соответствиями,— такие языковые группы мы называем языковыми семьями» [1, с. 18].

В качестве образца «языкового союза» тут же было указано на исторически сложившуюся общность балканских языков, которая и до сих пор продолжает быть единственной конкретно разрабатываемой моделью лингвистического понятия «союза», введенного Н. С. Трубецким и получившего с течением времени статус своего рода аксиомы.

Идея «языкового союза» была развита далее на III Международном лингвистическом конгрессе (1933 г.). Считая, что существование балканского союза языков уже неопровержимо доказано Кр. Сандфельдом [2]. М. Малецкий наметил конкретные проблемы, вытекающие из принятия этого положения, а именно: а) какие языки следует считать собственно принадлежащими к балканскому языковому единству, б) какие языковые признаки следует считать специально «балканскими», в) каковы их география и хронология и г) каково происхождение балканской лингвистической общности [3]. В противоположность ясно выраженной Н. С. Трубецким ориентации на чисто типологическое направление балканистических исследований, в те же годы ясно оформилось понимание балканистики как области исследований, включающих разноаспектное изучение языков

всего балканского ареала, с полным охватом всех языковых сфер, с учетом специфики социальных ситуаций языкового общения и с комплексным привлечением данных историко-культурного характера<sup>1</sup>.

Хотя развитие этих двух направлений в целом продолжает быть характерным для оживившихся в последние десятилетия исследований в области балканистики, в теоретических выступлениях и дискуссиях вокруг проблемы балканского языкового союза заметно преобладает типологический подход [4—8]. В центре внимания продолжают стоять выдвинутые еще в 1933 г. вопросы, касающиеся критериев отнесения и степени принадлежности отдельных языков к балканскому языковому союзу, а также определения большей или меньшей характерности лингвистических признаков, причисляемых к «балканизмам». Известный интерес обнаруживается к вопросам хронологии появления общепалканских лингвистических признаков и к их географическому распределению. Меньше всего уделяется внимания вопросу о происхождении балканской языковой общности как особого лингвистического<sup>4</sup> образования. Известным шагом вперед можно считать то, что в настоящее время уже никто не ищет единой исходной причины, определившей конвергентность развития языков балканского ареала. Уже никто не усматривает первооснову образования общепалканских лингвистических признаков в изначальном влиянии древнебалканского субстрата. Идея Кр. Сандфельда, считавшего, что главным источником распространения специфических балканских инноваций был греческий язык византийской поры, также уже не встречает поддержки, тем более, что сам новогреческий в исследованиях последнего времени не относится к числу языков, обладающих наиболее ярко выраженными «балканизмами».

Большинство лингвистов-балканистов сходятся в настоящее время на признании многосторонних языковых контактов решающим фактором, определившим конвергентное развитие языков балканского ареала. Однако в такой общей формулировке и это положение не может считаться удовлетворительным. Будучи весьма неопределенным, оно оставляет открытым вопрос об историческом характере контактов, имевших своим результатом частичные или общие сближения элементов языковых систем. Недостатком современной теоретической балканистики, развивающейся под знаком типологически ориентированной концепции «языкового союза», является, на мой взгляд, излишнее увлечение общими дефинициями и заметная оторванность от исследований по конкретной истории языков и народов балканского региона. Между тем эти исследования за последние десятилетия значительно продвинулись вперед и тем самым дают возможность более глубокого проникновения в сущность, условия протекания и хронологические соотношения процессов, которые приводили к образованию тех более общих и более частных черт сходства, которые дают основание говорить о балканском «языковом союзе». В этой связи встает необходимость пересмотра того перечня признаков, на котором в свое время Н. С. Трубецкой построил определение понятия «языковой союз».

Поскольку речь идет собственно о чисто лингвистических признаках соотношения тех языков, которые могут быть объединены в группировку особого, вторичного по своему образованию характера, необходимо прежде всего заметить следующее: факт принадлежности балканских языков

<sup>1</sup> См. содержание номеров журнала «Revue internationale des études balkaniques» за 1934—1938 гг., издававшегося М. Будимиром и П. Скоком.

к индоевропейской семье не является в данном случае столь безразличным, как это хотелось бы считать сторонникам идеи образования языковых союзов на базе генетически разнородного языкового материала. Заложённые в далеком прошлом тенденции параллельного развития систем исконно родственных языков могли стимулировать единую направленность инновационных процессов в благоприятных условиях длительного и тесного контактирования этих ранее разошедшихся систем, содействовать их более активной конвергенции. Разумеется, это не исключает возможности влияния таких систем на системы вовлекавшихся в сферу контактов языков иного происхождения, с иными типами структур.

Согласно приведенному выше определению Н. С. Трубецкого, одним из признаков «языкового союза» должно являться полное отсутствие «общности элементарной лексики». Уже в самом факте наличия в словарных составах новых индоевропейских языков, относимых к балканскому лингвистическому союзу, целого ряда унаследованных от древности общих лексических элементов, казалось бы, обнаруживается несоответствие с установленным критерием объединения этих языков именно под знаком «союза». Можно согласиться, однако, с тем, что Н. С. Трубецкий имел известные основания пренебречь указанным противоречием, поскольку здесь речь идет об очень древнем лексическом слое, наличие которого, возможно, не столь релевантно для суждения о лингвистических процессах и явлениях относительно более позднего времени. И тем не менее изучение актуальных лексических связей, исторически сложившихся между балканскими языками, обнаруживает полную несостоятельность лексического критерия принадлежности этих языков к общности, обозначаемой термином «союз», предложенным в определении Н. С. Трубецкого.

Сравнение словарного состава восточнороманских, албанского, болгарского и македонского языков, составляющих, согласно установлению балканистов-типологов, центр, или ядро, балканского языкового союза [8], обнаруживает, особенно в их двусторонних связях (восточнороманско-славянских, славяно-албанских, албано-восточнороманских), большое количество общих слов из области именно элементарной лексики, которые не унаследованы от индоевропейского состояния, но приобретены в результате лингвоэтнических процессов в географических и исторических пределах балканского региона. Проведенное Н. С. Трубецким противопоставление негативного признака — отсутствия общности элементарной лексики — позитивному — сходству в области культурной лексики, — таким образом, теряет свою значимость, особенно если учесть, что бывший ему известным список лексических соответствий, анализируемых в труде Кр. Сандфельда [2], основан на в значительной степени устаревших и далеко не полных данных.

Более глубокое изучение двусторонних связей между балканскими языками ставит под сомнение также другой негативный признак «языкового союза», имеющий в формулировке Н. С. Трубецкого решающее значение, а именно — «отсутствие систематических звуковых соответствий». Если обратиться к одной из самых сложных проблем истории языков балканского региона — к вопросу об исторических отношениях восточнороманских и албанского языков, то между этими языками, при наличии очень большого количества лексических соответствий, обнаруживается и ряд более или менее регулярных фонетических соответствий. Характер сходств, выявляющихся при историко-сравнительном сопоставлении, в частности румынского языка с албанским, позволяет поставить вопрос



не просто о конвергентном развитии их в условиях исторических контактов, но о языковом родстве вторичного характера, образовавшемся в результате определенных этноисторических процессов. Этот тип родства обнаруживается и в общности определенных слоев элементарной лексики, в которых выявляется известная закономерность фонетических соответствий, и в большом сходстве некоторых историко-фонетических процессов, и даже иногда в фонетической идентичности некоторых формативов (флексий).

Таким образом, оказывается, что отношение, исторически сложившееся между языками, составляющими значительную часть балканской лингвистической общности, своими признаками более подходит под вторую часть антитезы, содержащейся в определении Н. С. Трубецкого, т. е. соответствует признакам не «союза», но «семьи». Установление такого факта, естественно, должно повлечь за собой пересмотр ставшей уже традиционной трактовки понятия «языковой союз». Не снимая в принципе этого понятия, оно подчеркивает значительную сложность исторических процессов, результатом действия которых на протяжении относительно близких к нашему времени исторических периодов явилось образование новой лингвистической общности, в некоторых отношениях сопоставимой с лингвистическими общностями, слагавшимися в доисторические эпохи.

★

Вопрос об историческом отношении восточнороманских и албанского языков теснейшим образом связан с проблемой их образования. Обращаясь к этой сложной теме, я заранее отвлекаюсь от рассмотрения точек зрения и контрверз, существующих относительно возможных территорий первоначального образования и распространения соответствующих этносов. Дискуссии по этим вопросам слишком отягощены эмоциональными акцентами. Главное же для меня состоит в том, что гипотетическая «привязка» определенных лингвоэтнических процессов к тем или иным конкретным участкам балканского географического пространства в сущности ничего не меняет в определении языковых компонентов, послуживших основой образования самих указанных языков с характерными для них чисто лингвистическими особенностями.

Если считать временем образования восточнороманских и албанского языков I тыс. н.э. (в основном первую его половину), то исходными данными, на которых можно строить необходимые при решении этой проблемы гипотезы, являются следующие не вызывающие сомнений факты: 1) существование на Балканском п-ове до завоевания его Римом целого ряда индоевропейских языков (помимо греческого), которые, вероятно, объединялись между собой более или менее близкими отношениями родства, причем признак деления на языки типов *sentum* и *satem* мог не играть решающей роли. Непосредственным продолжением одного из палеобалканских языков (скорее всего иллирийского) является албанский. Элементы другого (дако-мизийского или дако-фракийского) вошли, в качестве субстратного слоя, в сложившиеся на народнолатинской основе восточнороманские языки; 2) процесс романизации, в результате которого значительная часть древнего населения Балканского п-ова оказалась в языковом отношении ассимилированной; 3) распад Римской империи и сопровождавшие его движения и переселения этнических масс.

Вопросы образования восточнороманских и албанского языков широко обсуждаются и дискутируются в научной литературе [9—11].

Моя трактовка этой проблемы, подробно излагаемая в другой работе [12], кратко сводится к следующему: в основу албанского языка легли два языковых слоя, имеющих иллирийское происхождение: а) сильно романизованная речь иллирийского населения частей современной албано-язычной территории, непосредственно входивших в сферу римской колонизации (равнины Адриатического приморья, плодородные долины рек); б) менее затронутая римским языковым влиянием речь полунезависимых горных племен, консолидировавшихся в условиях распада Западной римской империи и образовавших единую народность, в которую вошло также романизованное иллирийское население равнин и долин. Таким образом, при образовании албанского языка, которое можно датировать первой половиной I тыс. н.э., помимо унаследованной иллирийской основы, играл свою роль также сильно романизованный вариант иллирийской речи.

С восточнороманскими языками албанский генетически соотносится двумя своими компонентами. Иллирийская основа албанской речи находит соответствия в субстратных палеобалканских элементах восточнороманских языков. Романский слой албанской лексики связан значительным рядом соответствий с латинской основой восточнороманской речи, причем соответствия эти не представляют зеркального отражения — ни в отношении количества совпадающих элементов, ни в отношении тождеств и различий их звуковой стороны. Именно в такой неполноте отражения перед нами выступает обычная картина соответствий между языками, обнаруживающими известную степень материального родства. Однако в данном случае родство оказывается не изначально заложенным и унаследованным, но вторично образовавшимся.

\*

В трудах по истории румынского языка приводятся формулы звуковых соответствий, выделяемые при сопоставлении палеобалканских элементов лексики восточнороманских и албанского языков [9, с. 261—264]. Некоторые из этих соответствий<sup>2</sup> подтверждаются достаточно репрезентативными группами примеров. Таковы, в частности, коррелирующие соответствия рум. *z* — алб. *dh* [d] и рум. *s* — алб. *th* [θ]. Ср.: рум. *zara* «пахта» — алб. *dhalle* тж.; рум. *barza* «анст» (собств. «белая птица») — алб. *i bardh* «белый»; рум. *viezure* «барсук» — алб. *vjedhull* тж.; рум. *mazare* «горох» — алб. *modhulle* «дикорастущее растение с семенами в виде горошка»; рум. *cursa* «капкан» — алб. *kurth* тж.; рум. *slmbure* «косточка, ядро» — алб. *thumbulle* «пуговка в виде шарика».

Очень характерно соответствие рум. *г* — алб. *И* [j], представленное в некоторых из вышеприведенных примеров. Ср. еще: рум. *abur* «пар» — алб. *avull* id.; рум. *mugur* «почка (растения)» — алб. *mugull* тж.

Соответствие это достаточно регулярно прослеживается также на лексическом материале латинского происхождения, причем возможность сопоставления с общероманскими исходными формами позволяет заключить, что в восточнороманских формах с *г* засвидетельствована специфическая инновация, в то время как албанские формы сохраняют этимологически на-

<sup>2</sup> Имеются в виду в первую очередь соответствия дифференциального характера. Соответствий тождества (*p* ~ *p*, *n* = *n* и др.) много, но они менее релевантны при решении данного вопроса, т. е. бывают характерны и для обычных процессов лексического заимствования.!

чальное состояние. Например: рум. *ceg* «небо» (< лат. *caelum*) — алб. *qiell* [kielj]; рум. *fir* «нить» (<С лат. *flum*) — алб. *fill*; рум. *bour* «зубр» (< лат. *bubalus*) — алб. *buall* «буйвол»; исторорум. *cordmbe* «терн» (<; лат. *columba* — название по признаку белизны цветения) — алб. *kullumbri* «боярышник»; рум. *porumb* «голубь» (< *palumbus*) — алб. *pellumb* т.ж.; рум. *tnger* «ангел» (< лат. *angelus*) — алб. *engjell* т.ж.; рум. *mdscur* «дикий кабан, хряк» (< лат. *masculus* «самец») — алб. *mashkull* «самец»; рум. *padure* «лес» (< лат. *padulem* = *paludem*, от *palus*) — алб. *pyll* т.ж.; рум. *popbz* «народ» (< лат. *populus*) — алб. *popull* т.ж.; рум. *prier* «апрель» (< лат. *aprilis*) — алб. *prill* т.ж.; рум. *scdra* «лестница» « лат. *scala*) — алб. *shkalle* т.ж.

Можно отметить также сходную направленность некоторых фонетических процессов, характерную для родственных языков, например, явлений дифтонгизации, ротацизма, палатализации и др.

Специфическая близость восточнороманских и албанского языков проявилась и в процессе исторического переформирования систем именного склонения, например, в таком факте, как использование при образовании основ мн. числа существительных палатализации, вызванной воздействием отпадавшего конечного форманта \*-i. Ср. рум. *urs* «медведь» — мн. ч. *urși* (-i не произносится); *amik* «друг» — *amici*; *grumaz* «шея» — *grundjii bajat* «мальчик» — *bafevi*; *var* «двоюродный брат» — *veri*. Алб. *zog* «птица» — мн. ч. *zogj* (<з \**zogi*); *mik* «друг» — *miq* (< \**miki*); *bujk* «земледелец» — *bufq* (\*< \**bulki*) *hyll* «звезда» — *hyi* (< \**hyli*); *plak* «старик» — *pleq* (\*< \**plaki*); *dash* «баран» — *desh* (<С \**dasi*).

Сходство в оформлении и в семантике системы артиклей настолько велико, что уже само по себе дает основание предполагать общность раз-  
вития, на что указал в свое время Э. Чабей [13].

\*

Заканчивая на этом краткий обзор фактов, относящихся к исторически сложной и многоаспектной проблеме отношения албанского языка к восточнороманским, замечу лишь, что наряду с традиционной однолинейной концепцией языкового родства, получившей наиболее яркое выражение в трудах А. Мейе по теории сравнительного языкознания, имеет право на существование также более широкая трактовка языкового родства, предложенная 40 лет назад выдающимся советским лингвистом Л. П. Якубинским. «В отличие от Мейе,— писал Якубинский,— мы даем иное определение родственных языков: два или несколько языков называются родственными, когда они связаны конкретной исторической взаимосвязью в процессе своего генезиса» [14].

Если говорить о «вторичном родстве», объединившем албанский с восточнороманскими языками, то генезис этих языков (в их исторически сложившемся виде) хронологически может быть отнесен к первой половине I тыс. н. э., когда в условиях распада Западной римской империи осуществлялись этноисторические процессы, приведшие к образованию новых народностей с их дошедшими до нового времени языками.

Для процессов образования более широкой лингвистической общности, получившей в науке наименование «балканский языковой союз», вторичное языковое родство, объединяющее часть языков, входящих в эту общность, может быть, как мне кажется, признано одним из существенно важных факторов. Разумеется, этим никак не снижается важность действия других факторов, связанных с процессами контактирования балканских

народов и их языков в периоды совместного существования в рамках Византийской, а позднее — Турецкой империй. Нельзя недооценивать значение культурных и языковых влияний, выразившихся в широком распространении общей лексики культурного характера, а также в калькировании синтаксических конструкций, приводившем к выработке общих особенностей синтаксического строения. Иными словами, не может быть единого решения вопросов, связанных с историей образования балканской языковой общности. История эта подлежит изучению во всей множественности действовавших в ней факторов, притом с полным учетом специфики процессов, характерных для отдельных частей балканского лингвистического ареала и для отдельных периодов исторической жизни населяющих его народов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Trubetzkoy N. S.* [Reponse a la question]: «Etablissement et delimitation des termes techniques. Quelle est la traduction exacte des termes techniques dans les differentes langues (français, anglais, allemand)?» // Actes du Premier Congrès intern. de linguistes a la Haye du 10—15 avril 1928. Leiden, 1930. P. 18.
2. *Sandfeld K.* Linguistique balkanique. Problemes et resultats. P., 1930.
3. *Malecki M.* Osservazioni sull'unione linguistica balcanica // Atti del III congr. intern. dei linguisti (Roma, 1933). Firenze, 1935. P. 73.
4. *Birnbaum H.* Balkanslavisch und Sudslavisch // Z. für Balkanologie. 1965. III.
5. *Birnbaum H.* Tiefen- und Oberflächenstrukturen balkanlinguistischer Erscheinungen // Ziele und Wege der Balkanlinguistik. B., 1983.
6. *Georgiev V.* Le probleme de l'unité linguistique balkanique // Actes du Premier Congrès intern. des études balkaniques et sud-est européennes. VI. Sofia, 1966.
7. *Цивьян Т. В.* Имя существительное в балканских языках. М., 1965.
8. *Schaller H. W.* Die Balkansprachen. Eine Einführung in die Balkanphilologie. Heidelberg, 1975.
9. *Rosetti A.* Istoria Limbli romane. Bucuresti, 1968.
10. *Ga/nilscheg E.* Zur rumanischen Frühgeschichte // Die Kultur Südosteuropas, ihre Geschichte und ihre Ausdrucksformen. Wiesbaden, 1964.
11. *Reichenkron G.* Vorrömische Elemente im Rumanischen. // Die Kultur Südosteuropas, ihre Geschichte und ihre Ausdrucksformen. Wiesbaden, 1964.
12. *Десницкая А. В.* К проблеме образования албанского языка и албанской народности // Албанская литература и албанский язык. Л., 1987. С. 204—252.
13. *Cabej E.* Unele probleme ale istoriei limbii albaneze // Stud, si cerc, lingv. 1959. X. 4. P. 531.
14. *Якубинский Л. П.* Образование народностей и их языков // Вестник ЛГУ. 1947. I. С. 139 и сл.

© 1990 г.

ГИНДИН Л. А.

## ЛУВИИЦЫ В ТРОЕ

(ОПЫТ ЛИНГВОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА)

Интерес к индоевропеистике как в плане сугубо лингвистическом, так и экстралингвистическом никогда не ослабевал. В центре исследований остаются проблемы прародины индоевропейцев, относительная и абсолютная хронология консолидации и распада индоевропейской общности, путей продвижения индоевропейских диалектов в места исторического обитания их носителей, ареальные, адстратные и субстратно-суперстратные взаимоотношения уже обособившихся диалектов между собой и с языками аборигенов заселяемых территорий.

Внимание к указанной проблематике особенно возросло в послевоенные годы. В настоящее время дискуссия, развернувшаяся вокруг двухтомного труда Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова Ш, еще более способствовала накалу страстей вокруг данного комплекса проблем со стороны ученых смежных специальностей — лингвистов, историков, археологов, компетенция которых оказалась затронута выходом этой книги и ряда статей тех же авторов.

Мне представляется, что ситуация ощутимым образом может проясниться в направлении увеличения однозначности выводов и соответственно уменьшения амплитуды мнений по отдельным проблемам в случае, если в нашем распоряжении будут конкретные тексты, содержащие в явном или неявном виде исторические данные, способствующие установлению в абсолютных величинах хронологических и пространственных параметров подлежащих изучению этнолингвистических феноменов. В таких обстоятельствах филология в качестве науки об интерпретации текста и в силу этого присущей ей комплексности [2] берет на себя роль синтезатора, интегрирующего результаты исследований целого ряда пограничных дисциплин гуманитарного цикла, переводящего факт лингвистической и в экспликативной части археологической реконструкции в ранг исторического свидетельства [3].

В связи со сказанным я думаю, что текстами, позволяющими датировать приход лувийцев в северо-западный угол Анатолии и постулировать территорию их распространения непосредственно в преданатолийский период в ареале, сопричастном Балканам с северо-востока, должны стать сообщения «Илиады» одних групп ликийцев, принимавших активное участие в Троянской войне. В результате комплексной интерпретации, включающей в обязательном порядке лингвофилологический анализ ключевых слов в пределах определенного текста [4, с. 175], эти свидетельства, в случае достаточной достоверности результатов их истолкования, в состоянии выполнить роль отправной точки отсчета для определения в абсолютных величинах хронологических и пространственных координат членения прото- и праиндоевропейских диалектов.

Значение подобной интерпретации данных гомеровских текстов в указанном аспекте сравнимо лишь с перспективами, которые открывает решение так называемой проблемы переднеазиатских арийцев, осуществляемое под углом зрения индоарийской атрибуции арийских языковых вкраплений в клинописные тексты Передней Азии на хурритском и хеттском языках ([5], ср. [6]).

Однако в отличие от последних, использование гомеровских поэм в качестве исторического источника по проблеме, вынесенной в заглавие, неизбежно ставит вопрос, насколько правомерно совмещать хронологически факты Троянской войны, содержащиеся в «Илиаде», в лучшем случае датируемые 1260/1250 гг. до н. э. (конец Трои Vila — по К. Блегену) ([7, с. 174; 8, с. 383]; обзор мнений 19, с. 147)), и датировки проникновения лувийцев в Анатолию, разрушивших Трою I около 2500 г. до н. э., согласно Дж. Мелларту, сформулировавшему этот вывод, опираясь практически только на археологический материал [10, с. 9 и ел.; 11, с. 270 и ел.; 12, с. 119 и ел., особенно 128, 132]. Положительный ответ коренится в специфике поэтического статуса памятника. Дошедшие в единственной редакции поэмы представляют собой амальгаму индивидуально-авторского начала гениального Поэта (уровень актуализации [13, 14]) и фольклорного традиционного материала, хранимого в коллективной памяти народа (гесп. сказителей-аэдов) на протяжении многих веков. Гомеровский эпос — отнюдь не историческая хроника, но поэтический феномен *par excellence*. С опорой на определенный эпический канон он преобразует историческую реальность в историю мыслимую, спрессовывая при этом в единый временной и пространственный срез огромный диахронический отрезок, вмещающий в пунктирном виде практически все слои археологической Трои, сохраняя их последовательность и, возможно, этнически маркируя — сознательно или, в соответствии с эпической традицией, посредством имен собственных (имеется в виду генеалогия Энея — П. XX, 215—240; специальное истолкование данного отрезка текста будет осуществлено в другой работе).

Все многомерное во временном отношении этническое пространство северо-западной Анатолии и — шире — Восточного Средиземноморья Гомер воплощает в синхронную Троянской войне мозаичскую картину, связанную воедино прихотливой, но геометрически строгой сюжетной линией (относительно Одиссея см. [13, с. 198; 15, с. 102 и ел.]). Именно последнее обстоятельство позволяет нам посредством определенных процедур лингвофилологического анализа экстраполировать гомеровские свидетельства в глубочайшую доисторию.

В то время как проблема лувийцев в Трое по филологическим данным гомеровских поэм никем не ставилась, да и не могла быть сформулирована до определенного момента (см. ниже), наличие двух групп ликийцев в Илиаде (речь идет о ликийцах Пандара и Сарпедона — Главка) отмечалось неоднократно, однако этот факт пристального внимания не привлекал и должного разъяснения не получил. Кажется, только Э. Бете [16, с. 114 и ел.] предложил их строго различить; другие же — В. Лиф [17, с. 181 и ел.], У. Вилламовиц-Мёллендорф [18, с. 585 и ел.], М. Нильсон [19, с. 261 и ел.], Л. Мальтен [20, с. 1 и ел.], Р. Карпентер [21, с. 66 и ел.] и т. д. — склонны с небольшими нюансами считать их одним и тем же народом, идентичным ликийцам, в исторический период населявшим Ликию на юго-западе Малой Азии. Их включение, наряду с киликийца-

ми, в число народов, обитавших в Трое, например, П. Кречмер считал, как и Виламовиц-Мёллендорф, «поэтическим вымыслом»<sup>1</sup>. Недавно 8. Л. Цымбурский, изучая истоки культа Аполлона ликийского (~ кл.-]ар-ра-ii-u-на «бог страны Wilusa» = гом. Ἰχίον), напротив, с достаточной убедительностью защищал тезис о реальности обеих групп ликийцев и малой вероятности проникновения в Троаду ликийцев с юга 123—25; 9, с. 167).

Обе группы ликийцев упомянуты и разграничены в перечне Троянских ратей и их союзников в так называемом Троянском каталоге (П. II, 816—877). Первые, обитавшие в Зелее под Илой в долине р. Эсеп (невдалеке на северо-восток от собственно Трои), согласно Страбону (XIII, 587), в 80 стадиях (9 милях) от устья этой реки, впадающей в Мраморное море [17, с. 181], идут под водительством Пандара, сына Ликаона (Αἰχιδονοῦ;... 1)16), после собственно троянцев Гектора и дарданцев Энея и прямо названы троянцами (Τρ<Σ?) (П. II, 824—827); все прочие отряды в данном месте такого этникона не имеют. При этом в П. V, 105, 173 Гомер употребляет название «Ликия» (соответственно Αοχίῆεν «из Ликии»; sv АХПΠ «в Ликии») в качестве абсолютного синонима к Зелее, называя немного далее, в V, 200 и 211, войско Пандара (как и П, 826) троянцами (Τρ<εωοτ — dat. pi.).

Объединение ликийцев Пандара и отряда Гектора под одним этником — *троянцы* полностью параллельно их парному употреблению вплоть до формального выражения в весьма знаменательном контексте П. VI, 77—78: Αἰνεῖα χ<αι> χαῖ Ἐχτορ σ<τ<ε<εῖ> Τροῦν ἡ<υ>ι<α> κυ<κ>λοῦ//Τρῆοι<ο> χαῖ Αἰχιδονοῦ ε<υ>χε<υ>Χ<αι> αἰ «Эней и Гектор, хотя у вас самая большая забота обращена на троянцев и ликийцев». Единство этих народов тонко отражено в переводе Гнедича: «...на вас... бремя забот о народе троянском». Формальность данного соположения этнических названий явственно проступает, образуя своего рода позицию нейтрализации, в П. XVI, 564, когда в борьбе за труп Сарпедона сошлись попарно «троянцы, и ликийцы, и мирмидоняне, и ахейцы» (Τρῆε; χαῖ Αοχίοι χαῖ Μυρμιδόνες; χαῖ Ἀχαιοί) и где, несомненно, действующими союзниками троянцев — ликийцы Сарпедона и Главка, т. е. II группа.

В то же время порядок перечисления собственно троянских ратей, отражающий основной состав населения гомеровской Трои (забегая вперед, хочу подчеркнуть — Трои «Илиады», а не археологической) соответствует шесть раз встречающейся тройственной формуле: Τρ<υ>ς; χαῖ Αοχ<τ>οτ χαῖ Ααρ<ρ>α<υ>οῖ δυ<α>αυ<τ>7)-αἰ' «троянцы, и ликийцы, и дарданцы, сражающиеся (врукопашную)» (П. VIII, 173; XI, 286; XIII, 150; XV, 425; 486; XVII, 184).

Вторая группа ликийцев, предводительствуемая Сарпедоном и Главком, впервые упомяната в самом конце Каталога (П. II, 875—877). Эти ликийцы прибыла ΠΑΟΩΝ Βῆ Αυχίη; Ζαυβοῖ ἡνο Στυ<ε>ν-ο; («из далекой Ликии, от бурлящего Ксанфа»), о них же в «Долонии» (П. X, 430) говорится как о стоящих вместе с мисами в Фимбре (по Strab. XIII, 598, в 50 стадиях к востоку) на троянской равнине в числе других союзников троянцев. Текст Гомера, несмотря на кажущееся этническое смещение на поверхностном уровне «зелейской» и «ксанфийской» Ликии, четко различает троянское и союзническое посредством употребления слова со значением «иноземец», т. е. «не троянец», образованного от основы κ<κ>Χ- «другой»

<sup>1</sup> См. [22, с. 189]. На с. 371 своей работы П. Кречмер пишет: «...в крайнем случае можно бы думать о колонии ликийцев в районе р. Эсеп, но при этом не оставившей ровно никаких дальнейших следов».

< и.-е. \*aЦо-. Так, В. П. V, 214 Пандар, ответствуя Энею, говорит: «Тотчас тогда пусть мне срубят голову иноземец» (аллбсрю; <pus), чем подчеркивается троянское происхождение Пандара; в то же время к Сарпедону, союзнику-ликийцу, в П. XVI, 550 применен однокоронный эпитет аХАоЗяб? — «иноземец» по отношению к Трое.

Реальная идентификация ликийцев II группы (Сарпедона — Главка) затруднений не вызывает. Место, откуда они, согласно Гомеру, пришли на помощь троянцам, совпадает с исторической Линией, называемой хеттскими источниками последней трети II тыс. (письмо о Тавагалавасе, Анналы Тудхалиаса IV) страной *Lukka* (< анат. \**Luka*); последняя давно отождествлена с греч. Аухта. Более ранняя ступень адаптации Лиха- отражена эпитетом Аполлона ADXTJ7SV7C, собств. «рожденный в Ликии» (П. IV, 101, 119) [26].

Что же касается I группы троянских ликийцев, то ее более или менее позитивная этимологическая и историко-культурная интерпретация пока еще никем предложена не была (см. помещенный выше обзор мнений).

В послевоенные годы утвердилась гипотеза, в окончательном виде оформленная Э. Ларошем [27], в соответствии с которой в и.-е. велярные, хорошо сохранившиеся в хеттском, в общелувийском претерпели в ряде основ частичное ослабление (Г anrondissement partiel) вплоть до их полного падения, видимо, через ступень спондизации: ср., например, начальный согласный: лув. кл. *im(ma)ra/i-* «поле, степь» — хет. *kim(ma)ra-*; лув. кл. *issari-* «рука» — хет. *kessar-* (и.-е. \**ghesr-*); в инлауте: лув. кл. *parr(a)i-* «высокий (о горе)» — хет. *pagku-* (и.-е. \**bhrgh-*), лув; кл. *tijammi-* «земля» — хет. *tegan* (и.-е. \**dghdm*) и др. Такая трактовка Ларошу кажется обусловленной соседством палатального вокализма. Помимо того, нетрудно заметить, что в шести примерах из девяти в списке Лароша можно наблюдать преобразование и.-е. звонкого придыхательного палатального *gh* (специально об этом явлении как наследии в общепалеотийском индоевропейского противопоставления палатального *gh* глухому велярному к см. в ряде работ Вяч. Вс. Иванова [28; 29, с. 85]). Однако уникальность этого процесса в и.-е. языках, приводившего к падению гуттурального, вынуждает учитывать и возможность воздействия каких-то чисто лувийских условий, в результате которых в ряде случаев в середине слова происходила неожиданная спондизация, в том числе и в случае а-вокализма, любого гуттурального, ср.: лув. кл. *nahhuwa-* «заботиться» — хет. *nakkes-*, лув. кл. *sahuitara* «правильный, законный» — хет. *sakuwassara-*; возможно, лув. кл. *sahhan-* «грязь» — хет. *sakkar/sakna-*, лув. кл. *luha-* «свет?» — хет. *lukk(a)* [30, с. 135, § 19]; ср. П. Мериджи [31, с. 194], который приводит примеры падения инлаутного велярного: лув. кл. *dauwa-* «глаз, взгляд» — хет. *sakuwa-* и засвидетельствованное только в хеттском *lala(k)wesa-* «муравей»; развивая идеи Лароша, Б. Чоп рассматривает падение разных видов гуттуральных в лувийском на более широкой материальной базе [32].

В рамках своей гипотезы Ларош [30, с. 64 и ел.] со ссылкой на П. Мериджи [31] и А. Гётце [33] предложил толковать лув. кл. основу *lu(w)i-* в названии страны *Lu(w)iija* [также *lu(w)ili* «по-лувийски»] из более древней формы \**luki-* или \**lukwi-*, тождественной упомянутому выше хетт. кл. названию исторической Ликии — *Бука*. Эта форма в рамках лувийских диалектов претерпела спондизацию велярного с последующим его выпадением и развитием в дублетных формах глайда *-w-* в хиатусе, видимо, в позиции, предшествующей переднеязычному (светлому) гласному *i*. Реальная форма *Lukki*, обозначающая народ, напавший на египетское по-



бережье, засвидетельствована в аккадской клинописи из египетского дипломатического архива в Тель-Эль-Амарне (I половина XIV в. до н. э.) [34, с. 396; 35, с. 369]. Впрочем, Ларош [271 при интерпретации хет. *Lukka*, лув. \**Luki* ^> *Lui* специально привел уже упоминавшийся пример спондизации *k* перед *a* в лув. кл. *luha-* «свет»; ср. еще лув. иер. (личное имя, далее — ЛИ) *Lu-hi(a)* [26, с. 101]. отождествление Мериджи и Ларошем старого *Lukka* и более позднего *Luwi-* признано Г. Нойманом [35, с. 370 и сл.] и Б. Чопом, причем для анатолийской этнонимической основы \**Luk-* реконструирован индоевропейский корень \**leuk-* «briller» [32, с. 16; 26, с. 100].

Таким образом, зелейцев/ликийцев, названных в «Илиаде» по крайней мере трижды троянцами (см. выше), вполне допустимо ретроспективно рассматривать в качестве лувийцев — носителей «западнолувийского языка» (в терминологии Хоувинка тен Кате [36, с. 72]), сохранявшего при всех условиях, в противоположность «восточнолувийскому», А-велярное, в том числе перед палатальным *i*, как в интересующей нас этнооснове \**Lu-yl-*. Последняя нашла совершенно точную передачу в форме гом. *Aoxiōi* (гесп. *Auxta*), сохранившую в процессе транскрипции велярный *k* + *i* в основе. По времени греческая передача может относиться к самому началу периоду формирования греческой фольклорной традиции вокруг событий Троянской войны или приуроченных к ней (XIV—XIII вв. до н. э.). Уместно отметить, что все тексты на самом лувийском языке, содержащие только основу *Llu(w)i-*, обнаружены исключительно в клинописных архивах Хаттусаса [30, с. 10], т. е. далеко к востоку от приморских областей Западной Малой Азии.

Возвращаясь к двум племенным группам гомеровских ликийцев, необходимо иметь в виду ряд моментов, связанных со спецификой нашего источника. Текст «Илиады», будучи основан на фольклорной традиции, представляет собой плоскость проекции разнохронологических и гетерогенных пластов, уходящих в глубь доистории, по меньшей мере за шесть веков до периода жизни Гомера. Этот текст даже на поверхностном уровне, данному в непосредственное восприятие, при внимательном прочтении содержит разную степень очевидности свидетельства, вынуждающие нас этнически разграничивать зелейских и ксанфийских ликийцев. Это не только выражается в том, что первых он, наряду с войском Гектора, включает в число троянцев, а вторых — в число союзников, но и в другом, менее явном факте. Как уже писалось, Гомер в «Илиаде» употребляет в качестве абсолютных синонимов, находящихся в дополнительном распределении, название родной земли Пандара «Зелея» в II, 824 — текст см. выше; ср. также следующие фрагменты текста с обещанием сотворить жертву «Аполлону, рожденному в Ликийи» (*ἄβ-./m^e^e^i.*): «по возвращении домой в священный город Зелею» (οἶχαος νοστῆραα ἔρ-?? euio-ʹj ZEASITʹ? — IV, 101—103; 119—121)<sup>2</sup> и «Ликия» в V, 104—105: ... si *i-eov* τε *wpoev* aval *AIK UIK* αἰρωναςvon *Atea* [Юев «если меня воистину побудил владыка сын Зевса [Аполлон] выступившего из Ликийи»; 173: οἶοε -κ ev AOXIY; aso f'sox<sup>stou</sup> εἰvou αἰσιww «и даже никто в Ликийи не похваляется, что он тебя [Пандара] лучше».

Поздний комментатор Гомера Евстафий (XII в. н. э.) под П. II, 824 тонко разъясняет весь ключевой для нас отрывок «Беотии» о Зелее в ее отношении к названию «Ликия» и этнониму «троянцы»: . . . σπῆκεοισσι Ss

<sup>2</sup> В цитированной формуле содержится важное свидетельство того, что в Зелее главным богом был Аполлон *Aomfsvi-fi*.

εναοΟα οi ιραΧατοi οrτ TJ [XSV хаха navSapov yjopa OJKOM]ILOS -cij sv xp Заvб(р Aoxia хаXstxас, Tpfie? 5s οi οixTjoxpes εχrотpтpлk..., οxi 8s хоююоxо; Aoxioe 6 TпdSapGK хai οxi Aoxia οrε' айхр ijv SV тj ZeXsia, SIOXOT to, ооos xi? εv Auxijj ооо εο'схai xpεiтсov εlvai Sio хat Aux7]Ysvst 'ArcoXwiv εv xotc SEYIG εofεxai. pijεov ο3v sv oXitp οxi οi [AONOV ZeXeиxai οi xou TпvSapou aX\*Xa. хat Tpficε, TSIJ SE хai Auxtoi xpivvujxta οuv 48vεT) хai ιvхаοΟа ibc хai siti xuv MupAт8vww itpостpTjxai («...ибо древние [авторы] здесь указывают, что земля, подвластная Пандару, называется омонимично Ликии, которая на Ксанфе, а обитатели — троянцами гетеронимично..., а что этот-то Пандар ликийец и что Ликия, подвластная ему, была в Зелее, поясняет выражение „и даже никто в Ликии не похваляется, что он сильнее тебя” [П. V, 173.— Г. Л.], поэтому и Ликегенею Аполлону он [Пандар] молится после. Поэтому можно коротко сказать, что [это] не только зелейцы Пандара, но и троянцы, а также и ликийцы. Так что и здесь этническая трионимия, как [это] говорится о мирмидонянах». В то же время Гомер ни разу не назвал народ, подвластный Пандару и его отцу Ликаону, ликийцами (Aoxioт), а всегда троянцами (Tpшe?) (П. II, 826; V, 200, 211). Напротив, этнином Aoxioi в различных падежах употреблен в «Илиаде» по отношению к войску Сарпедона и Главка 45 раз [37, с. 489—490], а в цитированных выше стихах Троянского каталога, где вводятся в эпическую ткань ликийцы II группы (II, 876—877), в минимальном контексте совмещен этнином Aoxiwv (dat. pi.) и топоним (sx) Aoxiye «из Ликии». Только в устойчивом выражении, дважды использованном в эпизоде ранения Пандаром Менелая (IV, 196—197; 206—207), текст предоставляет возможность весьма неопределенно судить об этнической принадлежности Пандара, практически ставя знак равенства между его ликийским или троянским происхождением: οv xi? οwсuсac ipaXsv xεtεv εй εtεuS/Tp-ϙ(jv tj Aoxicov, xp [ASV xkiоз иuиi бs iceov»; «которого паразит, спустив стрелу, какой-то искусный стрелок из Троянцев или Ликийцев, ему на славу, а нам на скорбь».

Здесь мы сталкиваемся с одним из самых существенных принципов гомеровской поэтики, выражающемся в достаточно четком соблюдении границ традиционно-фольклорного начала (мифопоэтический уровень) и индивидуально авторского (уровень актуализации) [14]. Благодаря этому принципу, вытекающему из самой природы эпического творчества, гомеровские поэмы, как уже говорилось, являются хранилищем информации, восходящей к эпохе за несколько веков до самого Гомера, в том числе к периоду Троянской войны, наряду со сведениями, близкими по времени к периоду жизни Гомера (VII—VIII вв. до н. э.) или современными ему. В силу этого текст гомеровских поэм обладает двумя специфическими видами историзма — фольклорным, позволяющим расширять рамки повествования далеко в глубь веков, и авторско-личностным, синхронно совпадающим со временем создания поэм Гомера. Руководствуясь изложенными принципами, поэт, по-видимому, в каждом конкретном случае предпочитает авторской интерпретации традиционно сложившийся текст, когда глубокий смысл сообщаемого стал уже недоступен ни автору, ни слушателю, и важная информация остается в латентном состоянии, нуждаясь в реконструкции. Так обстоит дело, например, с дважды встречающимся формульным выражением "pвcαov sfosxa 8pϙv «из-за женских даров» или, точнее, «из-за даров женщине» (об убитых под Троей кетейцах — Od. XI, 527; о погибшем в Фивах Амфирае — Od. XV, 247) [38, с. 34 и сл.] и с двусмысленным по значению и искусственным по образованию гомеровским гапаксом Sixavss (ожидалось бы SiCavic) «дважды умирающие» или «дважды мертвые» (по отношению к возвратившимся из Аида

Одиссею и его спутникам — Od. XII, 22). По всей вероятности, последнее слово было специально создано самим Гомером или его эпигонами для обусловленной эпической традицией консервации мифологического контекста и осуществления глубинных композиционных связей между «Nσxίη» и обязательными по скрытой логике развития ритуально-мифологического сюжета двумя посещениями Кирки до и после катабасиса [13, с. 197].

К такого рода свидетельствам, требующим особого истолкования, несомненно, принадлежат и фрагменты текста, связанные с троянцами Зелен/Ликийи, и в частности с формулой Τρῆες χαί Αἰμοὶ χαί Αδρῆσαιοί if/i-/Lixuyi-ai. Гомер настолько остраненно-бережно относится к кругу текстов о зелейцах — Пандаре и Ликаоне, что один эпизод в V песни «Илиады» на поверхностном уровне выглядит весьма противоречиво, поскольку Пандар в нем предводительствует как бы вообще троянцами, да еще ведет их в Илион.

Так, Пандар в диалоге с Энеем заявляет, что Ликаон, его отец, повел ему «предводительствовать троянцами в жестоких сражениях» [... Αἰχμῶν ... JA' sxe/is'js ... /f'pysostv Tpcosct хата храсепд? оар'vas (П. V, 197—200)] и десятью стихами ниже: «... когда я повел в прелестный Илион троянцев, неся благо божественному Гектору» (... 6-Ε 'ШОЧ el? ~~српвн-ф/ПУСХУУ~~ Tpcussci, ~~српн~~ уартv "Ex-opt St'q)— П. V, 210—211). Схолии, справедливо улавливая здесь *contradictio in adjectum*, живо комментируют приведенные стихи. В Schol. A<sup>3</sup> ad V, 200 прямо сказано: ip/eueiv Tpiosaat] ot o I TIV ZsXetav OIXOOVTS; **ОЮ ШЧ** "ISTJV хаί iri nivSarov Tpus? **ΕΧΕ**om-o («предводительствовать троянцами»), потому что населяющие Зелео под Идой и подвластные Пандару назывались троянцами». По поводу же V, 211 оба кодекса схолий содержат пространные, взаимодополняющие и далеко не однозначные комментарии к употреблению этнонима Τρῆεα; (dat. pi.). В первом абзаце Schol A ad loc. читаем: он авси той Τρῆεων око ΠΙV "ISYJV, у apicCpσmoc Ss ti "Eχxopι. xiv'ke, 8ē dfoCmce 64l Xifovxai x'cd ol (mo ndvSarov Tpus.; [je-ca'p'i]ooc "Tpcueoi tpcpcomydtv [ΠCσβαpOKzv «потому что ([стоит] sc. Τρῆεες) вместо [повел] тех из троянцев, которые под Идой, угрождаю Гектору. А некоторые не зная, что [здесь] говорится и о тех троянцах, которые подвластны Пандару, исправляют „[повел] троянцев укротителей коней, неся благо“». Затем в том же кодексе А предусматриваются три возможности толкования: 1) под формой Τρῆεαiv подразумеваются «конечно, троянцы в целом» (Τρῆεος/ ΤΠΟΙ хаΟοΧίχοc), как в П. VI, 1; 2) подчиненные Гектору (-oote иф' "Eχxop TSTOLYP-SVOI-) как в П. II, 816; 3) ИЛИ зелейцы (Ἰλῆ χαί xoiZ ZeXsi-rai?), как в П. II, 824. Кодекс В присоединяет еще четвертое соображение: «а некоторые, не желая, чтобы зелейцы были троянцами, говорят „Гектору“ (dat.) вместо „из-за Гектора“, как в [выражении] „из-за тебя (о Зевсе — dat. pronom. pers.) мы сражаемся“ (I. V, 875)» [xiv? δc μ εεXovts? Τρῆες sivaί -ooi? Zs/vgixa; x' "Ex-opi axi -coo ot, "Eχxopd tpaoiв ш; хо «coi -dv-ce? ;a)rbasc9a» (П. V, 875) J, к чему схолиаст добавляет: oix su «не хорошо». Необходимо подчеркнуть, что абсолютно все тексты, связанные с Пандаром и его троянскими зелейцами, вызывали, видимо, у схолиастов недоумение и потребность в комментарии, см., например, к неоднократно упоминаемому стиху П. II, 827: (Schol. B) «их же [зелейцев] страну [Гомер] зовет Ликийей, а обитателей троянцами» (ωw TIV jkx -/c'p'w

<sup>3</sup> К сожалению, я вынужден был довольствоваться единственным изданием схолий [39]; новейшее пятитомное издание схолий Г. Эрбзе (Berlin, 1968—1977) оказалось недоступным. Под звездочкой в кодексах даются «интермаргинальные» схолии.

xaXst Auxiaв ТОО? &#x2116; oixYtopas Тршас). Обратил внимание на этот фрагмент (824—827) и великий комментатор Гомера Страбон. Цитируя отрывок целиком, он предвывает его следующим замечанием: «затем [идут] подвластные Пандару, ликийцы, которых самих [Гомер] называет троянцами» (st0' oi ono ПавСапа Aoxiot, oik xai oытоо; xaXst Трwas — Strabo XIII, 585). Здесь Страбон допускает неточность, поскольку, как уже отмечалось выше, Гомер ни разу по отношению к зелейцам Пандара не употребил этноним *Aoxioi*. Впрочем, в предшествующей книге (XII, 565) он пишет аккуратнее, опираясь на те же стихи «Илиады»: «[Гомер] подряд к северу помещает Ликию, подвластную Пандару, в которой Зедея» (tiOTctv S'EET); трo? *apxov* xai TM Aox'av TM OTZO ПавSипсr sv П f ZsXsia). Правда, и здесь есть маленький нюанс, «улучшающий» Гомера, нигде прямо не включавшего Зедею в троянскую Ликию. Все, что мы у него находим, — это употребление дважды о Пандаре в И. V, 105 и 173 (см. выше) названия «Ликия» в качестве абсолютного синонима Зедеи. Оба случая не преминули прокомментировать схолии кодекса A (ad. V, 105): Aoxnqeev, \*6П П; Трo'ixv; A'x'ac «из Ликии», потому что из троянской Ликии», и затем: AuxijGe-/ Auxias jicopa; rfi sLaGiXeos Зарп[и]ч. sa-zi &#x2116;k xai stspa тт; Трад^o? -KOKIC, -П; spaiXsuE n&vSapos «из Ликии» из ликийской земли, которой управлял Сарпедон. А есть и другой город Трояды, которым управлял Пандар»; (ad. V, 173): \*b Aox'ij<cm -ПV ТрwтTjv Auxiaв Kijei «потому что [Гомер] говорит о троянской Ликии». Согласно словарю Папе-Бензелера [40, с. 822], одна из схолий к IV, 88 также в связи с Пандаром называет троянскую Ликию «малая» (z, лпхр&#x2116;); см. в приведенном ниже комментарии Евстафия к П. IV, 101 об Аполлоне Ликегенее: r, -r, [vzaXid . . . т) и] [xtxpа.

В схолиях к другим стихам «Илиады» имеются аналогичные отождествления Зедеи и троянской Ликии. Так, в связи с обетом Пандара, по настоянию Афины, принести в Зедею жертву Аполлону XIXПYSVSI (П. IV, 101—103; 119—121 — в формульном выражении) кодекс A толкует eSchol. ad. IV, 101: \*Auxijfjvsvsi] б-л што ПИС ТраKijis Auxiac, lE YS ha-.iv o fiiivSapo; («потому что по троянской Ликии, из которой Пандар») и совершенно однозначно — ad IV, 103: oixote VOOTΠCOK] OΠ 'q oko и "IS-/ A: xjia то roxXaiov ZsXsta EaxCtTo Sia то rov A^oxXwa iv aikf Xiaв siteefisToQai («потому что Ликия под Идой в древности называлась Зелеей, поскольку в ней очень почитался Аполлон»). В унисон к приведенным схолиям, Евстафий разъясняет ключевой для всего нашего построения отрывок из Троянского каталога под П. II, 824: Xeyoπад Se, тpυai, xata Tiva; oi тoU UxvSipo'j ZsXci'at xai Auxioi. xai 6 yeoupafo; Ss тpυaiν ort Auxtoi oi Тpwi-xoi, xai STEpot про; т) Kapta, -spi tev o.tovoid spytv SITIV OC TOUS ezkpo'jt; aitoutcd^aov. еrcsi Ss, φPji, Auxjoi oi rcspi ZeXstav, fiii TOUTO xai Auxdcov ap'jyo; au-uv xai AivXXcov aToQi Tiaatat Auxr'Ev'; «ка называются подданные Пандара зеленцами и ликийцами. И географ [Страбон] говорит, что [существуют] троянские ликийцы и другие возле Карий, о каковых мнение есть, словно одни отделились от других. А поскольку он говорит, что ликийцы те, которые вокруг Зедеи, поэтому и Ликаон — вождь их, и здесь именно Аполлон почитается Ликегенее»).

Как видно из приведенного материала, античная и более поздняя экзегетика (схолии, Страбон, Евстафий и др.) весьма чутко отозвалась на затемненность и кажущуюся противоречивость круга текстов, связанных с жителями Зедеи/Ликии Пандара и ликийцами «исторической» Ликии Главка — Сарпедона. Однако не располагая приемами современного историко-филологического анализа и не имея представления о многокомпо-

ненности поэтического пространства по вертикали, древние комментаторы Гомера, как, впрочем, зачастую и современные филологи-литературоведы, вынуждены были оставаться в пределах поверхностного (актуального) уровня текста. Они довольствовались координацией и приведением в соответствие противоречивых фактов данного текста, развертывающихся как бы в идеальной синхронии, дополняя его сведениями современной интерпретаторам мифоисторической традиции и схоластическими рассуждениями, нередко окрашенными упрощенным эвгемеризмом или народно-этимологической параномазией, (см. например, схолии кодекса В к П. VI, 173 или V, 211, а также приводившуюся выше Shol. A ad. I, IV, 103, где топоним *Zs/eia*, по-видимому, сближен с *Ἰθάκη* «ревностно почтять», на что обратил внимание В. Л. Цымбурский [24]). Между тем гомеровской «эпохи», по совершенно обоснованному наблюдению И. М. Тройского, как некоей с и н х р о н о й реальности, изображаемой в эпосе, не существует. В эпосе отражена не отдельная эпоха, а огромная перспектива исторического развития [41, с. 150 и ел.], что полностью совпадает с изложенным выше относительно хронологической «компрессии», проявляющейся в виде разнохарактерных отголосков в тексте поэм исторических событий, имевших место на протяжении нескольких археологических слоев Трои — Гисарлыка, задолго до времени Троянской войны, воссозданной Гомером по эпическому канону на основе традиционно-фольклорного и индивидуально-авторского историзма.

Преодолеть рамки текста, данного нам в непосредственное восприятие, и осуществить восхождение к глубинным уровням эпического подтекста, содержащим *implicite* историческую перспективу реального мира, оказалось возможным, лишь благодаря тому, что выше пунктирно обозначено понятием «лингвофилологический анализ», базирующимся на совмещении чисто филологических процедур с приемами реконструкции, давно уже ставшими после разграничения лингвистики и литературоведения prerogative ряда сугубо лингвистических дисциплин — этимологии апеллятивной и топонимической лексики, диахронической, исторической лексикологии и т. п. От этих дисциплин современная «ортодоксальная» филология полностью отгородилась, не в пример, кстати говоря, древней экзегетике, включавшей в качестве неперменного компонента толкования, главным образом в отношении имен собственных, этимологические версии в духе того уровня науки, не выходящего за границы параномазиологической игры. Именно достаточно строгий лингвофилологический анализ позволяет проникнуть в глубинные слои текста и в значительной мере тем самым ведет к снятию противоречий на актуально-эпической плоскости поэм. Эти противоречия обусловлены, как мы уже говорили, утратой связей между конститутивными элементами некогда единой ситуации и диахроническими наслоениями. Такой анализ приводит нас в итоге к прояснению темных мест текста. Тем самым посредством совокупности лингвофилологических процедур (преимущественно семантико-этимологического анализа) осуществляется воссоединение внеположенных тексту междисциплинарных фактов с конкретными единицами и цельными отрезками текста на всех его уровнях.

Относительно изучаемого здесь случая с двумя племенными группами ликийцев, проблема которых волновала не одиё поколение филологов — комментаторов Гомера с античных времен, необходимо отметить, что в содержательном смысле ее решение могло наметиться и теперь представляется осуществимым только в условиях современного уровня наших знаний о Восточном Средиземноморье и Ближнем Востоке: а именно после

прочтения хетто-лувийских письменных памятников ранней и поздней поры, расшифровки крито-микенских табличек, введения в научный обиход многочисленных данных палеобалканских языков, особенно фракийского, и необычайных успехов в послевоенные годы археологии Юго-Востока Балканского полуострова и Малой Азии.

Прежде чем перейти к дальнейшему воссозданию исторической реальности, проступающей вообще в ликийской теме «Илиады» и занимающей в ней почти равное место с собственно троянцами/дарданцами, необходимо специально отметить, что филологические истоки данной реконструкции могли сохраниться в синхронной поверхностной ткани поэм единственно в силу гомеровской поэтики. Следуя ее принципам, в своей ориентации на фольклорную традицию поэт оставил в неприкосновенности деформированные на протяжении многих веков в содержательном отношении фрагменты текста и общую конфигурацию тем и цельных композиционных блоков, возникших на базе реальности, чуждой непосредственному пониманию поэта и к его времени превратившейся в глухие мифопоэтические отзвуки, способные преобразовать хеттов одновременно в амазонок и в легендарный народ кетейцев, сохранившихся в виде совершенно темного и спонтанного упоминания в трех стихах XI песни «Одиссея» (519—521). В своем стремлении к консервации традиционных эпических компонентов (духовно-ритуальных, исторических, географических, этносоциальных и т. п.) поэт по большей части оказывается ближе к реальной истории, чем его прагматические комментаторы, даже такие, как, например, Страбон, не говоря уже о схолистах и компиляторе Евстафии, жившем в X в. н. э. К тому же у нас нет никакой уверенности, что поздние эпигоны, даже великолепный Квинт Смирнский (III—IV в. н. э.) с тремя песнями о «Кетейцах» (VI—VIII) в «Постгомериках», едва ли располагали независимой информацией, претендующей на догомеровский статус. Добавим ко всему этому совершенно особый род проявления индивидуально-авторского начала, например, в сюжетно-тематических комплексах Диомеда, Энея, отчасти Сарпедона и др., когда Гомер свободно перекомпоновывает традиционный материал в соответствии со своим авторским замыслом, инспирированным его поэтической сверхзадачей — созданием возвышенно-прекрасного, трагического образа мира, полного высоких и недостойных страстей как людей, так и богов. При этом и сама перекомпоновка детерминирована в значительной степени глубинной исторической структурой перерабатываемого материала. В результате на актуально-эпическую плоскость поэм как бы проецируются те древние конкретно-исторические импульсы, которые обусловили данную фольклорную традицию у ее истоков.

Итак, приведенная аргументация, мне думается, дает достаточные основания, согласно высказанной выше гипотезе, видеть в гомеровских тротьянских ликийцах, населявших Зелёю — район к северо-востоку от Илиона, у подножия Иды (I этническая группа ликийцев), — в ретроспективной реконструкции — жителей страны \**Luka*, располагавшейся в северо-западном углу Анатолии. В исторический период это название было засвидетельствовано хеттскими клинописными источниками в форме *Lukka* для обозначения области на юго-западе прибрежной Анатолии в более чем четырехстах километрах от Трояды; последняя фиксируется в греческой письменной традиции, возможно, с микенского периода в виде *Auxta*; жители ее именуются *Aoxioi*, (ср. лин. В *ru-ki-jo* = Аохюс? — ЛИ из Пилоса [42, с. 300]; *ru-ki-ja* = *Auxta*? и *Auxta* [43, с. 124] (II группа ликийцев). Тот же анатолийский этникон \**Lukawana/i* греки

восприняли в форме мн. ч. Аха(F)ove; и уже от него образовали Апх-х(F)ov(a — топоним на юго-востоке континентальной части Анатолии, место обитания этого народа, где хеттские клинописные источники помещали одну из областей исторической Лувии, по всей видимости, в свою очередь, располагавшейся между Арцавой и Кищуватной [30, с. 8; 44, с. 130; 1, с. 956—957 (карта)]. Таким образом, Aoxtot: Auh'x'a, будучи непосредственной адаптационной передачей зап.-лув. этнопонимической основы \*Luki-/a-, являются дублетами данных форм. Поэтому вполне правомерно упоминавших троянцев Пандара, населявших Зелёю/Лицию, этнически идентифицировать с лувийцами клинописных источников.

Глубинная подтекстовая связь троянской Ликии с анатолийским названием страны \*Luka- явственно проступает у Гомера в имени отца Пандара A'jxi(F)wv, -ovoz, для которого мною в свое время был восстановлен в качестве исходной формы этникон \*Luka-wana- «житель страны \*Luka», во всех отношениях равный хетт. кл. lui-um(a)-na- «житель страны Lu(w)ija», «лувиец»; лув. этникон-суффикс -wana/i- = хетт. кл. -(u)mana-, (u)mna- [26, с. 103 и ел.].

Тесная связь троянских ликийцев с собственно жителями Илиона (resp. Трои) в обычной для гомеровского эпоса манере отражения этнических взаимодействий включена в генеалогическое древо властителей Трои: один из сыновей Приама и Лаотои — дочери царя лелегов, проживающих в Педасе (II, XXI, 85—88), брат Париса-Александра, также носит имя A-ja(F)ov и занимает в «Илиаде» сюжетно неоправданно большое место, будучи упомянут 5 раз, из них 4 раза в конечных песнях (XX, 81; XXI, 35; XXII, 46; 23, 746), причем обращает на себя внимание трагический по отношению к нему, вероятно, ретроспективно обусловленный: в III, 333 доспех Ликаона надевает Александр, в XX, 81 его голосом говорит Аполлон, более всего почитаемый в Ликии/Зелее (IV, 101—103) как A-ja(F)zmt/- «рожденный в Ликии».

В свете развернутой выше гипотезы о лувийском (в реконструкции) компоненте в составе населения гомеровской и вообще археологической Трои в данный момент представляется весьма трудным предугадать все далеко идущие последствия этого фундаментального и совершенно нетривиального положения для этногенеза народов всей Эгеиды, особенно западной Анатолии и юго-востока Балкан. Уже сейчас становится очевидным, что в пересмотре под этим углом зрения нуждаются многие лингвистические и культурно-исторические факты как конкретные, касающиеся топонимики и ономастики, так и более общие — из сферы этнокультурных, а также доисторических и исторических взаимодействий в в указанном регионе.

Прежде всего постулирование лувийского этнического компонента в Трое коренным образом расходится с весьма категоричным положением моей книги о почти полном отсутствии в топонимике гомеровской Троады лексем хетто-лувийского происхождения [9, с. 164; 45, с. 28] и, соответственно, сравнительно поздним проникновением туда хеттоязычных племен. Некоторое число антропонимов, имеющих достоверные хетто-лувийские этимологии, относилось, как теперь выясняется, без достаточных оснований, за счет более поздних (вассальных и пр.) взаимодействий Илиона (хетт. кл. *Wilusa*) п Трои (хетт. кл. *Taruisa*) с собственно хеттской империей незадолго до периода Приамовой Трои (археологический слой V1a, приблизительно 1300—1240 гг. до н. э.). Эти контакты преимущественно осуществлялись с хетто-лувийскими территориями, примыкающими к Троаде с юго-востока Анатолии (ср. Договор Муватталиса с Алак-

сандусом из Вилусы: 1306—1282 или 1325—1305 гг. до н. э.; *Анналы Туд-халияса IV*: 1250—1220 гг. до н. э.). Среди них важнейшее ЛИ Пр?адо- = *Prijama* < анатол. \**Prija-ma*, на базе хетт.-лув. *p(a)ri(ja)-*, т. е. «первый, исключительный», ср. лие. В. *pi-ri-ja-me-ja*; сюда же, видимо, Пдріс с его вторым династическим именем 'АХІ|аю\*ро?, возможно, это греческая: адаптация хетт. кл. *Alaksandus* — имени царя Вилусы [26, с. 142] (см. ниже о фракко-лийских соответствиях); в их числе следует упомянуть интерпретируемый выше Аохдvw (тоже сын Приама) и несколько других личных имен [9, с. 166 и ел.].

Как мне теперь представляется, в свете высказанной гипотезы нет никаких препятствий считать лувийскими (resp. хеттскими) по происхождению, сверх рассмотренного подробно троянского названия Лихь. < лув. \**Luka*, следующие топонимы Трояды. КtXixta — область, прилегающая к Трояде с юга, согласно Schol. Eur. Rhos. ad 5 [46, с. 143]; КtXixi'a sv "от? ііwросGsv uipscoi тт; Тоо is? xettai (ср. Strab. XIII, 612); жителей этой области Гомер называет *Kuи/ес*, (П. VI, 396—397); из них происходила Андромаха, жена Гектора. В исторических местах обитания в верхнем течении Галиса (зап. Катаония) и позже к югу от Тавра в собственно Киликии данный этноним засвидетельствован ассирийскими источниками периода правления Сеннахериба (705—681 гг. до н. э.) в виде *Hilakku* и несколько раньше при Салманасаре V (726—722 гг. до н. э.) — *Hiluka*, арамейск. *hlyun* (конец V в. до н. э.) [47, с. 71]. Их правитель носил определенно лувийское имя *Pi-hi-ri-si* [48, с. 54 и ел.], ср. хетт. МН \**Pi-hi-ri-ja-an* [49, № 1008]. Название одного из двух главных городов троянской Киликии — АbрУуоос, как правильно отметил Вл. Георгиев [50, с. 9], имело явно хетто-лувийский облик, хотя соответствующего апеллатива в хетто-лувийском словаре пока не обнаружено. Весьма правдоподобную словопроизводную связь В. Л. Цымбурский [51, с. 16 и ел.] устанавливает между этнонимом Кt/a-K-s; и названием священного троянского города КtXXa вблизи Фив на берегу Адрамиттенского залива, являющегося, наряду с Хрисой, одним из главных мест почитания «троянского» Аполлона, в связи с чем его эпиклеза гом. КtXXi oc (ср., возможно, в линейном В ЛИ nom. sing. f. *ki-ri-ja-i-jo* [52, с. 420], затем КtXXo.Toc — река, текущая с Иды, КtXXaiov — город в Трое и на Лесбосе). Как святое место с храмом Аполлону он соотносит МН КtXXa (в качестве греч. передачи) с хеттским клинописным апеллативом &hila «Einzaunung, Viehhof; Hof des Mondes und der Sonne» [53, с. 6]; *Hilassii* «(die) du hila», т. е. «бог двора», лувийский (?) dat. \**Hilasslli* [54, с. 69] и т. д.; лик. *qla* «enceinte, sanctuaire» в конструкции *eni qlahi ebijehi* «la Mere du qla, d'ici» [55, с. 183] *qlahi* (= *hilassi*) — атрибутов к Лето, матери Аполлона [36, с. 93]. Геминирование *I* в КtX/oc свойственно греческим передачам хеттских прототипов: ср. лид. ЛИ Каа-wXXo; и др. при килнк. МН *Kao-Xiz* от хет. *H/hastali-* [26, с. 148 и ел.]; ср. еще исавр. ЛИ Го.X(X)ac от хет. основы *kula-* [36, с. 51; 56, с. 15]; сюда же исавр. ЛИ Ксыл/i? при *KouXex* [57, § 726 -3, -4], а также встречается в самом хеттском, ср. ЛИ ШI(1)ann1 [49, № 353], видимо, от упомянутого хет. *hila*. Наглядная семантическая параллель к образованию топонима от апеллатива «храм» наблюдается в догреч.-анат. Пар^ас(о)о? от лув. кл. и иер. *pama-*, хет. *parn-*; *pir* и пр. [26, с. 147 и ел.; 9, с. 95 и ел.]. Уместно указать на соответствие хет.-лув. *H/hila* во фрак. -xtXac/-o?, -xeXas/-o?, -xsiXas/-o?, особенно в композитах Aiou-xetXac, -xtXac, St-xsaXa?, -xtXos [58, с. 237 и ел.], собственно «двор, храм бога светлого дня» [59, с. 59 и ел.]. К этой же группе лексем, включая гом.-троянск. К'XXa, относится фрак. МН



*Cillae*, -ium, KcXXai/-Tj — mansioj nordlieb des Hebrus, согласно Д. Дечеву, но с менее убедительной формальной этимологией (из и.-е. \*k"el-«источник», нем. *Quelle* [58, с. 238]), хотя контаминация лексем со значениями «огороженное место и пр.» — «источник» не исключена [60, с. 83]; сюда же, вероятно, мессап. МН *kilahiahi* (gen. sg, ср. KIXATJ;) [61, с. 151; 62]<sup>4</sup>.

Щ8аоо; — город племени Ле'/г'г; (И. XXI, 86—87, ср. VI, 35; об этнониме см. ниже), расположенный в области к западу от Лирнесса, вдоль побережья Адриатического залива; при хет. МН *Petassa* определенно может быть соотнесено с хет. *peda*- «место» [63, с. 5], ср. хет. МН *Pitassa* [64, с. 4901; в лик. В (милиийском) имеется синкопированная форма *pdi* «место» (TL, 55,1), abl. *pddsti* (TL 29,14), *pddati* (TL 29,6) (указано Л. С. Баюн). Сюда же nVjoatov — город, из которого пришел "IлЗрю;., зять Приама, без локализации у Гомера (П. XIII, 171—173), согласно Schol. A ad loc. = троянск. Щ3аоо;.

*Wksjse* — название легендарного племени, засвидетельствованного также на юго-западе Малой Азии, Геродот (I, 171) отождествлял их с карийцами; в П. X, 423 это племя — упомянуто среди других хетто-лувийских союзников троянцев. Этноним хорошо идентифицируется с хет.-лув. *lulah(h)i*- «barbare» [30, с. 64; ср. 54, с. 123].

Все упомянутые города находятся против о. <sup>3</sup>IлЗрю;., многократно упоминаемого Гомером; лувийское происхождение этого топонима неоспоримо: ср. лув. аппеллатив *im(ma)ri-la*- «сельская местность, поле, степь», в лик. ЛИ Iaifap, I;-фртj; [9, с. 106 и сл.].

Таким образом, в эпоху Троянской войны области на юге Троады, сравнительно узким поясом охватывающие подножье Идейского кряжа, еще были населены хетто-лувийскими племенами. Вместе с лувийцами Зелеи, расположенной на крайнем северо-востоке Троады, также у подножия Иды, они могли представлять ограниченные географические этнические вкрапления реликтового характера, отделявшие внутренние части Троады от обширных районов мизинцев и фригийцев Малой Азии, за которыми простирались уже исторические области хеттов и лувийцев.

В культурно-историческом аспекте отождествление Троянской Ликии/Зелеи с анат. \**Luka* и ее населения, соответственно, с лувийцами хеттских клинописных текстов влечет за собой необходимость значительного переосмысления многих устоявшихся в науке мнений относительно узко лпкийской этнической атрибуции ряда явлений греческой эпической, историко-литературной и мифологической традиции, а также дает возможность понять, почему ликийская тема занимает столь значительное место в батальных сценах «Илиады» и главное в структуре сюжета, заканчиваясь только в XVI—XVII песнях гибелью Сарпедона в поединке с Патроклом и сражением за труп первого. Мало того, Гомер, сохраняя основанное на традиции разграничение двух групп ликийцев, склонен не только иногда без различия употреблять название *Axioi*, при упоминании их отчих земель (см. выше), но и объединяет обе группы под этнонимом *A'MIOI*, которые входят в известную трехчленную и парную формулы, отражающие этнический состав коренного населения гомеровской Трои: «Тршз; хотт Аохтоi v-cu Дярйонсн» и «Трш>тoν хат Аихуов». Эта более общая таксономическая единица четко выступает в XVII песне, когда Гектор,

<sup>4</sup> В свете изложенного, возможно, знаменателен контекст мессапской надписи 7, 24: *kilahiahi...appalloa* (ib.), к последнему ср. ЛИ *'Ar.oWac*, sc. 'AтoXХа?" [40, Bd I, с. 107].

обращаясь к Главку, упоминает в стихе 172 южных ликийцев (Scot Αὐλίπρ ἔρφασιπх \atexdouov), а рядом — в стихах 188—189, побуждая троянцев, обитателей Трои (Τρῳεσσῖν sπexXexo) к бою за труп Сарпедона. вождя П группы ликийцев, использует цитированную трехчленную формулу с Αοχτοί, которая используется в данном случае для обозначения всех ликийцев вообще.

Важно еще одно обстоятельство: в пределах исторической Ликии разворачивается ряд важнейших мифологических циклов. В первую очередь это один из вариантов космического «основного» мифа о поединке божественного героя с хтоническим чудовищем (драконом), повествующий об убийстве Беллерофонтом Химеры и последующем воцарении в Ликии (Π. VI, 179—183; Apd. II, 3, 1—2) [65, с. 64—65, 90], где находится и глубокое ущелье по названию Χίλοира (Strab. XIX, 665); Химера была вскормлена карийским царем Амисадором и жила в Ликии близ Патары [65, s. v. *chimere*]. Уместно напомнить, рядом в киликийской пещере Кширо? драконца Дельфина стерегла временно поверженного Зевса, согласно типологически сходному мифу об убийстве Зевском Тифона [66, с. 109 и и ел.]. Из Ликии пригласили Циклопов, соорудивших крепостные стены в Тиринфе и Микенах [65, с. 108]. Поскольку ко времени Гомера, не говоря уже о более поздних периодах, в сознании греков существовало только представление об исторической Ликии, то и все, что было в мифологии и культе Аполлона Λιχτ^εγ^с, стало относиться к этой стране. Поэтому вопреки контексту Илиады (IV, 85—126 и т. д., особенно 100—103), где говорится о необходимости принесения в Зелее жертвы Аполлону Ликегенею, схолии кодекса В к Π. IV, 101 толкуют, имея в виду Ликию классического периода: Αὐχ[τ]εῖσι] αφειβῆστατο ἄδp ioxv/ Ἀποχ/οβο? Ισρον ev Αὐχία («ибо самый истинный храм Аполлону находится в Ликии»); согласно интермагинальной схолии, помещенной в том же комментарии, в Ликии скрылась, гонимая ревностью Геры, Лето и «там родила Аполлона». Напротив, Евстафий, наряду с двумя другими возможными толкованиями данного гомеровского гапакса «сын света», «сын волка», уверенно сообщает (Eust. ad loc): Αὐχ[τ]ῶν? οε Ἄ76X^Cov хата ΤΟV ΛΙΓΟV, oiovis Αὐχ[τ]ῶν Γ,с, «к kv Аухта ἄςο^mc, \ ^T^fi ^& xivac, -j т[ ] [«хри, ф П(бSаро ~цруε «А АухYУев^; Аполлон, по мифу, вроде как ΑίχιT^sv^с, поскольку в Ликии рожден, или в большой, по некоторым [авторам], или в малой, которой правил Пандар»; и далее: icpi rf ха1 TJ Bouottot 5ηAοΓ, dip? mε ха1 6 wxxrp Αὐχων карачораоxου, sic TIV, (fact, цеха, х[и YBwvfcai antiKXajti T ATITU), ΠV xffi "Hpa? Cw-w-untat sxxXivouoa «о которой и Беотия (Π песнь Илиады.— Г. Л.) разъясняет, и по которой отец Пандара называется Ликаон, в которую, говорят, после родов удалилась Лето, спасаясь от ревности Геры». В Ликии в Пинаре почитался Пандар (по Страбону), возможно, случайно омонимичный троянскому герою (Strab. XIV, 665); в 10 стадиях вверх по р. Ксанф было святилище Латоны (Лето); в Патарах, близ г. Ксанфа,— святилище Аполлона (Strab. Ibid.). В Ликию, согласно мифоисторической традиции, Сарпедон, сын Зевса и Европы, вывел с Крита термилов (Tepi-iiXai — туземное, более древнее название ликийцев — Hdt I, 173; Strab. XII, 573); напомним, что гомеровский герой был сыном Зевса и Лаодами (Π. VI, 198—199; также Schol. В ad loc; Apd. III, 1,1) [65, с. 415].

Учитывая сказанное, совершенно не представляется возможным в рамках актуальной плоскости текста «Илиады» понять неоправданно огромный вклад в мифопоэтическую (resp. историческую) греческую традицию маленькой по территории Ликии, ко времени Гомера игравшей в

в Эгееде более чем скромную роль, в значительной мере эллинизированной и к тому же географически находившейся от Трои в 400 милях морем, отдаленнее всех союзников [17, с. 312; 19, с. 261]. Даже для объяснения одной только роли ликийцев в Троянской войне, почти равной троянцам Гектора, с исторической точки зрения явно недостаточно предположительных ссылок на то, что ахейцы (особенно греки Родоса) постоянно вели в течение микенской эпохи войны именно с Ликией и постоянно плавали вдоль ликийских берегов [19, с. 262] или что ликийцы, будучи «торговыми посредниками между юго-западными областями и рынками Трои», воевали с талассократией Родоса за дарданелльские проливы на путях к северу, и поэтому Троянская война отражает именно эти конфликты [17, с. 320; 67, с. 111] G таким же успехом правомерно говорить о Карий, имевшей сильнейший, флот и занимавшей морским разбоем (Hdt. II, 152) [68, с. 119].

Конечно, в эпосе частный конфликт может генерализоваться (ср. тривиальный пример песни о Роланде). Кроме того, как говорилось выше, Гомер в соответствии со своим индивидуально-авторским замыслом смело перекомпоновывал традиционный материал. И действительно, следы авторского усиления ликийской темы в связи с Сарпедоном почти определенно можно усмотреть в том, что в «Илиаде» Сарпедон выступает в качестве сына Зевса и Лаодамии, дочери Беллерофонта (см. выше), а не Европы, как у Гесиода (согласно Schol. A и B ad II. XII, 292; Schol. Eur. Res. ad 29), Геродота (I, 173) и т. д., и соответственно двоюродного брата гомеровского Главка — другого предводителя II группы ликийцев, но не родного брата легендарного критского царя Миноса. В современной науке эта гомеровская генеалогия интерпретируется в качестве явного стремления возвысить ионийскую династию Главкидов, современную Гомеру [69, с. 136].

Однако «ликийская» тема слишком всеобъемлюще пронизывает текст «Илиады», особенно ее компоненты, опирающиеся на фольклорную традицию, чтобы быть обусловленной единственно отражением локальных конфликтов исторической Ликии с Родосом и другими отдельными историческими центрами. Эгееды и юго-западных и южных областей Анатолии вдоль побережья Средиземного моря. Предположительно на протяжении периода Трои VI (1800—1300 гг. до н. э.), вплоть до Приамовой Трои Vila (1300—1240 гг. до н. э.) включительно, такими противоборствующими и одновременно взаимодействующими этнокультурными комплексами по всей линии прибрежной полосы Малой Азии от Трояды до Киликии могли стать, с одной стороны, только ахейские греки (греч. гом. 'A/cи-Foi), называемые хеттскими клинописными источниками Аххиявой (KUR<sup>URU</sup> *Ah-hi-ja-wa* — письмо о Тавагалавасе, Анналы Тудхалияса IV, последняя треть II тысячелетия), также Аххий (L<sup>J</sup><sup>DRU</sup> *A-ah-hi-ja* «человек страны Аххия», т. е. ахец — дважды в тексте Маддуватаса, XV в. до н. э.) [70, с. 112; 1, т. II, с. 901] и, с другой стороны, лувийцы, занимавшие западную часть Анатолии, по крайней мере с последней четверти III тыс. Как выяснено выше, вся их страна первоначально носила название не *Luwia/Luia*, а *Lukkd*, засвидетельствованное клинописными хеттскими памятниками для области, совпадающей приблизительно с исторической Ликией (<sup>URU</sup> *Lu-uk-ka-as* — в договоре Муватталиса с Алаксандусом из Вилусы [71, с. 95] и др. источники).

Что же касается лувийцев Трояды (гомеровские ликийцы Зедеи) и киликийцев, то они представляли собой ко времени Троянской войны небольшой племенной анклав, сохранившийся от эпохи продвижения через

северо-западный угол Анатолии основного массива лувийских племен (ориентировочно период Трои П[25]), и заселяли юго-западные и южные прибрежные и более глубинные территории Анатолии, в историческое время принадлежавшие позднехетто-лувийским народам (Лидия, Кария, Линия, Писидия, Памфилия, Исаврия, Киликия), к IV в. полностью эллинизированным. Более чем скромная роль троянских ликийцев в «Илиаде» объясняется пережиточным характером сведений о них к моменту окончательного оформления поэм. Не исключено, что и своим проявлением на плоскости текста они обязаны эпической памяти о доисторических «лувийцах Трои», взволнованной ликийской темой вообще, отражающей реальное противостояние микенских ахейцев — Аххиявы лувийцам на всем протяжении очерченных выше лувийских территорий и через их посредство хеттам [44, с. 130; 1, т. II, с. 956—957]. По поводу посреднической роли Арцавы и Лукки в отношениях хеттов с Аххиявой писал А. Гетце [33, с. 5, 183], что вполне согласуется с отсутствием хеттов (греч. Κῶστος) в «Илиаде» и глухому упоминанию о них в трех стихах «Одиссеи» (XI, 519-521) [38].

Более того, если эпос довольно строго разграничивает троянских ликийцев Пандара и ликийцев—союзников Сарпедона—Главка (и это соответствует характеру историзма гомеровских поэм), то с этногенетической точки зрения обе разновидности ликийцев (в реконструкции «лувийцы») едины. Различны их исторические судьбы и характер засвидетельствования, поскольку первые сохранены лишь эпической памятью, вторые — реальными историческими источниками. Здесь умсто принести умозаключение Страбона: οὐδὲ γὰρ τῶν Λυκίων τοὺς ἀπὸ τῆς Ἰωνίας οἰοῦνται ἕσθαι, ἀλλὰ τῶν ἐκ τῆς Ἰωνίας οἰοῦνται ἕσθαι (ведь двойкость ликийцев вызывает предположение, что [это] то же самое племя, [будь то] или троянские [ликийцы], или те, которые около Карий выселили в качестве колонистов других\*); τὰ δὲ τῶν Λυκίων οἰκιστῶν τὰ ἐκ τῆς Ἰωνίας οἰκιστῶν οὐκ ἴσμεν (может быть, то же самое подходит и к киликийцам, ибо и они [делятся] на две группы) — Strab. XII, 572. Эти важные высказывания предваряются утверждением, показывающим, что Страбон довольно здраво, во многом по-современному смотрел на природу информации, содержащейся в гомеровских поэмах: τὰ δὲ τῶν Λυκίων οἰκιστῶν οὐκ ἴσμεν (ведь эта информация, содержащаяся в гомеровских поэмах: та TE ἔστι τῶν Λυκίων οἰκιστῶν οὐκ ἴσμεν (то, что рассказывается о фригийцах и мизийцах, древнее Троянской войны) — Strab. (там же).

Этническое единство северных и южных племенных групп лувийцев четко выразилось в том факте, что после крушения Приамовой Трои (Vila — 1240 г. до н. э.) троянские лувийцы (ликийцы и киликийцы) откатились к своим исторически засвидетельствованным соплеменникам.

Как я уже имел случай писать [25], глухой и переосмысленный в контексте Персидских войн отзвук этих событий, видимо, сохранен Геродотом (Hdt. I, 176) в фольклорно-этиологическом эпизоде самопожертвования и гибели ликийцев-ксанфиев в борьбе с Гарпагом за свой город, сопровождающемся следующим пояснением: τῶν δὲ τῶν Λυκίων οἰκιστῶν οὐκ ἴσμεν (ведь нынешние ликийцы, считающие себя за ксанфиев, большинство суть пришельцы, кроме восьмидесяти семейств; ведь эти восемьдесят семейств в то время находились в чужих краях и таким образом спаслись\*).

По всей вероятности, в свидетельстве Геродота о двух ликийских этносоциальных слоях в Ксанфе, сохранности древних *resp.* наиболее

знатных семейств, имеющих связи «в чужих краях», и «пришлости» (stfVX)sc) всего прочего «нового» населения нашли отражение какие-то социальные катаклизмы, приведшие к перегруппировке доминирующих социальных слоев. В тексте Геродота обращает на себя внимание грамматическая двусмысленность, допускающая перестановку этнонима и этникона:  $\mu\lambda\ \text{A}\mu\lambda\iota\upsilon\omega\ \tau\pi\alpha\sigma\epsilon\upsilon\omega\ \text{S}\alpha\upsilon\text{O}\iota\omega$ , букв. «ликийцы, считающие себя ксанфийцами», либо «ксанфийцы, считающие себя ликийцами».

Как я теперь думаю, название главной реки и города Ликии Edvto; с этником Ed/6joі, тождественное фрако-троянскому гомеровскому гидрониму EdOo-; [другое название (на языке богов) главной реки гомеровской Трои — Скамандра], омонимичное персонифицированному речному божеству, сражавшемуся на стороне троянцев против Ахилла (11. XXI, 136—384), ср. фракийский этноним EdvOios, EdvJot, топоним EdvOsta (Эгейская Фракия) [9, с. 119 и ел.], могло быть занесено в историческую Ликую (Лукку) только с севера, из Трояды [9, с. 167; 23, с. 109]. Более древнее название Ксанфа было *agna* (лик. А, билингов TL 45,2 и др. [72, строка 20; 57, § 97-1; 73, с. 33]; греческая передача "Αρνα, согласно St. V (s. v.):  $\rho\epsilon\omicron/t; \text{A}\mu\lambda\text{-}\text{ж}$ -, оиак уар TJ Ed/vo- *i\*xksT:o* ото "Αρνοі", ср. фрак. MH "Αρνυј, дублет "Αργ.α [58, с. 25], лув. *Annua* «Quell(ort)» [74, с. 127]. Еще определеннее свидетельство относительно прихода части исторических ликийцев с севера можно извлечь из знаменитой четырехсторонней Стелы из Ксанфа [TL 44], которая была «надгробием какой-то династии и одновременно официальным памятником победы» [35, с. 358], написанном на двух диалектах — ликийском А и ликийском Б (или милийском). Причем в милийской части (TL 44 с—d), представляющей собой, по всей вероятности, поэтический торжественный текст (ср. TL 55) на ликийском диалекте с архаическими чертами, близкими лувийскому [72, с. 366 и ел.], обнаружено наречие *trujeli* (TL с 32—34, ср. *trujele* — TL с 58—60), которое вполне допускает толкование «трусый» — речь идет о самоназвании языка данной надписи, т. е. милийском, в отличие от *trfmili* «термильский» (TL 89), т. е. собственно ликийский, ср. хет. кл. наречие *luwili* «по-лувийски», *hattili* «по-хеттски»; через лик. MH *\*trus* (по асе. *trusii* — TL 44 b 15) греч. передача Трuαα. [36, с. 108] допускает отождествление Тршр?<^ \*Трсоасс<^\*ТроFo(s):<^ \*7Уо<^«троянцы». Наличие ликийцев-троянцев (в реконструкции лувийцев) в самом составе населения Трои весомо поддерживает это толкование милийского *trujeli*. Так, уже Ф. В. Кёниг писал о ликийском Б как о «гомеровском языке ликийцев» (цит. по [35, с. 366]). По всей вероятности, прав В. Л. Цымбурский, считая возможным предположить приход в ликийский (термильский) Ксанф непосредственно из Трояды племени, говорившего на языке *trujeli* и сопоставимого с зелейскими троянцами [24, с. 122; 9, с. 158]. Данное толкование мил. *trujeli* и его сопоставление с гом. Трoіα впервые предложено В. В. Шеворошкиным [75, с. 304 и с ел.; 76 с. 469 и ел.].

Чрезвычайно важное свидетельство о сохранении каких-то отдаленных воспоминаний о пребывании лувийцев в Трое, возможно, сохранились в клинописных лувийских текстах.

В недавно появившейся статье итальянского журналиста М. Конти [77] говорится о неопубликованных результатах нового прочтения клинописных хеттских табличек К. Уоткинсом<sup>5</sup>. Уоткинс, согласно статье,

<sup>5</sup> Пользуясь случаем поблагодарить Т. В. Гамкрелидзе, впервые сообщившего мне об исследованиях К. Уоткинса по проблеме «Лувийцы в Трое», а также Л. С. Баю и Н. Н. Казанского, указавших на анализируемую ниже строку лувийского ритуального текста.

пришел к выводу о том, что в троянском Илионе (греч. (F)"ΙΧιο? — хет. кл. *Wilusa*) говорили «на близко родственном хеттскому языку, с большим влиянием греческого» и что в «стихотворной строке ритуального гимна в в тексте из Иштануву можно прочесть: „Когда (возможно, солдаты, вернувшиеся с войны) возвратились из высокой Вилусы“. Если отвлечься от идеи функционирования в Илионе — Трое лувийского языка и совершенно невероятной мысли о бытовании «среди лувийских аэдов каких-то эпических песен задолго до Гомера (но меньшей мере за 5 веков)», то само привлечение внимания к свидетельству клинописного текста трудно переоценить и в плане этнического состава Трои — Илиона, и в плане направления лувийских миграций; предположение о солдатах излишне. Строка указанного текста в транскрипции Э. Лароша следующая: (КВо IV, II 46) *ah-ha-ta-ta a-la-ti a-ū-i-en-ta ū-i-lu-saP-ti* [30, с. 164]. Здесь Э. Ларош читает вслед за Б. Розенкранцем [78] слог *-ša-*, вопреки Г. Боссерту [79], который транскрибирует в топониме слоговой знак *-ga-* и клинописный отрезок

как *ū-i-lu-ga-ti*. Действительно, знаки *ga* к YY< " \*"\* и\* "< легко

смешивались, поскольку они отличались лишь расположением вертикальных клиньев [80, с. 7]. Приняв чтение Розенкранца — Лароша и уточнив приведенный выше перевод К. Уоткина следующим образом: «и когда (или как) из горной (точнее из горы) пришли из Вилусы» (*-U* — показатель *abl. sing.*), можно дать почти равновероятный вариант в отношении Илиона: «и когда (как) из морской (точнее: из моря) пришли из Вилусы»<sup>6</sup>.

В нашем распоряжении нет таких, как относительно ликийцев, достаточно узко толкуемых фактов, свидетельствующих о переселении фиванских и лирнесских киликийцев гомеровской Трояды на юго-восток Малой Азии в район, сопредельный с севера исторической Киликии, где киликийцы зафиксированы ассирийскими источниками VIII—VII вв. в виде *Hilaku*, *Hiluka* и др. [ср. об «изгнании» части киликийцев Трояды в Памфилию (Strab. XIII, 612)]. К тому, что уже говорилось выше, уместно добавить лишь немного. Народ *Hiluka*, с которым впервые столкнулся Салманасар V и завоевал в 723 г. до н. э., предварительно захватив в 724 г. провинцию *Que* (= вавил. *Humē*) [47, с. 71], располагался в верхнем течении Галиса, в области, называвшейся позже Катаонией (запад Каппадокии) [47, с. 73, 80; 36, с. 21, 27]. Только после крушения Ассирийской империи *Hilakku* овладела страной *Que*, т. е. территорией восточной половины исторической Киликии [47, с. 83]. До этого момента обе провинции выступали в качестве самостоятельных составных частей Ассирийской империи [36, с. 25]. В любом случае отсутствие упоминаний в хеттских источниках о *Hilakku* в этих местах и фиксация здесь этого народа лишь после эпохи великих миграций не может служить прямым указанием на судьбу гомеровских киликийцев. Исторически, если не принимать на веру свидетельство Страбона, известен только небольшой сдвиг киликийцев к югу из центральной Анатолии на рубеже VIII—VII вв. до н. э.

Результаты проделанного лингвофилологического анализа дают достаточно оснований говорить о присутствии в Трояде протофракийского и — шире — балканского населения наряду с лувязычным, начиная, по крайней мере, со второй половины Трои I (приблизительно первая чет-

По поводу значения *all-* «море?» см. [30, с. 25].

верть III тыс. до н. э. — по К. Блегену, 2900г. до н. э. — по Дж. Мелларту). Соответственно, в тексте «Илиады», восходящем в своей фольклорно-этноязыковой традиции к середине XIII в. до н. э., имеются отголоски (неявные свидетельства) исследуемой исторической ситуации в данном ареале. Это утверждение целиком вписывается в топо- и хронологические выводы археологов относительно взаимопроникающего единства материальной и духовной культуры (обряд захоронения и пр.) юго-восточной территории современной Болгарии (Эгейская Фракия) и северо-западного угла Малой Азии. В данном смысле особенно показательны масштабные раскопки М. Корфманном многослойного раннебронзового поселения Демирчи-Гююк, располагающегося примерно в 330 км восточнее Трои, в 20 км от берегов Мраморного и Черного морей, соотносимые в основной части слоя с Тройей I, частично с Тройей II и более поздними периодами [81, 82]. Таким образом, представляется, что в очерченном Балкано-Анатолийском ареале с конца IV тыс. и на протяжении III — нач. II тыс. до н. э. располагался один из важнейших очагов распространения (пра)индоевропейского языка и культуры, являющийся одновременно западной окраиной так называемой Циркумпонтийской зоны и восточной областью Средиземноморской цивилизации. Чрезвычайно высокий уровень экономического и культурного развития указанного региона и выгодное географическое положение вынудили греков-ахейцев вести бесконечные колонизационные войны начиная с XV—XIV вв. до н. э. за овладение опорными пунктами по обе стороны Мраморного моря. Но это уже сюжет другой специальной работы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В с. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
2. Винокур Г. О. Введение в изучение филологических наук. Вып. I: Задачи филологии // Проблемы структурной ЛИНГВИСТИКИ. 1978. М., 1981.
3. Гиндин Л. А., Мерперт Д. Я. Античная балканистика и этногенез народов Балкан (К методологии междисциплинарных исследований) // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология. М., 1984.
4. Гиндин Л. А. Проблема славянизации карпато-балканского пространства в свете семантического анализа глаголов обитания у Прокопия Кесарийского // ВДИ. 1988. № 2.
5. Гиндин Л. А. Некоторые ареальные характеристики хеттского. I // Этимология. 1970. М., 1972.
6. Баюн Л. С., Иванов Вяч. В с. II ВДИ. 1987. № 2. Rec: Investigations philologiae et comparativae. Gedenkschrift für Heinz Kronasser. Wiesbaden, 1982.
7. Blegen C. W. Troy and the Trojans. N. Y., 1963.
8. Blegen C. W. Troy // Wace A. J., Stubbings F. A. A companion to Homer. L., 1962.
9. Гиндин Л. А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан (Фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы). София, 1981.
10. Mellaart J. The End of the Early Bronze Age in Anatolia and the Aegean // AJA. 1958. V. 62. № 1.
11. Mellaart J. Anatolia and the Balkans // Antiquity. 1960. V. XXXIV. № 136.
12. Mellaart J. Prehistory of Anatolia and its relations with the Balkans // L'ethnogenese des peuples balkaniques. Sofia, 1971.
13. Гиндин Л. А. Ритуально-мифологический смысл десятой песни «Одиссеи» // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.
14. Гиндин Л. А. Лингвофилологический анализ X песни «Одиссеи» и некоторые принципы гомеровской поэтики // Античная культура и современная наука. М., 1985.
15. Гордезиани П. В. Проблемы гомеровского эпоса. Тбилиси, 1978.
16. Bethe E. Die Sage von troischen Kriege // Homer, Dichtung und Sage. III. Leipzig — Berlin, 1927.

17. Leaf W. A Study in Homeric geography. L., 1912.
18. Wiawowitz-Mollendorff U. Apollon//Hermes. 1903. 38. № 1.
19. Nilsson M, P. Homer and Mycenae. L., 1933.
20. Malten L. Homer und die Lykischen Fürsten // Hermes. 1944, № 79.
21. Carpenter R. Folk tale, fiction and saga in the Homeric epics. Berkeley; Los Angeles, 1956.
22. Kretschmer P. Einleitung in die Geschichte der Griechischen Sprache. Göttingen, 1896.
23. Цымбурский В. Л. Троянская Ликия и проблема этногенеза лкийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. и докл. конф. Ч. I. М., 1984.
24. Цымбурский В. Л. Гомеровский эпос и этногенез северо-западной Анатолии: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.
25. Гиндин Л. А. Комментарий к свидетельству Геродота о ликийцах-ксанфиях (Hdt. I, 176) и проблема ликийцев-троянцев «Илиады» // Балканы в контексте Средиземноморья. Проблемы реконструкции языка и культуры: Тез. и предварительные материалы к симпозиуму. М., 1986.
26. Гиндин Л. А. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967.
27. Laroche É. Etudes lexicales et etymologiques sur le hittite // BSLP. 1963. V. 58. № 1.
28. Ivanov Vyach. On thereflex of the Indo-European voiced palatal aspirate in Luwian// Symbolae linguisticae in honorem G. Kurylowicz. Wrocław — Warszawa — Krakow, 1965.
29. Иванов В. В. Хеттский язык. М., 1963.
30. Laroche É. Dictionnaire de la langue louvite. P., 1959.
31. Meriggi P. Zum Luwischen//WZKM. 1957. 53. N 3—4.
32. СопВ. Indogermanica minora. I. Sur les langues anatoliennes. Ljubljana, 1971.
33. Goetze A. Kleinasien. 2. Aufl. München, 1957, с 181, примеч. 6
34. Bryce T. II. The Lukka problem and a possible solution U JNES. 1974. V. 3, № 4.
35. Neumann G. Lykisch// Handbuch der Orientalistik. Bd. II. Lf. 2: Altkeleasatische Sprachen. Leiden; Koln, 1969.
36. Houcink ten Cate Ph. H. The Luwian population groups of Lycia and Cilicia Aspera during the Hellenistic period. Leiden, 1961.
37. Gering A. Index Homericus. Lipsiae, 1891.
38. Гиндин Л. А. Гом. К-ПІІІ в конкретно-исторической интерпретации // Славянское и балканское языкознание. Проблемы языковых контактов. М., 1983.
39. Scholia graeca in Homeri Iliadem ex codicibus aucta et emendata/ Ed. Dindorfius G. Oxoninii. T. I—II (Venetus A)— 1875; T. III—IV (Venetus B) — 1877.
40. Pape W.— Benseler G. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. I—II. Graz, 1959.
41. Троицкий И. М. Вопросы языкового развития в АТЛПном обществе. Л., 1973.
42. Morpurgo A. Mycaenae graecitatis lexicon. Romae, 1963.
43. Landau O. Mykenisch-Griechische Personennamen. Göteborg, 1958.
44. Иванов Вяч. Ве. Внешняя история анатолийских языков // Древние языки Малой Азии. М., 1980.
45. Гиндин Л. А. Thrace et Troie d'apres les donnees linguistiques// LB. 1978. XXI. 1.
46. Белков В. и др. Извори за историята на Тракия и Траките. Т. I. София, 1981.
47. Forrer E. Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches. Leipzig, 1921.
48. Goetze A. Cilicians//JCS. 1962. XVI. № 2.
49. Laroche É. Les noms des Hittites. P., 1966.
50. Georgiev VI. I. Die ethnischen Verhältnisse im alten Nordwestkleinasien//LB. 1973. XVI. 2.
51. Цымбурский В. Л. Гомеровский эпос и этногенез северо-западной Анатолии: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.
52. Ventris M., Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek [ed. I]. Cambridge, 1959.
53. Friedrich J. Hethitisches Wörterbuch. Ergänzungsheft. I. Heidelberg, 1957.
54. Laroche É. Recherches sur les noms des dieux hittites. P., 1947.
55. Laroche É. Comparaison du louvite et du lycien//BSLP. 1960. T. 55. Fasc. 1.
56. Zgusta L. Anatolische Personennamensippen. Tl I: Text. Prag, 1964.
57. Zgusta L. Kleinasiatische Personennamen. Prag, 1964.
58. Detschew D. Die thrakische Sprachreste. Wien, 1957.
59. Цымбурский В. Л. Фрако-хетто-лувийские формульные соответствия // Международный симпозиум «Античная балканистика 6». Этногенез народов Юго-Восточной Европы. Этнолингвистические и культурно-исторические взаимодействия Балкан и Циркумпонтийской зоны: Тез. докл. М., 1988.
60. Георгиев Вл. Траките и техният език. София, 1977.



61. *Krahe H.* Lexikon altilyrischer Personennamen. Heidelberg, 1929.
62. *Parlangeli O.* Studi messapici. Milano, 1960.
63. *Laroche E.* Notes de toponymie anatolienne//MNHMHS XAPIN. Gedenkschrift P. Kretschmer. II. Wien, 1957.
64. *Zgusta L.* Kleinasiatische Ortsnamen. Heidelberg, 1984.
65. *Grimal P.* Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine. P., 1951.
66. *Гундин Л. А.* Миф о поединке и мифология Аполлона (на материале I—III гомеровских гимнов) // Славянское и балканское языкознание. Античная балканистика и сравнительная грамматика. М., 1977.
67. *Дьяконов И' М.* Предыстория армянского народа. Ереван, 1968.
68. Der kleine Pauly Lexikon der Antike in fiini Banden, Bd. 3. Miinchen, 1975.
69. *Wilamowitz — Moellendorff U.* Ilias und Homer. 2. Aufl., B., 1920.
70. *Page D.L.* History and the Homeric Iliad. Berkeley; Los Angeles, 1963.
71. *Friedrich J.* Staatsvertrage des Hatti-Reiches in hethitischer Sprache // MVAeG. 1930. Bd 34. № 1.
72. *Neumann G.* Neufunde lykischer Inschriften seit 1901. Wien, 1979.
73. *Tischler J.* Kleinasiatische Hydronymie, Semantische und morphologische Analyse der griechischen Gewässernamen. Wiesbaden, 1977.
74. *Rosenkranz H.* Flu0- und Gewässernamen in Anatolien // BNF. 1966. Bd. 1. Hf. 2.
75. *Шеворошкин В. В.* Исследования по дешифровке карийских надписей. М., 1965.
76. *Sevoroskin U.* Zur hethitisch-luwischen Lexik// Orbis. 1968. T. XVII. № 2.
77. *Conti M.* Date retta a Omera (Le nuove scoperte su Troia // Panorama. 1985. 25.IV.
78. *Rosenkranz B.* Beitrage zur Erforschung des Luvischen. Wiesbaden, 1952.
79. *Bossert H.* Th. Asia. Istanbul, 1946.
80. *Friedrich J.* Hethitisches Keilschrift-Lesebuch. TI. II. Heidelberg, 1960.
81. *Гундин Л. А.* Значение данных фракологии в комплексе проблем индоевропеистики//Международный симпозиум «Античная балканистика 6». М., 1988.
82. *Мерперт Н. Я.* //Советская археология. 1988. № 2. Ред.: Korfmann M. Demirci-Hiiyuk. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 1975—1976. Bd I: Architektur, Strati-graphie und Gefunde. Mamz-am-Rhein, 1983.

© 1990 г.

ЯКОВЛЕВ А. В.

**ПОГРАНИЧНЫЕ СИГНАЛЫ ЯЗЫКА АФРИКААНС, СВЯЗАННЫЕ  
С ВАРИАТИВНОСТЬЮ ПРОИЗНОШЕНИЯ**

1. Под разграничительными (пограничными) сигналами в настоящей работе понимаются фонетические сегменты (не обязательно минимальные), свидетельствующие о границе двусторонних языковых единиц — например, морфем или слов,— или об отсутствии такой границы [1, с. 299—301]. Вариативность мыслится нами не как свойство языковой периферии, не как нарушение целостности и системности языка, но как фундаментальное свойство языка и один из факторов его развития [2].

В. Н. Ярцева [3] обращает внимание на особенно тесную связь языковой вариативности с пограничными, межуровневыми зонами языковой системы. Хотелось бы отметить, что пограничные сигналы пограничны как по своей синтагматике и по своим функциям, так и по своей парадигматике, по своему месту в языковой системе: на стыке фонологического и морфологического уровней. Этим в значительной мере объясняется важная роль вариативности в системе языковых разграничительных средств — роль, которую мы, в частности, стремимся показать в настоящей работе. Кроме того, в предлагаемой статье делается попытка подойти к изучению делимитативной функции звука в языке африкаанс.

2. Введем два вспомогательных понятия. Морфемы, способные начинать знаменательное слово или составлять служебное или полуслужебное слово, мы будем условно называть самостоятельными, прочие морфемы — несамостоятельными. (Условность состоит в том, что префиксы *be-* и *ge-* оказываются «самостоятельными морфемами»). Будем называть силлемой часть словоформы, состоящую: 1) из одной самостоятельной морфемы, за которой не следует ничего или следует другая самостоятельная морфема; 2) из самостоятельной морфемы и всех следующих за ней несамостоятельных морфем. Например, в словоформах *asook* «так же, как», *antwoord* «ответ» по две морфемы и по две силлемы, в словоформе *inleidings* «введения» (мн. ч.) — четыре морфемы (*in-*, *leid-*, *ing*, *-s*) и две силлемы (*in-*, *-hidings*), в словоформах *hinders* «дети», *vryheid* «свобода» — по две морфемы (*kind-*, *-ers*; *vry-*, *-heid*) и по одной силлеме.

3. К числу наиболее очевидных положительных пограничных сигналов языка африкаанс принадлежит гортанный приступ, существование которого составляет одно из отличий этого языка от нидерландских диалектов Бельгии [4, с. 234]. В «чеканном» стиле произношения гортанный приступ прикрывает начальный гласный любой силлемы, в естественных же стилях — полным и неполным — этот сегмент характерен лишь для ударного слога и для слога, начинающего синтагму. Такое распределение согласуется с выводом Л. В. Златоустовой (полученным на русском материале) о том, что позиция начала сложной фонетической единицы есть сильная позиция (см., например [5]). Отметим, что язык африкаанс, в

в отличие от немецкого, еще не до конца реализовал тенденцию к устранению неприкрытого слога из звуковой системы.

Гортанный звонкий спирант /h<sup>1</sup>/, возможный, как и /ʔ/, лишь в начале морфемы, является положительным пограничным сигналом по отношению к морфемам, но не силлемам: *vryheid/irdihsit/* «свобода» — одна силлема. Заметим, однако, что /h/ почти никогда не реализуется в суффиксе /ʔvCh/ после согласного: *waarheid* ['va:rait] «правда».

Внутри морфемы (притом не исконной для африкаанс) /h/ встречается только в собственных именах *Johannes* /jo'hanas/, *Johannesburg* /jo'hanas-bserx/. Характерно, что звука /h/ нет в разговорном ласкательном названии Йоханнесбурга — *Jo'burg* /jo:, boerx/ и в гражданском имени *Jan* /jan/, соответствующем церковному *Johannes*.

Реализация гортанного спиранта в речи обусловлена теми же факторами, от которых зависит и реализация гортанного приступа. Все же, по нашим наблюдениям, для исчезновения гортанного спиранта необходима большая степень просодической «погруженности» слова в высказывании, чем для исчезновения /ʔ/. Относительно большая устойчивость /h/ по сравнению с /ʔ/, на наш взгляд, обусловлена диахронически: /h/ в западногерманских языках — изначально сегментная фонема, гортанный же приступ своим происхождением обязан диэреме, т. е. вошел в число сегментных фонем извне, как бы «выпадая в осадок» из супraseгментного уровня.

Неустойчивость ларингалов в речи и относительная неопределенность их статуса в языковой системе, характерные для разных, в том числе не родственных друг другу, языков, по-видимому, связаны с их акустико-артикуляционной природой. На эту связь обращает внимание И. И. Царенко [6], отмечая, что «ларингалы образуются за счет работы только первичного, исходного органа речи — гортани, надгортанные же полости, которые и обеспечивают все бесконечное многообразие звуков человеческой речи, в их образовании не участвуют или, в лучшем случае, участвуют пассивно».

Делимитативной функции ларингалов в языке африкаанс противопоставляется делимитативная функция заднеязычного носового согласного /ŋ/, который встречается почти исключительно на конце морфемы, но не обязательно силлемы. (Мы не рассматриваем случаев типа «/t/ + + заднеязычный взрывной», которые пограничными сигналами не являются.) Следует при этом отметить вероятностный характер /p/ как разграничительного сигнала: к этому нас вынуждает существование нескольких морфем с /d/ в неконечной позиции, например, *engels* ['etjals] «английский».

Правомерность выделения вероятностных разграничительных сигналов признается не всеми фонологами (см., например [7]), однако для сегментации слитной речи на двусторонние языковые единицы эти сигналы существенны.

4. Наиболее очевидные отрицательные пограничные сигналы языка африкаанс связаны со звонкими шумными согласными, подвергшимися оглушению на конце слова и вообще на конце силлемы. Спорадическое озвончение глухих шумных согласных перед гортанным приступом (*asook* «так же, как» ['as'o : k] / ['az'o : k], *of ek* «или я» ['of'ek] / ['ov'ek], *het e/e* «яимею» ['het'ek]/l'hed'ek]) свидетельствует о делимитатив-

<sup>1</sup> В настоящей статье по техническим причинам в ряде случаев не используются обычные для африкаанс транскрипционные знаки (например, звонкий гортанный спирант передается знаком *h*). Фонологическая транскрипция дается в статье в косых скобках, а фонетическая — в квадратных.

ном приоритете гортанного приступа над звонкостью шумного согласного. Как нам неоднократно приходилось наблюдать, при неполном типе произнесения звук /ʔ/ может в этих случаях реализовываться в виде очень короткого и очень резкого изменения частоты основного тона.

Итак, для границы силлем отрицательным пограничным сигналом является сочетание звонкого шумного согласного с любым звуком, кроме /ʔ/ (фактически это может быть только гласный или сонорный согласный).

5. Для речи африканеров характерны два звонких губных v-образных звукотипа: губно-зубное [v] и сонорное губно-губное [w]. Фонетическая система языка африкаанс исключает возможность существования пары слов, для которых названные звукотипы были бы единственными внешними различителями. Согласный /w/, как отмечает С. А. Миронов [8, с. 21], в сочетаниях *kw*, *sw*, *tw* может произноситься и как билабиальное [w], хотя губно-зубной вариант является более предпочтительным: *kwart* [kwart] «четверть», *swem* [swem] «плавать», *twalf* [twa:lʃ] «двенадцать». На указанное варьирование обращают внимание и другие исследователи, в частности, С. А. Лоу [9] и Й. Ф. Сванепул [10, с. 60].

Следует отметить, что названные сочетания с [w] возможны лишь в том случае, когда оба звука принадлежат одной и той же морфеме (фактически эти сочетания встречаются только в начале морфемы).

Таким образом, отношение, связывающее [v] и [w] в языке африкаанс, типологически не совсем обычно: оно не является ни отношением фонематического противопоставления, ни отношением дополнительного распределения, ни отношением свободного варьирования: на стыке слов (и морфем) [kv], [sv], [tv] не варьируют с [kw], [sw], [tw]. Звукотип [w] в речи языка африкаанс является пограничным сигналом, но также не совсем обычным — в равной степени и отрицательным, и положительным: он показывает, что граница морфем проходит на один звук «левее» (ср. [1, с. 305] о фиксированном ударении, отделенном от периферии слова просодемой).

Отмеченное явление дает основание разделить групповые пограничные сигналы на левосторонние (имеющие границу с левой стороны), правосторонние и центрирующие — к последним относится большинство групповых пограничных сигналов, описанных в литературе. В качестве правостороннего группового пограничного сигнала можно назвать, например, сочетания «мягкий согласный + [ʔ]» в современном русском языке. Если учесть, что любой единичный пограничный сигнал можно представить как групповой (в виде «X + любой звук» или «любой звук + X»), то указанную классификацию можно распространить на все пограничные сигналы.

6. В связи с тем, что сегмент [w], как было отмечено выше, всегда принадлежит той же морфеме, что и предшествующий звук, интересно отметить, что с аналогичным условием в языке африкаанс был связан диахронический процесс появления назализованных гласных: сочетание «гласный + носовой согласный»<sup>2</sup> переходило в назализованный гласный лишь в тех случаях, когда за ним следовал фрикатив, принадлежащий той же морфеме; исключения составили неопределенный артикль *te* [ʔə]/[a], префиксы состава «гласный + носовой согласный» перед фрикативным согласным следующей морфемы — *ongeveer* [ʔo:xe:fe:ɾ] «приблизительно», *ongeluk* [ʔo^эдозк] «несчастье», *inhalig* [ʔb'a:ləx] «алчный, жад-

<sup>2</sup> Особняком стоят сочетания *\*/m/ + /n/* — о них см. в работе [10, с. 13].

ный» и прилагательные в превосходной степени: *boonste* ['bo:ste] «верхний», ср. *boontoe* ['bo:n,tu] «наверх», вследствие чего назализованный гласный является отрицательным пограничным сигналом, строго говоря, только для конца самостоятельного слова.

Указанная функция назализованного гласного еще более ослабляется, во-первых, упрощением сочетаний из двух одинаковых согласных: *ons speel* ['o:'spe:l] «мы играем», *ons sien* ['o:'sin] «мы видим», во-вторых, изредка встречающимися случаями реализации в назализованном гласном сочетания «гласный + /n/» на конце слова перед фрикативным согласным, начинающим следующее слово той же синтагмы: *om te gaan sit* ['ɔŋtə 'xa:n'sɪt]/[l/omtə'xa: 'sat] «сесть». Таким образом, в языке африкаанс назализованные гласные связаны с границами морфем менее жестко, чем принято считать.

Если рассмотреть функциональную нагрузку носовых гласных с типологической точки зрения, то можно наблюдать довольно четкую шкалу: на одной из ее крайних точек мы найдем носовые гласные, представленные, например, во французском языке, которые, безусловно, являются самостоятельными фонемами, противопоставленными соответствующим неносовым. Это можно показать соположением отдельных слов: французские носовые гласные несут как делимитативную, так и словоразличительную нагрузку<sup>3</sup>; на другой крайней точке мы найдем носовые гласные звуки китайского [12] и исландского (ср. также замечание М. И. Стеблин-Каменского о двучленных фонологических единицах в современном норвежском [13]), которые представляют в них соединение фонем в определенном фонетическом контексте — настолько однозначно, что для формулирования условий перехода /VN/ → [V] даже нет необходимости прибегать к понятию диэремы; таким образом, носовые гласные не несут в этих языках ни и словоразличительной, ни и делимитативной нагрузки.

Очень интересный промежуточный пример находим мы в португальском языке, где образование носовых гласных — в тех случаях, когда фонетический контекст допускает варьирование, — однозначно зависит от диэрем; таким образом, португальские носовые гласные не несут словоразличительной нагрузки, но несут нагрузку делимитативную и, следовательно, не имеют фонологического статуса в модели реализации («порождения»), но имеют его в модели распознавания. Мы предложили для таких единиц название трансфонем.

Априорно можно было бы допустить существование языка, в котором назализованные гласные имели бы словоразличительную функцию, но не имели бы функции делимитативной. Однако автору такие языки не известны. На первый взгляд, этой априорной схеме соответствует португальский язык эпохи Камоэнса (XVI в.), но если бы можно было рассмотреть здесь историю португальских носовых гласных без риска уйти слишком далеко от темы этой статьи, то стало бы ясно, что и португальский язык эпохи Камоэнса не удовлетворяет названному условию, т. е. наличию словоразличительной функции носовых гласных при отсутствии делимитативной. Следовательно, речь идет не о типологическом четырехугольнике, или тетраэдре, а все-таки о шкале (по крайней мере, на начальном этапе исследования), и именно на ней следует определить место носовых гласных языка африкаанс.

О делимитативной функции французских носовых гласных см. в работе [11].

Как мы уже видели, образование носовых гласных в африкаанс связано с наличием / отсутствием диэремы, причем как межсловной, так и внутрисловной (и даже внутрисиллемной), поэтому возможны, например, минимальные пары слов. Следовательно, язык африкаанс должен на упомянутой шкале находиться где-то между португальским и французским (ср. совр. франц. *hanneton* [anto] «майский жук» и *hantons* [ato] от *hanter* «часто пощипать, неотступно следовать за кем-либо» — в обоих случаях перед /t/ нет никаких диэрем). В то же время вариативность, представленная выше примером *om te gaan sit*, и как бы м е р ц а ю щ и й характер межсловной диэремы в языке африкаанс, здесь обнаруживаемый, указывают этому языку на рассмотренной типологической шкале место между португальским и исландским, ближе к португальскому.

7. В именной системе языка африкаанс среди слов с основой, оканчивающейся на сочетание двух согласных, выделяются две подгруппы, противоположные друг другу по своей морфонологической особенности. С одной стороны, это слова с основой на сочетание двух шумных согласных, запрещенное за редкими исключениями на конце слова (за вычетом разрешенных сочетаний «взрывной + s»): *nag* /пах/ «ночь» — *nagte* /'naxta/ «ночи» (мн. ч.). Именно это явление имеют в виду авторы «Введения в германскую филологию», отмечая, что «*t* последовательно отпадает на конце слова, но сохраняется перед гласным» [4, с. 237]. Уместно вспомнить аналогичное явление во французском языке, где многие конечные согласные (в том числе и одиночные, в отличие от африкаанс) отпали в тех морфологических формах, в которых они оказывались в конечной позиции.

Чередования такого типа, как в *nag* (*nagte*), сами по себе не содержащие разграничительных сигналов (если не учитывать, что слово не может начинаться на *gt-*), связаны с делимитативной системой языка следующим образом.

Словам типа *nag* (*nagte*), имеющим два согласных в интервокальном положении (во мн. числе) и один — в конечном (в ед. числе), противопостоят слова с основой на сочетание «сонорный согласный + /d/». С. А. Миронов [8, с. 23—24] обращает внимание на прогрессивную ассимиляцию, широко распространенную в речевом потоке (и на стыке слов) и не находящую отражения в графике. Спорадический переход [gd] → [g], [nd] → [n:] —\* [p] весьма характерен именно внутри слова перед гласным (на конце слова архифонема <t, d> представлена сегментом [t]). У таких слов, как *perd* [pe:rt] «лошадь», *kind* [kant] «ребенок», формы мн. числа *perde* [ˈpe:ɾda], *kinders* [ˈkandars] свободно варьируют с формами [ˈpe:ɾə], [ˈkan:ars], [ˈkanars]. Аналогичное варьирование мы наблюдаем также в сочетании /Id/: *skilder* «художник», *skildery* «картина»: [-adff-]/[-a:a-]/[-ɛɛ-] с преобладанием реализаций с [-l-]. Интересно, что при этом сонант диахронически ведет себя как гласный, но с некоторым «отставанием»: выпадение *d* между сонорными звуками проходит в два этапа, из которых первый — выпадение между гласными — уже стал достоянием истории языка (как и выпадение *g*), а второй — выпадение между сонорным согласным и гласным — происходит на наших глазах.

В связях тем, что даже в быстрой речи указанное выпадение на стыке слов происходит значительно реже, чем внутри слов, сочетания «сонорный согласный + [d]» являются вероятностными сигналами. границы слов: на границах слов имеет место первый тип вариативности — с преобладанием диахронически первичных реализаций, внутри же слов — второй тип, где преобладают реализации, диахронически вторичные.

Внутри синтагмы мы неоднократно отмечали тенденцию к слитному

произнесению сочетаний /rs/, /rx/. Учитывая стремление германских языков к упрощению структуры слога\*, связанное, возможно, с их общей тенденцией к аналитизму<sup>5</sup>, следовало бы ожидать, что слитное произнесение названных сочетаний чаще происходит в пределах одной силлемы (одного слова), а раздельное — на межсловных («межсиллемных») стыках; однако имеющийся в нашем распоряжении материал не позволяет утверждать это с полной уверенностью, равно как и говорить о тенденции к появлению в фонологической системе языка африкаанс слитных сегментов \rs\ и \rx\<sup>6</sup>.

Резюмируем сказанное. Мы видим, что наряду с очевидными разграничительными сигналами, указанными в п. 3 и 4, в языке африкаанс существуют два типа разграничительных сигналов, особенно тесно связанных с вариативностью произношения. При этом в речи неполного стиля (и вообще при неполном типе произнесения [14]), где разграничительная функция гортанных согласных ослаблена, усиливается разграничительная функция целого ряда сочетаний «сонант 4- шумный», проявляющаяся в выборе одного из двух типов вариативности, явно связанных с диахроническими факторами.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960.
2. *Гак В. Г.* Языковая вариативность в свете общей теории вариантности // Вариантность как свойство языковой системы: Тез. докл. Ч. 1. М., 1982. С. 72, 74.
3. *Ярцева В. Н.* Синтаксические условия реализации морфологической вариативности языка // Вариантность как свойство языковой системы: Тез. докл. Ч. 2. М., 1982. С. 149—150.
4. *Арсеньева М. Г., Балашова С. П., Берков В. П., Соловьева Л. И.* Введение в германскую филологию. М., 1980.
5. *Златоустова Л. В.* Фонетические единицы русской речи. М., 1981. С. 61.
6. *Царенко Е. И.* К функциональной характеристике ларингалности в языке кечуа // ВЯ. 1973. № 3. С. 81.
7. *Панов М. В.* О разграничительных сигналах в языке // ВЯ. 1961. № 1. С. 13.
8. *Миронов С. А.* Язык африкаанс. М., 1969.
9. *Louw S. A.* Afrikaanse taalAtlas. Pretoria, 1959. P. 2.
10. *Swanepoel J. F.* The sounds of Afrikaans. L., 1927.
11. *Соколова В. С.* О некоторых сигналах границы слов в современном французском языке // ВЯ. 1962. № 4. С. 68.
12. *Касевич В. Б., Спеинее Н. А.* Фонетика и фонология эризации в современном китайском языке // Востоковедение. Т. 1. Л., 1974. С. 55—72.
13. *Стеблин-Каменский М. И.* Заметка по сандхальной фонологии // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971. С. 152.
14. *Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Гордина М. В., Зиндер Л. Р., Касевич В. Б.* Стили произношения и типы произнесения // ВЯ. 1974. № 2.

<sup>4</sup> В этой связи можно назвать также нидерландско-бурское сварабхакти, устранившее исходы на сочетание сонорных согласных.

<sup>5</sup> Между прочим, по пути к аналитическому строю африкаанс продвинулся дальше, чем любой другой германский язык (и, по-видимому, дальше, чем любой другой индоевропейский язык).

<sup>6</sup> \ \ — трансфонемные скобки, т. е. скобки, показывающие запись сегментов, позволяющих различать словосочетания.

© 1990 г.

АЛЕКСАХИН А. Н.

**СТРУКТУРА СЛОГА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ СОГЛАСНЫХ И ГЛАСНЫХ**

(ТЕОРИЯ СОГЛАСНО-ГЛАСНОЙ КОАРТИКУЛЯЦИИ)

Исследование строения слогов китайского языка, преимущественно на материале пекинского диалекта (ПД), являющегося произносительной основой китайского языка путунхуа, в лингвистике уже имеет определенную историю. Однако фонологическое описание звукового состава слогов во многих случаях противоречиво, а целый ряд фонологических проблем продолжает оставаться предметом научной дискуссии. Привлечение к рассмотрению характерных особенностей структуры слогов китайского языка данных мэйсяньского диалекта (МД), одного из типичных представителей южнокитайских диалектов, расширяет базу лингвистического анализа и повышает достоверность его результатов.

Слоги китайского языка привлекают к себе внимание прежде всего фиксированной последовательностью звуков, которых в слоге максимального состава пекинского диалекта может быть не более четырех, например, *guai*<sup>33</sup> «послушный», а в слоге максимального состава мэйсяньского диалекта — не более трех, например, *yai*<sup>55</sup> «я»<sup>1</sup>. Структура слогов китайского языка на материале ПД рассматривается в целом ряде работ [1, с. 150; 2; 3, с. 273—274; 4; 5, с. 118—121; 6, с. 35—36]. Однако в них не рассматривалась проблема зависимости фиксированной структуры слогов от своей материальной субстанции, т. е. согласных и гласных звуков китайского языка. Между тем такая постановка проблемы актуальна для современного общего языкознания: «В уникальности и неповторимости структуры, как и формы вообще, проявляются, во-первых, зависимость структуры и формы от своей материальной субстанции, и, во-вторых, обязательность наличия у каждой субстанции своей структуры и формы» [3, с. 44].

Фиксированную структуру слогов китайского языка на примере ПД описал Е. Д. Поливанов. Он назвал представление определенного состава слогов из согласных и гласных звуков без включения тональных различий термином «силлабема» и предложил описывать варианты силлабем цифровыми формулами. Так, силлабема максимального звукового состава описывается формулой 1234, в которой «1 — согласный, 2 — неслогообразующий узкий гласный, 3 — слогообразующий гласный или сонант, 4 — неслогообразующий сонант, т. е. конечный элемент дифтонга» [1, с. 150], как, например, в *gua/i*<sup>55</sup> «послушный». В силлабеме, по Е. Д. Поливанову, может отсутствовать любой из четырех элементов полной силлабемы за исключением третьего элемента, т. е. за исключением слогообразующего гласного. Е. Д. Поливанов проводил различие между слогом и силлабемой, что видно из следующей формулировки: «В понятие

<sup>1</sup> Цифры обозначают «тон» по общепринятой в фонетике тоновых языков пяти-ступенной шкале.



силлабемы... не входят ни признак „тона“, ни признак ударения (силового), которые, дополняя собою силлабему, составят вместе с нею уже полную характеристику китайского слога» [1, с. 5р.

Следуя за Е. Д. Поливановым в определении китайского слога в единстве его тембровых и тональных характеристик, попытаемся объяснить фиксированную структуру китайского слога, исходя из субстанциональных особенностей его компонентов, т. е. согласных и гласных. Вполне логично допустить, что реально произносимые слоги<sup>3</sup> китайского языка и их структура обнаруживают как субстанциональные, так и системообразующие свойства китайских согласных и гласных, так как «структура есть способ существования субстанции» [3, с. 44].

В китайском языке реально произносимые слоги, как правило, реализуют ту или иную звуковую оболочку морфемы, для обозначения которой в языкознании введен термин «сонема» [3, с. 197]. Учитывая, что совпадение реально произносимых слогов с сонемами является типологической характеристикой китайского языка [6, с. 36], представляется целесообразным особенности речевой реализации китайских согласных и гласных на материале ПД и МД представить в обобщенном виде формулами, или моделями сонем.

Сонемы ПД обнаруживают следующие модели: V, VV, |V, CV, CVV, CVV, CVV, CVVV; сонемы МД: V, V, V\, VV, VV, CV, CVY, CVy, CVV, где С — согласная, V — ядерная слогиобразующая гласная, |V — ядерная слогиобразующая носовая гласная, V — доядерная или постядерная неслогообразующая чистая гласная, V — постядерная носовая гласная, V — ядерная слогиобразующая инспираторная гласная [7, с. 25]. Как видно из приведенных моделей, сонемы ПД могут включать на более четырех фонем, а сонемы МД — не более трех фонем. Трехфонемные сонемы МД имеют две полные модели: первая образована сочетанием согласной с нисходящим дифтонгом, а вторая — с восходящим, например, *goʃ* «разговаривать» и *goʃ* «угол». Таким образом, и в ПД, и в МД три сонеморазличительные позиции реализуются гласными. Различие же в том, что если в ПД три сонеморазличительные позиции гласных могут реализоваться одной полной моделью сонемы: доядерной, ядерной и постядерной гласными, то в МД — двумя моделями: в одной модели реализуется вместе с ядерной постядерная позиция, а в другой — вместе с ядерной реализуется доядерная позиция.

Слоговой состав ПД и МД<sup>4</sup>, реализующийся по приведенным выше моделям сонем, показывает связанность фонетической реализации согласных с гласными, тогда как в сонемах согласные, как и гласные, одинаково различают сонемы. В этом проявляется фундаментальное различие системообразующих свойств согласных в речи и в языке: в слогах согласные не реализуются без последующих гласных, т. е. не автономны, в сонемах согласные автономны, т. е. отождествляются с гласными по сонемообразовательной функции. Общее и особенное в системообразующих свойствах согласных и гласных, как видно, раскрывается в их коартикуляции в слогах и в их функционировании в сонемах.

<sup>3</sup> А. А. и Е. Н. Драгуновы не проводили различия между слогом и силлабемой [2].

<sup>4</sup> В задачу данной статьи не входит дальнейший анализ соотношения понятий «слога» и «силлабемы». Здесь же отметим, что бытующее мнение о бедности слогового состава китайского языка восходит к определению китайских слогов без учета их тональных различий.

<sup>5</sup> Все многообразие слогов ПД и МД соответствует выводу о том, что «единственной реальной произносительной единицей является открытый слог» [8, с. 139].

Для раскрытия природы коартикуляции согласных и гласных в слогах CV надо определить общее в их артикуляции, т. е. найти одно основное артикуляторное сравнение этих категорий звуков. В качестве отправной идеи для анализа системносвязанной речевой реализации согласных с гласными используется положение, сформулированное В. А. Богородицким: «С точки зрения чисто физиологической гласные могут быть определены как ртораскрыватели, а согласные как ртосмыкатели» [9, с. 16]. Это означает, что характер работы аппарата нижней челюсти при производстве согласных и гласных прямо противоположен. Фонация же естественно происходит при том или ином растворе челюстного угла (далее РЧУ). Поэтому системная связанность речевой реализации согласных с гласными обобщается формулой РЧУ, или согласно-гласной (CV) коартикуляции в слоге:  $-1 < 0 < +1$ .

Так что же объединяет речевое ртосмыкание и рторазмыкание в одно целое?<sup>5</sup> Это единство и неуничтожимость артикуляционного движения в рамках артикуляторно взаимосвязанных верхней и нижней челюстей, образующих различные растворы челюстного угла относительно индифферентного его состояния<sup>1</sup>.

Для согласных РЧУ отсчитывается от нуля в формуле CV-коартикуляции в сторону  $-1$  (влево), а для гласных — в сторону  $+1$  (вправо). По закону инерции все три фазы (экскурсия, выдержка, рекурсия) согласных (минусового цикла РЧУ) будут происходить в левой части формулы CV-коартикуляции, а все аналогичные три фазы гласных (плюсового цикла РЧУ) — в правой части этой формулы. Обозначение цифрами последовательности инерционных фаз в левой и правой частях формулы придает ей следующую форму:  $321 < 0 < 123$ <sup>7</sup>. Если РЧУ гласных (например, в слогах *ba* и *pi*) создается различными степенями опускания нижней челюсти, то РЧУ согласных создается различными степенями смыкания подвижного артикулирующего органа с неподвижным, или степенью интенсивности смычки (СИС). СИС обратно пропорциональна выдержке, т. е. времени, в течение которого существует согласный, например, в губных:  $m \rightarrow b \rightarrow p \rightarrow v \rightarrow /$ <sup>8</sup>. Указанное временное соотношение согласных является общезвонической закономерностью [15, с. 54].

Как следует из формулы CV-коартикуляции  $1 < ^0 < M$ , согласные реализуются в речи за счет последующих гласных и поэтому фиксируются звукозаписывающими приборами только с последующими гласными. На материале ПД это подтверждается экспериментальными исследованиями М. К. Румянцева, ср.: «Глухая придыхательная инициаль *t* не приводила слог к общему временному сдвигу. Одно *a* звучало 340 мсек,

<sup>5</sup> Вопрос о том, что объединяет в одно целое ртосмыкатели (согласные) и ртораскрыватели (гласные), поставлен В. А. Богородицким, который в поисках общего в этих категориях звуков строил артикуляторную классификацию согласных и гласных в одной таблице. См. об этом [10, с. 36].

<sup>7</sup> Вероятно, место и роль РЧУ в произносительном аппарате человека определяются следующим: «Каждое природное явление имеет свое естественное материально-энергетическое специфическое пространство, которое натуралист изучает, изучая симметрию» [11, с. 166].

<sup>8</sup> Правое и левое — частные случаи положительного и отрицательного [12, с. 75], поэтому знаки плюс и минус могут опускаться.

<sup>8</sup> О дифференциации согласных по смычности в приведенном ряду говорит эксперимент, проводившийся на материале многих языков. Если укорачивать осциллограммы слогов с более долгими согласными, то при прослушивании реализуются слоги с соответствующими по гортанной работе менее долгими согласными: *fa* → *pa*, *va* → *ba*. Это же справедливо и для других рядов смычности [13, с. 31–35; 14, с. 206–207].

и оно же с инициально *Ш* тоже 340 мсек, где на долю *a* приходилось уже только 240 мсек звучания, поскольку 100 мсек занимала инициаль» [16, с. 10]. Согласные сопоставимых СИС во всех рядах смьчности ведут себя в экспериментах аналогично (. Существенно, что и спирант *x* (согласный малой СИС) реализуется за счёт последующей гласной, хотя и удлиняет слог *xI* по сравнению со слогом *I* 116, с. 13].

Итак, сущность коартикуляции согласных и гласных и их интеграции в одну систему заключается в том, что они определяются одним артикуляторным понятием РЧУ, который для согласных рассматривается с отрицательным значением, а для гласных — с положительным значением градуальной структурированности относительно нулевого значения РЧУ. Организация минусового цикла РЧУ по степеням интенсивности смьчек позволяет распространить градуальную оппозицию не только на гласные, но и на согласные и таким образом обнаружить их оппозитивную связь.

Формула CV-коартикуляции  $-1 < \wedge 0 < \wedge -B1$ , раскрывая артикуляторное общее согласных и гласных, предоставляет материальную основу для установления оппозитивной связи между согласными и гласными в фонологии А. Если в артикуляции общее и различное согласных и гласных предопределено действием естественной инерции в рамках РЧУ, т. е. законом инерции, то в фонологической оппозиции противопоставление согласных и гласных регулируется законом симметрии, устанавливающим различие левого (согласные) и правого (гласные) относительно оси симметрии (нулевой фонемы).

Оппозиция подсистемы согласных подсистеме гласных, описываемая формулой ядерной оппозиции фонологических систем  $I: < \wedge 0 < \wedge :1$  (левое и правое — частный случай положительного и отрицательного, поэтому «минус» и «плюс» в формуле снимаются), является производящей (родовой) по отношению ко всем консонантным (левым) и всем вокалическим (правым) оппозициям. И консонантные (левые по происхождению), и вокалические (правые по происхождению) оппозиции по аналогии (изоморфно) с производящей (ядерной) оппозицией будут различать левое и правое (левый и правый член оппозиции) относительно своих осей симметрии, т. е. структурно производные консонантные и вокалические оппозиции изоморфны производящей (ядерной) CV-оппозиции.

Таким образом, связь между подсистемой консонантизма и подсистемой вокализма не устанавливается общностью тех или иных оппозиций, например, лабиальностью, как может показаться из пропорции  $b : d = u : o$ . Лабиальность *Б* и *u* структурирована по своей отнесенности к левому и правому. Связь между консонантными и вокалическими оппозициями строится по принципу их структурной изоморфности по отношению к структуре ядерной (производящей) CV-оппозиции, различающей левое и правое относительно оси симметрии, которая таким образом будет выполнять интегрирующую функцию во всех оппозициях.

Различие левого и правого в ядерной, производящей оппозиции, левого и правого (левых и правых членов оппозиции) в производных левых и правых фонологических оппозициях стремится к бесконечности как и бесконечно движение от «нуля» до «единицы» в формуле CV-коартикуляции  $-1 < \wedge 0 < \wedge +1$ . В этом заключается диалектика движения фонологической и фонетической систем языка как единства сущности и явления, в котором явление (фонетика) вариативнее, подвижнее и многообраз-

\* О необходимости, материальной основы для установления оппозитивной связи согласных и гласных см. [17, с. 87].

нее в сравнении с относительной устойчивостью сущности (фонологии). Фонемы учитываются в системе (языке), как следует из формулы ядерной, производящей оппозиции по выдержке « $1 <^{\wedge} : 0 : < C 1^*$ »,<sup>10</sup> переходные оттенки звуков реализуются всем спектром артикуляторного движения от относительно индифферентного уклада до выдержки, что описывается формулой CV-коартикуляции —  $1 <^{\wedge} 0 < + 1$ . Поэтому количество фонем на данном этапе развития конкретного языка поддается исчислению в виде натурального ряда чисел, состоящего из двух подмножеств относительно нулевой фонемы:

Русский <sup>10</sup>	34 ... $1 < : 0 : < 1$ ... 5
ПД	25 ... $1 < : 0 : < 1$ ... 31
МД	33 ... $1 < : 0 : < 1$ ... 39
Абхазский	68 ... $1 < : 0 : < 1$ ... 3

Единица — символ выдержки, по которой фонемы учитываются в фонологической системе. Левое подмножество исчисляет количество выдержек разных согласных фонем через левую единицу, а правое подмножество исчисляет количество выдержек разных гласных фонем через правую единицу. И левая единица, и правая единица в равной мере начинаются с нуля и кончаются нулем, т. е. в равной мере сравниваются или отождествляются с нулем. Противопоставление всех членов левого подмножества и всех членов правого снимается в нуле и начинается с нуля, формирование которого в артикуляторном пространстве РЧУ определяется разнонаправленностью действия инерционности в левом и правом циклах РЧУ, благодаря чему при переходе от ртосмыкания к ргоразмыканию в CV-коартикуляции всякий раз реализуется тот момент артикуляторного движения, который по направлению действия инерционности не относится ни к левому, ни к правому циклам РЧУ. Это как бы равновесная зона артикуляции, потенциально одинаково отстоящая от левой и правой выдержек, а поэтому значимая и самая нагруженная в системе позиция и фонема, определяемая нулевой.

По равной противопоставленности нулевой фонеме, служащей основанием для сравнения всех членов левого подмножества и всех членов правого, реализуется оппозитивная связь между членами как левого, так и правого подмножества фонем в сонмах и номемах<sup>11</sup> конкретных языков. А. А. Реформатский подчеркивал: «Прежде всего каждая фонема противопоставлена нулю, то есть отсутствию данной фонемы ... скот — кот, волк — вол» [18, с. 211], *gua<sup>bb</sup>* «дуть» — *ga<sup>bb</sup>* «угол», *da<sup>bb</sup>* «большой» — *da<sup>ai</sup>* «пояс», *tei<sup>oi</sup>* «слишком» — *ai<sup>ai</sup>* «любить» (примеры из ПД).

Знаки изменения РЧУ слева и справа от нуля показывают, что в фонологических системах учитываются слабые позиции и слабые согласные и гласные, реализующиеся по неполной (не достигающей выдержки) артикуляционной программе, а поэтому могущие нейтрализоваться. Таким образом раскрывается артикуляторный механизм и универсальность нейтрализации, которая «наиболее характерна для центра фонологической системы» [17, с. 212].

Итак, ядро фонологической системы — это градуальная оппозиция согласных и гласных по РЧУ в единстве их дифференциальных и интегральных признаков, которые не могут функционировать вне противопоставления тех или иных согласных и гласных фонем, равно противопоставленных нулевой фонеме. GV-градуальная оппозиция — это и есть

<sup>10</sup> Данные о количестве фонем русского и абхазского языков приводятся по [18, с. 220]. Данные и методика подсчета фонем МД приведены в [7, с. 33].

<sup>11</sup> Номема — звуковая сторона слова, по В. М. Солнцеву [3, с. 198].

минимальная клеточка языка, таящая в себе его родовую (ядерную или производящую) оппозицию, организованную по закону симметрии, выражаемому применительно к фонологической системе формулой  $1 < [ : 0 : < C 1$ . Формула может быть усеченной  $0 : < ^1$ , описывая противопоставления сонем из одних гласных:  $a^*$  (префикс) =  $r^{56}$  «один» в ПД. Такая формула объясняется асимметрией РЧУ, могущего фонировать только при положительном значении раствора. Эта формула выражает асимметричный характер природы фонологических оппозиций согласных и гласных: признаки, по которым строятся фонологические оппозиции гласных, всегда правые по происхождению, а признаки консонантных оппозиций — всегда левые. Связь с нулем не позволяет вокалическим оппозициям выпадать из общей системы оппозиций.

Двуединая формула CV-коартикуляции и ядерной фонологической градуальной оппозиции— $1 < ^1 0 < + 1 j \pm 1 < : 0 : < 1$ , выражая единство двух противоположных сил и раскрывая характер их взаимодействия в речи и языке, показывает источник самодвижения и саморазвития фонетической и фонологической систем языка.

Рассмотрим, как работает формула CV-оппозитивной коартикуляции в фонетических системах ПД и МД. Если справедливо, что структура сонем ПД и МД зависит от своей материальной субстанции (согласных и гласных), то сонемная структура, характеризуемая фонологическими позициями, должна выводиться из формулы GV-коартикуляции, так как четырехпозиционная сонема ПД реализуется только в коартикуляции согласной и трех гласных (*guai*<sup>20b</sup> «послушный»), а две формы трехпозиционной сонем МД реализуются только в коартикуляции согласной и двух] гласных: *yai*<sup>11</sup> «я», *bxi*<sup>21</sup> «восемь».

Полнолетнебровые сонемы ПД обнаруживают четыре сонеморазличительные позиции. Это видно из противопоставления минимальных пар: *guai*<sup>56</sup> «послушный» — *gua*<sup>5b</sup> «дуть» — *gai*<sup>5b</sup> «должен» — *ga*<sup>5b</sup> «угол» —  $a^{55}$  «префикс». Из четырех сонеморазличительных позиций одна реализуется минусовым (левым) циклом РЧУ, а три — плюсовым (правым). Так намечаются^ характеристики фонологических позиций ПД. Это существенно, так как «без понятия позиции не может быть и понятия фонемы» [17, с. 208]. Обозначим цифрами эти позиции по их количеству и соответственно номерам инерционных фаз в формуле GV оппозитивной коартикуляции  $321 < 0 < [ 123$  и получим  $2 < ^1 0 < 123$ . Ядерная согласная левая и ядерная гласная правая обозначились одинаково четными цифрами как сильные согласные и сильные гласные, одинаково учитываемые в системе по выдержке. Отличаются же они как левый и правый чет. До ядерная и постъядерная гласные одинаково обозначились как нечеты, левый и правый относительно чета. Эта формула исчисляет и характеризует фонологические позиции четырехпозиционной сонемы ПД, фиксирует асимметрию позиционного использования в сонемах ПД консонантных и вокалических позиций, связь между которыми системно осуществляется нулевой позицией. С точки зрения CV-коартикуляции происхождение фонологических позиций связывается с трехфазовым характером или трехфазовой инерционной позиционностью как левого, так и правого циклов CV-коартикуляции<sup>12</sup>.

<sup>12</sup> Реализация трех левых позиций наблюдается в стечениях согласных в номах русских слов, так как фонологическая система русского языка использует преимущественно консонантные (левые) позиции. Этому в русском языке соответствует действие фонетического закона к стяжению гласных.

Формула исчисления фонологических позиций сонемы ПД  $2 <^0 <^0 <^1 2$  на основе равной противопоставленности всех фонем нулевой преобразовывается в более компактную: 0123. Знаки изменения РЧУ опускаются, так как несущественны при обозначении соположения и количества позиций в синтагматике полной сонемы. Нуль в инициальной позиции как символ нулевой фонемы и представитель любой согласной показывает равную противопоставленность всех позиций нулю, т. е. их значимому отсутствию: *guai<sup>ab</sup>* «послушный» 0123, *gua<sup>bb</sup>* «дуть» 012, *ga<sup>bb</sup>* «угол» 02. Если же согласная в сонеме не представлена, то нуль перемещается вправо: *ai<sup>ai</sup>* «любить» 230, *a<sup>aa</sup>* (префикс) 20 и, наконец, значимая пауза фонации реализуется нулевой сонемой 0. Смещения значения нулей не происходит из-за различения левого и правого нуля относительно чета. Наконец, при отсутствии гласного чета реализуется нулевая фонема, например, значимая пауза фонации. Таким образом, все фонемы — и консонантные, и вокалические — равно противопоставлены ядерному, или производящему, нулю в формулах сонем, почему нуль и представлен во всех формулах сонем.

Различение языка и речи требует преобразования формул сонем в формулы слогов. Это связано с тем, что звуки речи (элементы слога) характеризуются физическими параметрами, а фонемы (элементы сонемы) — дифференциальными и интегральными признаками. Частично анализ физического смысла позиций сонемы 0123 уже был сделан выше, так как формирование фонологических позиций определяется законом инерции, устанавливающим трехфазовость артикуляторного движения в левом и правом членах CV-коартикуляции. Преобразование формулы сонемы в формулу слога мыслится как перенос симметричных левых инерционных позиций CV-коартикуляции 3210123 в правые на том основании, что в речи согласные реализуются за счет гласных. Перенос левых позиций в правые можно представить как наложение левых позиций на симметричные правые относительно общего нуля. Сонема через нуль как бы перетекает в слог:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & \\ & 0 & 1 & 2 & 3. \end{array}$$

В слогах согласные не реализуются симультанно с гласными, поэтому возникает проблема, что следует за чем, т. е. проблема речевой последовательности. В данном случае эта проблема решается в рамках единичной CV-коартикуляции как сдвиг по инерционной фазе левой по происхождению выдержки согласных либо вправо, либо влево относительно правой по происхождению выдержки гласных. Весь слоговой состав ПД и МД говорит о том, что сдвиг происходит влево, в сторону нулевой позиции, представляющей в формуле сонемы сильную позицию согласных, в которой все они и противопоставляются в слогах ПД и МД.

Сдвиг инерционных позиций в сторону нуля на одну позицию уже  
123  
достаточен для реализации согласной относительно гласной: 0123 —> *Ba<sup>ai</sup>* «папа», *bai<sup>bb</sup>* «белый» по формулам 220 и 2230 соответственно. В формулах слогов четы различаются как левый (согласный) и правый (гласный). Слоговой нуль, выталкиваемый согласной, перемещается на свободную позицию в исход слога, где он реально и реализуется. Еще один фазовый сдвиг влево совмещает левый чет с нулевой позицией и также обеспечи-

123  
вает реализацию согласных в слогах: 0123 —> *gua<sup>aa</sup>* «дуть», *guai<sup>ai</sup>* «послуш

ны» по формулам 2120 и 2123 соответственно. В формулах слогов нуль как символ нулевого звука (заместитель производящего нуля) по мере заполнения инициальной позиции согласным перемещается на свободную позицию вправо. В полном четырехтембровом слоге не остается свободной позиции, поэтому левый чет наделяется двумя значениями: инициального согласного и нулевого звука по аналогии с двойным значением нуля в формуле сонемы.

Таким образом, преобразование формул сонем в формулы слогов реализуется за счет восстановления четности в инициальной позиции слогов и симметрии четов как левого и правого, а также перемещения нуля звука в исход слогов, где акустически нуль и реализуется. Формулы сонем из гласных совпадают с формулами соответствующих слогов, так как левый член CV-коартикуляции в них не представлен, а позиция нуля в исходе совпадает.

Что касается физического смысла переноса энергии левого члена коартикуляции в правый, то, очевидно, он регулируется законом сохранения энергии и движения с учетом естественных потерь, присущих изначально произносительному аппарату. Ср., например, недостаточную герметичность резонаторных полостей в артикуляциях согласных с относительно малыми значениями отрицательного цикла РЧУ (так называемые спиранты), из-за чего и происходит некоторое удлинение реализации слогов за счет этих согласных, которое несущественно для фонологической системы, так как оппозиции согласных строятся градуально по месту артикуляции смычки, различающейся степенями интенсивности<sup>15</sup>. Сюда же относится избыточная инерционная реализация слабых гласных в позиции правого нечета. Так, «удаление 70%, а иногда 80% звучания слабых носовых гласных ПД I-Г] и [-Т] (трактовка этих звуков как узких носовых гласных предложена в [19, с. 3]) не оказывает влияния на восприятие слога» [16, с. 27].

В целом преобразование формул сонем в формулы слогов, понимаемое как процесс реализации в речи определенных моделей CV-градуальных оппозиций за счет CV-коартикуляций, показало выводимость формул слогов из формул сонем, отождествило сильные и слабые позиции сонем и слогов, обнаружило определенные правила перехода от формул сонем к формулам слогов: 0123 [2123], 023 [2230], 02 [220], 012 [2120], 20 [20], 230 [230].

Полученные формулы раскрывают матричный характер позиционной структуры сонем и слогов ПД, устанавливают соответствие между функциональными характеристиками фонем и физическими параметрами звуков, реализующихся в соответствующих позициях.

Нулевая позиция, или позиция левого чета, является сильной для всех согласных ПД. Физический смысл обозначения этой позиции нулем и надления левого чета значением нулевого звука состоит в том, что согласные реализуются в слогах за счет и совместно с последующими гласными.

<sup>15</sup> О построении матрицы согласных по степеням интенсивности смычки см. [7, с. 12-20].

Специальное удлинение времени реализации слогов за счет согласных, например в песнях В. С. Высоцкого (стонал, но держал), достигается путем использования особенностей артикуляции конкретных согласных в речи как смычнопроходных, вибрирующих и т. д., т. е. эти случаи относятся к явлениям фоностилики, реализующей возможности системы, но не подрывающей ее.

Позиции левого и правого нечетов — это позиции слабых узких гласных, определяемых по отношению к сильным гласным позиции правого чета. Системно слабость нечетных гласных подтверждается их чередованием с производным слабым нулем (в отличие от производящего сильного нуля) в синтагматике сонем. Производные нули могут реализоваться при левом производящем нуле в позициях левого и правого нечетов, реализуя симметрию левого и правого производных или слабых нулей (ср. *gual<sup>ab</sup>* «послушный» и *ga<sup>ai</sup>* «угол» 0123 и 02); в позиции правого нечета (ср. *gua<sup>ab</sup>* «дуть» 012), в позиции левого нечета (ср. *gai<sup>as</sup>* «должен» 023). При правом производящем нуле производный ноль может реализоваться только в одной позиции правого нечета (ср. *ai<sup>ai</sup>* «любить» и *a<sup>ai</sup>* «да» 230 и 20). Далее производный ноль нейтрализуется в сонемах 20 правым производящим нулем, реализующим идею правой асимметрии относительно производящего левого нуля сонем 02, в которых реализуется идея левой асимметрии производящего нуля. Обнаруживаемая таким образом потенциальная идея симметрии производящих левого и правого нулей реализуется в сонемах производными нулями в позициях левого и правого нечетов. А производящие нули абсолютно симметричны в единстве своего левого и правого в CV-оппозиции  $1<^0<^1$  и в значении нулевой сонемы. Поэтому сильные фонемы левого и правого четов противопоставлены в сонемах производящему сильному нулю, а слабые фонемы нечетов — производным, слабым нулям. Так намечается появление производных слабых нулей в подсистеме вокализма ПД и обнаруживается механизм действия нейтрализации через производящий ноль, ассимилирующий! производный, слабый ноль. Появление в позициях нечетов производных нулей связано с ослаблением артикуляции узких гласных по связочной и коартикулирующей язычно-нижнечелюстной работам. Как результат в позициях нечетов узкие гласные никогда не достигают выдержки соответствующих узких четных гласных. Таким образом подтверждается, что в артикуляторной прострпанстве от нуля до выдержки в формуле производящей CV-опозиции  $1<^0:<C1$  реализуются слабые фонемы, которые учитываются в системе сонеморазличения.

Физический смысл обозначения позиций реализации слабых гласных первым и третьим нечетами состоит в том, что для гласных левого нечета характерна недостаточность тоновой модуляции, объективно обусловленная экскурсионной инерционностью голосовых связок, а для гласных правого нечета характерна избыточность тоновой модуляции, обусловленная рекурсионной инерционностью работы голосовых связок, реализующих тон четных гласных. Поэтому позиция сильных гласных обозначается единственным сонемным четом — символом периодических колебаний голосовых связок.

Позиция правого чета определяется как позиция сильных гласных. Четные гласные в слогах не чередуются с нулем, потому что являются слогаобразующими. Поэтому для них характерно оппозитивное чередование в позиции правого чета: *da<sup>2p</sup>* «отвечать» — *üa<sup>as</sup>* «немецкий» — *di<sup>as</sup>* «враг»; *э<sup>35</sup>* «русский» — *i<sup>35</sup>* «передвигать» — *й<sup>35</sup>* «рыба» — *ь<sup>as</sup>* «сын», *э<sup>51</sup>* «голодный» — *г<sup>61</sup>* «сто миллионов» — *й<sup>214</sup>* «дождь» — *ь<sup>61</sup>* «два» и т. д. Четные гласные, реализуя идею фонологической системы ПД на полное использование вокалических позиций, обнаруживают, например, в сравнении с фонологической системой русского языка, дополнительные возможности для создания своего артикуляторно-акустического многообразия. Это достигается градуально дифференцированной по степеням натяжения артикуляторной работой голосовых связок, сочетающейся со всеми



язычно-нижнечелюстными артикуляциями. Поэтому четные гласные ПД являются связочно дифференцированными, или тонированными. Термин «дифференцированная связочность» с точки зрения артикуляции определяет акустические характеристики, называемые тонами, по которым гласные ПД и МД противопоставляются в тоновых (связочных) сериях и включаются в тоновые (связочные) корреляции. Количество тоновых оппозитивных серий совпадает с количеством язычно-нижнечелюстных артикуляций, а количество тоновых корреляций совпадает с количеством градуально дифференцированных по степеням натяжения голосовых связок связочных укладов. Так, в ПД реализуется восемь язычно-нижнечелюстных артикуляций гласных:  $a, \varepsilon, \varepsilon^{\sim}, u, i, \dot{y}, l, l$ . Каждая артикуляция образует тоновую оппозитивную серию типа  $a^1 a^2$

$$a^0 \\ a^4 a^3$$

В основе таких коррелятивных серий — соответствующие ротовые артикуляции, коартикулирующие с градуированной по пяти позициям артикуляторной работой голосовых связок, реализующих соответствующие позициям тоны гласных: первый 55, второй 35, третий 214, четвертый 51, нулевой, или нейтральный 0. Гласные одинаковых серийных позиций включаются в соответствующие тоновые корреляции. Например,  $a^1 - \varepsilon^2 - \varepsilon^{\sim 2} - u^2 - i^2 - u^2 - l^2 - \dot{l}$ . «Приметой» (термин А. Мартине [20, с. 134]) этой корреляции является такая артикуляторная работа голосовых связок, которая реализует восходящее движение голосового тона, обозначаемого по пятиступенной шкале цифрами 35. Таким образом, тоновые, или связочные, корреляции гласных ПД подтверждают характеристику корреляций как средства «увеличения числа фонем данного языка без соответствующего увеличения числа различных артикуляций» [20, с. 134].

Гласные нулевой позиции тоновых серий включены в корреляцию нулевого, или нейтрального тона:  $a^0 - \varepsilon^0 - \varepsilon^{\sim 0} - u^0 - i^0 - \dot{y}^0 - l^0$ . Примета этой корреляции — нейтральный или относительно индифферентный уклад голосовых связок по отношению к укладам 1, 2, 3 и 4 позиций. Такой уклад достигается ослаблением степени натяжения голосовых связок в артикуляциях, коррелирующих по этому признаку гласных. В результате гласные этой корреляции реализуются как ослабленные по ртовой артикуляции (по тембровому качеству), а их тоновый контур реализуется в зависимости от сильных гласных предшествующих сонем, т. е. гласных тоновых корреляций 1, 2, 3, 4. Нулевая позиция тоновых оппозитивных серий (ср. появляется вторичный производный нуль в отличии от первичных двух производных нулей) характеризуется как слабая: в этой позиции происходит нейтрализация как тоновых серийных оппозиций, так и нейтрализация тоновых корреляций, а также и тембровая нейтрализация. Такая слабая позиция гласных ПД реализуется в постпозитивных сонемах, например, в сонеме гласной суффикса существительных  $i^{214} - zl^0$  «стул».

Реализация в вокализме ПД слабой позиции вторичного производного нуля с таким мощным нейтрализующим потенциалом обнаруживает сходство во всех тоновых сериях и корреляциях и таким образом интегрирует подсистему вокализма ПД через вторичный производный нуль с производящим нулем.

Артикуляторно четные гласные как члены связочных корреляций 1, 2, 3, 4 характеризуются устойчивостью артикуляции, подчеркнутой выдержкой соответствующих РЧУ и позиций языка. И как следствие аку-

стически они «несомненно более устойчивы по спектру, чем гласные в нетональных языках» [16, с. 43]. Эти артикуляторно-акустические качества четных гласных ПД в сочетании с широким использованием гласных больших РЧУ *a* и *э* создают артикуляторные возможности для реализации в их экскурсионных и рекурсионных фазах слабых позиций узких нечетов: *ggai*<sup>35</sup> «послушный», *цзе*<sup>21\*</sup> «черт». В этой связи примечательно наблюдение Е. Д. Поливанова: «Китайское *a* является наиболее частым гласным в китайских словах» (1, с. 431. Для гласной максимального раствора характерна ярко выраженная трехфазовость, демонстрируемая известной кривой *a* Л. В. Шербы [21, с. 119—120]. Именно это качество широкорастворных гласных используется в фонологической системе ПД, и именно оно, будучи усилено и размножено связочной дифференциацией, формирует позиции нечетов, в которых реализуются слабые узкие гласные.

Для тембрового разнообразия сонем и повышения функциональной нагрузки правого нечета используются слабые узкие носовые гласные переднего и центрального рядов, которые в ПД, как правило, не реализуются в позиции чета, например, *циц*<sup>46</sup> «послушный», *гуав*<sup>6</sup> «закрывать», *гуа*<sup>36</sup> «свет». В фонетической системе ПД наблюдается живое чередование в позиции правого нечета передней носовой и слабой ретрофлексной гласной *э*- . Это чередование может затрагивать и центральный носовой. В таком живом чередовании, которое закрепляется в лексике, например, *и?аэ*<sup>-36</sup> «проводить время», просматривается идея фонологической системы ПД усилить в перцептивном плане слабые носовые гласные правого нечета, тем более, что ретрофлексная гласная по аналогии с другими гласными реализуется в позиции чета (например, *э*<sup>-31</sup> «два», *э*<sup>-31</sup> «сын») и включена в тоновые корреляции.

Анализ системообразующих свойств согласных и гласных ПД с точки зрения СТ-оппозиции и CF-коартикуляции раскрыл их возможности к формированию четырехпозиционной сонемной матрицы и обнаружил, что системообразующие свойства гласных ПД полно раскрываются не в одной CF-коартикуляции, а в двух:  $C_x V_x + C_2 V_2$ . Это обусловлено тем, что слабая позиция гласных нейтрального тона (вторичный производный ноль) с сильнейшим нейтрализующим потенциалом (а значит и интегрирующим) реализуется именно в постпозитивной шеме. Такая слабая гласная характерна прежде всего для суффикса существительных, например, *i<sup>21\*</sup>к-zl<sup>°</sup>* «стул». Эта слабая позиция гласных возникла в результате словообразовательного сложения морфем с последующим ослаблением гласной постпозитивной сонемы. Об этом, в частности, говорит слияние ослабленной ретрофлексной гласной второго суффикса существительных ПД *э*<sup>-°</sup> с основой. В результате ослабленный ретрофлексный гласный реализуется в позиции правого нечета относительно четной гласной осн.ивной сонемы, т.е. как один слог. Например, *hua<sup>bb</sup> + э*<sup>-°</sup> → *blaa*<sup>-36</sup> «цветок» (по формуле 0123), *wad*<sup>-36</sup> «развлекаться» (по формуле 023), а записываются эти слова по традиции соответственно двумя иероглифами:

Такая реализация суффиксальной сонемы из одной ослабленной гласной противоречит принципу морфологической значимости слогоделения современного китайского языка [6, с. 36], и поэтому этот суффикс по своей продуктивности значительно уступает другому суффиксу существитель-

ных ПД, сонема которого состоит из согласной и ослабленной гласной  $z^2$ , и поэтому легко ассоциируется с отдельным, хотя и ослабленным, при-  
мыкающим слогом.

В фонологии считается, что нейтрализация является «мошнейшим системообразующим фактором» [17, с; 211]. Поэтому сравнение системообразующих свойств согласных и гласных ПД и МД логично начать с констатации того, что в вокализме МД не реализуются гласные нейтрального тона, т. е. в постпозитивных сонемах МД не представлена слабая позиция гласных как позиция нейтрализации тоновых серий и корреляций. Следовательно, если исходить из родственности фонологических систем ПД и МД, то такая позиция нейтрализации должна обнаружиться в слабых позициях нечетных гласных относительно сильных четных гласных, т. е. нейтрализация не вторичным производным нулем, как в ПД, а первичным производным нулем.

Отсутствие слабых гласных вторичного производного нуля системно характеризует СТ-коартикуляцию МД по сравнению с СТ-коартикуляцией ПД как более интенсивную. Поэтому по своим артикуляторно-акустическим параметрам слоги МД реализуются как более яркие, т. е. относительные значения обоих циклов РЧУ — минусовое и плюсовое — в МД выше, чем в ПД. Как следствие «согласные МД  $pp'Wkk'$  произносятся напряженнее, чем в ПД» [22, с. 150].

Сонемы МД характеризуются трехпозиционностью структуры при наличии двух форм трехпозиционных сонем. Первая форма сонемы выявляется в следующем противопоставлении:  $yai^{1'}$  «я» —  $ija^{11}$  «зуб» —  $a^{33}$  (префикс), что описывается формулами 023 122301, 02 [2201, 20. В позиции правого чета противопоставляются все плавные гласные фонемы, ротовые и носовые; всего двадцать четыре ротовых и семь носовых фонем. Такое количество плавных фонем достигается за счет связочнодифференцированной, или тоновой серийности всех ротовых и носовых артикуляций:  $a$ ,  $\varepsilon$ ,  $e$ ,  $i$ ,  $l$ ,  $u$ ,  $\Gamma$ ,  $T$ ,  $u$  и реализацией четырех тоновых корреляций с приметами: 55, 33, 31, 11.

В позиции левого чета противопоставляются все согласные фонемы. В слабой позиции правого нечета реализуются только коррелятивно противопоставленные по назальности узкие чистые и носовые гласные:  $-g$ ,  $-u$ ,  $\Gamma$ ,  $-T$ ,  $-u$ . Центральная узкая гласная из-за слабого контраста нейтрализуется. Слабые носовые, как и в ПД, значительно повышают тембровое разнообразие позиции правого нечета:  $sai^{33}$  «гора»,  $sai^{33}$  «голос»,  $sai^{33}$  «три». В этом состоит их системное назначение, так как в сильной позиции чета носовые представлены незначительно, например,  $\Gamma^{55}$  «ухо»,  $T^{ix}$  «рыба»,  $u^{1'}$  «отрицание». Таким образом по функции носовых гласных в позиции правого нечета обнаруживается их симметрия в сонемах ПД и МД. Различие в том, что в вокализме ПД носовая и не реализуется, а в вокализме МД нет ретрофлексной гласной  $\varepsilon \sim$ .

Хотя сонемодифференцирующая функция позиции правого нечета в вокализме МД велика, но интегрирующая функция этой позиции явно незначительна, так как в этой слабой позиции нейтрализуются тоновые серии и корреляции только узких гласных и обнаруживается одна тембровая нейтрализация:  $-1/-L$

Нейтрализация тоновых серий и корреляций узких гласных означает, что узкие гласные только в сильной позиции чета образуют тоновые (связочные) серийные оппозиции:  $r^{65}$ :  $r^{33}$ :  $r^{31}$ :  $r^n$  и включены в тоновые (связочные) корреляции:  $r^{11} - l^{11}$  и  $l^{11} - \Gamma^{11} - \Gamma^{11} - i^{11}$ . В позиции же правого нечета происходит распад тоновых серийных оппозиций и тоновых кор-

реляций. Слабые гласные правого нечета реализуются в зависимости от связочной (тоновой) дифференциации сильной гласной чета. Поэтому фонетическая реализация узких гласных в позиции нечета может обнаруживать такие акустические параметры, которые в сильной позиции чета она никогда не обнаруживает. Например, узкая носовая гласная центрального ряда в позиции чета образует только одну тоновую оппозицию T<sup>11</sup> : T<sup>31</sup> (T<sup>11</sup> «рыба» — I<sup>31</sup> «пять»). А в слабой позиции нечета эти фонемы будут обнаруживать тоновые признаки сильной гласной чета 33 и 55, например, saT<sup>33</sup> «голос», rpI<sup>55</sup> «глупый». В фонетической же системе ПД четные носовые гласные вообще упали, поэтому в ПД связочная (тоновая) реализация узких носовых абсолютно определяется или ассимилируется сильными гласными чета.

Вторая форма трехпозиционной сонемы МД выявляется в противопоставлении типа: бл<sup>31</sup> «восемь» — лѣ<sup>ax</sup> «сердитый», что описывается формулами 012 [2120] и 120 [120]. В позиции чета (правого чета слога) противопоставляются все отрывистые инспираторные гласные фонемы, которые системно отличаются от всех плавных экспираторных фонем. Инспираторные гласные представлены узкими артикуляциями в переднем, центральном и заднем рядах: ʕ, I, и, которые удваиваются за счет сочетания с двумя укладами артикуляторной работы голосовых связок. В результате инспираторные отрывистые гласные по аналогии с экспираторными плавными образуют серийные оппозиции, включенные в тоновые корреляции с приметами 45 и 21. А именно, I<sup>ak</sup> : J, I<sup>45</sup> : I<sup>a</sup>, u<sup>b</sup> : й; B<sup>a</sup> — h — й<sup>45</sup>, ~I<sup>21</sup> —

В позиции левого нечета второй трехпозиционной сонемы 012 реализуются в функции слабых все чистые (ртовые) гласные. Таким образом, в сонемах МД обнаруживается слабая позиция левого нечета как позиция с максимальным нейтрализующим (а значит, и интегрирующим) потенциалом. В этой позиции происходит нейтрализация оппозиций шести тоновых серий и четырех тоновых корреляций, в которые включены двадцать четыре гласные фонемы (см. схему).

Нейтрализация тоновых (связочных) серий и корреляций экспираторных гласных в позиции левого нечета перед инспираторными гласными

-55 5S 55 .55 ,55 55 . „ „ . , „

I I \ \ \ •'  
Л — з — е — I — I — и.

На схеме нейтрализации оппозиций в тоновых сериях показана по вертикали, а нейтрализация корреляций — по горизонтали. Нейтрализуемые оппозиции обобщаются как по вертикали, так и по горизонтали в виде слабых гласных, имеющих нечто общее по ртовой артикуляции с членами

нейтрализуемых оппозиций. Что касается тоновой характеристики слабых гласных, то она полностью зависит от тона сильной гласной чета. Например, гласные максимального РЧУ в плавных тонах реализуют четыре фонемы: а<sup>55</sup>, а<sup>33</sup>, у<sup>11</sup>, а<sup>31</sup>. В позиции же перед инспираторными гласными звуковысотное качество этих гласных реализуется только двояко: либо в верхнем регистре, который не достигает высоты фонемы а<sup>55</sup>, либо в низком, который не достигает уровня фонемы о<sup>11</sup>, например s*i*<sup>4b</sup> «язык» — SA1<sup>21</sup> «надрываться». Поэтому тоновые серийные оппозиции нейтрализуются, а тоновые корреляции распадаются. На схеме это показано по вертикали и по горизонтали. Благодаря нейтрализации в позиции левого чета двадцати четырех гласных фонем в позиции правого чета начинают действовать две новые тоновые корреляции и три серии тоновых оппозиций инспираторных гласных.

Если в ПД сходная по нейтрализующему потенциалу слабая позиция гласных реализуется в постпозитивных сонемах в коартикуляции ртовых артикуляций с нейтральным укладом голосовых связей, то в МД такая слабая позиция гласных реализуется перед сильными инспираторными гласными. Отличие этой позиции нейтрализации в МД состоит в том, что слабые гласные левого чета в тембровом отношении (по ртовой артикуляции) не редуцируются до степени нейтрализации с соседней ртовой артикуляцией, как в ПД. Поэтому, если структурно сходные (сходные по происхождению в результате нейтрализации в самой слабой позиции гласных) слабые гласные ПД не участвуют сами по себе в сонеморазличении, т. е. не могут образовывать минимальных пар между собой, то структурно сходные слабые гласные МД могут. На схеме это показано по горизонтали: при нейтрализации тоновых оппозиций и корреляций тембровая различаемость между соответствующими слабыми гласными сохраняется. Например, л<sup>121</sup> «сердитый» — oi<sup>21</sup> «сдерживать чувства» — er<sup>21</sup> «отрыжка»; s*i*<sup>4b</sup> «десять» — siii<sup>4b</sup> «привычка».

Определение позиции нейтрализации ртовых экспираторных гласных перед инспираторными гласными находится в соответствии с правилами нейтрализации: «фонологическая оппозиция может нейтрализоваться рядом с членом (в первую очередь маркированным) той же или родственной оппозиции либо корреляции ассимилятивно или диссимилятивно, регрессивно или прогрессивно» [17, с. 212]. Инспираторные гласные МД, обуславливающие нейтрализацию препозитивных экспираторных гласных диссимилятивно и регрессивно, являются и членами родственных тоновых оппозиций, и членами родственных тоновых корреляций. Таким образом, на материале МД подтверждается вывод: «Нейтрализация является надежным критерием для выявления родства между фонемами, оппозициями, корреляциями» [17, с. 107]. Это тем более важно, так как в описаниях рассматриваемых конечнослоговых звуков МД наблюдаются известные расхождения<sup>14</sup>.

Время реализации отрывистых слогов по сравнению с плавными слогами соответствующих регистров системно уменьшается в среднем в два раза. По теории СТ-коартициляции время реализации слога определяется

<sup>14</sup> По признакам случайного фонетического сходства эти звуки определяются либо узкими согласными «clustiles» [23, с. 261], либо импозивными смычными согласными -p, -t, -k [24, с. 52]. Сходные звуки в разной степени представленности реализуются в фонетических системах всех южнокитайских диалектов: минь, юэ, кэ (хакка), у. Примечательно, что в традиционной китайской фонетике слоги с такими звуками относятся к тоновой категории «жу» (входящий).

временем звучания слогаобразующей гласной. В отрывистых (кратких) слогах по сравнению с плавными (долгими) в артикуляторно-элементном отношении в исходе слога появляется один новый звук (ср. *bv*<sup>17</sup> «нести на спине» ^1000 мсек и *Бл*<sup>21</sup> «восемь» ^500 мсек<sup>16</sup>). Следовательно, этот звук и обуславливает двойное уменьшение времени реализации слогов, обнаруживая тем самым свою категориальную отнесенность в слогах к сильным гласным, или четным гласным, от которых зависит время реализации и тоновый контур. Артикуляторно сокращение времени реализации этих звуков достигается за счет глотания («swallow» [25, с. 11]) звукопроизводящей струи воздуха (т. е. инспирации) при открытом носоглоточном резонаторе, почему эти звуки можно назвать носоглоточными [7, с. 25].

Сокращение времени реализации слогов в два раза в фонетической системе МД также обнаруживают экспираторные гласные суффикса существительных *-e*<sup>81</sup>- и относительного служебного слова *-e*<sup>55</sup>, которые по признаку краткости объединяются в одну подсистему с инспираторными гласными и тем самым подчеркивают родственность инспираторных и экспираторных гласных в вокализме МД. Сонема суффикса существительных, хотя и выражена одним гласным, но она не стягивается в один слог с предшествующим гласным основной сонемы: *zj*<sup>46</sup>-*e*<sup>61</sup>- «стол», *sl*<sup>33</sup>-*e*<sup>51</sup>- «лев», *Zou*<sup>11</sup>-*e*<sup>51</sup>- «корзина». А в ПД, как было показано выше, суффикс существительных, выражаемый одной ретрофлексной гласной нейтрального тона *-э*<sup>9</sup>, из-за слабости связочной работы стягивается в один слог с гласной основной сонемы: *hua*<sup>64</sup> *ɸ* *э*<sup>9</sup> *-\** *кцэз*<sup>68</sup> «цветок».

Тем не менее, в сочетании кратких гласных МД с долгими известный фонетический процесс к примыканию намечается в определенном тембровом воздействии на чистый по ртовой артикуляции гласный суффикса, например, в работе носового резонатора: *lvu*<sup>8</sup>-*e*<sup>51</sup>- «корзина». После основ, оканчивающихся на инспираторные гласные, такое примыкание суффикса существительных (*гэ*<sup>45</sup>-*e*<sup>51</sup>- «стол») реализует последовательность из двух кратких слогов, звуковая структура в которых в виде согласного, левого нечетного гласного, четного гласного и как бы правого нечетного примыкающего (но не сливающегося) гласного: *CVV-V* (012-3) обнаруживает прообраз четырехпозиционной сонемы ПД (0123). И действительно, падение в ПД инспираторных гласных и редукция гласной суф. существительных до степени нейтрального тона, как у ретрофлексной суффиксальной гласной *э*<sup>9</sup>, реализовало этот структурный намек, обнаруживаемый в двухсонемных номемах МД, в одной четырехпозиционной структуре сонемы ПД: *кцэ*<sup>68</sup> + *э*<sup>9</sup> *о* *-\** *Ицэз*<sup>68</sup> «цветок», *CVV* + *V*-+*CVVV*, 0123 [2123].

Падение в диахронии инспираторных гласных представляется как их конвергенция с экспираторными: в ПД упали инспираторные и на их месте в структуре сонемы реализовались экспираторные, ср. *gua*<sup>65</sup> «дуть» и *B&ɛ*<sup>71</sup> «восемь» 012 [2120]. Согласно конвергентно-дивергентной теории Е. Д. Поливанова [26, с. 111], конвергентно-дивергентный процесс носит одновременный и взаимообусловленный характер, т. е. если где-то в системе происходит конвергенция, то где-то в системе должна происходить соответствующая дивергенция. В данном случае конвергенция произошла в правых по происхождению фонологических позициях, т. е. в гласных. Следовательно, дивергенция в структурно одном направлении (борьба фонологической системы за позицию левого нечета по формуле 0123) должна про-

<sup>15</sup> Длительность этих слогов измерена по их подчеркнутому произнесению в изолированном положении.

исходить по формуле  $CV$  оппозиции  $1 <: 0 <: 1$  в левой части формулы, т. е. в консонантизме. И действительно, в консонантизме МД реализуются две консонантные корреляции лабиализации и палатализации, которые дивергировали в ПД: МД  $g^w o^{33}$  «свет»  $-+$  ПД  $gaa^{41}$  «свет», МД\* $;$ »<sup>21</sup> «поле»  $\rightarrow$  ПД  $tiai^{36}$  «поле». По формулам этот процесс представляется: МД 023 [2230]  $-*$  ПД 0123 [2123]. В итоге получаем, что конвергенция в правой части формулы ядерной  $SF$ -оппозиции и дивергенция в левой части формулы реализовались через производящий нуль в одной и той же цели фонологической системы — четырехпозиционной сонеме ПД, которая сформировалась благодаря выделению позиции левого нечета перед экспираторными гласными, например,  $guae^{55}$  «послушный».

**Выводы.** Отождествление согласных и гласных ПД и МД по дифференциальной и интегральной функциям в сонемах и номемах происходит на основе их равной противопоставленности нулевой фонеме, или производящему нулю, и реализуется градуальной оппозицией по РЧУ, в которой левыми членами являются согласные как левые четы, а правыми членами — гласные как правые четы.

Фонологические системы ПД и МД используют градуально дифференцированные уклады голосовых связей для серийно-коррелятивного размножения ротовых артикуляций гласных, что значительно увеличивает количество четных, или сильных, гласных фонем. Благодаря артикуляционной устойчивости четных гласных, системно усиливаемой связочной дифференциацией, относительно сильной позиции гласных — правого чета сформированы позиции левого и правого нечетов как позиции слабых гласных чистых и носовых. Из-за различия системообразующих свойств членов ядерной производящей оппозиции  $CV$  нечетные гласные в ПД реализуются в одной четырехпозиционной модели сонемы 0123, а в МД в двух: 012 и 023.

Ядерная  $ST$ -коартикуляционная оппозиция, или оппозитивная коартикуляция  $1 <: 0 <: 1 \pm -1 < 0 < +1$  реализуется в ПД и МД в следующих сонемнослововых или слогосонемных позиционных матрицах: ПД - 0 02 [220] 20 [20] 012 [2120] 023 [2230] 230 [230] 0123 [2123] МД - 0 02 [220] 20 [20] 012 [2120] 023 [2230] 230 [230] 120 [120].

Как показал анализ на материале ПД и МД, двуединая формула  $CV$ -коартикуляционной оппозиции, или оппозитивной коартикуляции  $1 <: <: 0 <: 1$  имеет объяснительную силу не только в синхронии, но и в диахронии, так как описывает конвергентно-дивергентный процесс.

Установление соответствия в сонемнослововых позиционных матрицах между системообразующими свойствами фонем и звуков означает, что материальная сторона языка (экспоненты языковых знаков — сонемы и номемы) на примере фонологических систем ПД и МД обнаруживает свое соответствие основным законам природы, в частности закону инерции, на котором покоится все учение о движении тел. Это и закономерно, так как семиотическая система, возникшая в процессе естественно-исторического развития и обеспечиваемая нервной энергией человека, в построении материальных экспонентов своих знаков не может противоречить основным законам природы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов А. И., Поливанов Е. Д. Грамматика современного китайского языка. М., 1930.
2. Драгунов А. А., Драгунова Е. Н. Структура слога в китайском национальном языке // Советское востоковедение. 1955, № 1.

3. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977.
4. Спешнее Н. А. Фонетика китайского языка. Л., 1980.
5. Касеев В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
6. Солнцева Н. В. Проблемы типологии изолирующих языков. М., 1985.
7. Алексахин А. Н. Диалект хакка (китайский язык). М., 1987.
8. Бондарко Л. В. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
9. Богородицкий В. А. Общий курс русской грамматики. М.; Л., 1935.
10. Павов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
11. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965.
12. Урманцев Ю. А. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974.
13. Дукельский Н. И. Принципы сегментации речевого потока. М.; Л., 1962.
14. Якобсон Р., Фант Г. М., Халле М. Введение в анализ речи // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
15. Проблемы и методы экспериментально-фонетического анализа речи / Под ред. Зиндера Л. Р. и Бондарко Л. В. Л., 1980.
16. Румянцев М. К. Тон и интонация в современном китайском языке. М., 1972.
17. Журавлев В. К. Диахроническая фонология. М., 1986.
18. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967.
19. Алексахин А. Н. Об открытом характере слогов в китайском языке на материале пекинского и мэйсяньского диалектов // III конференция по китайскому языкознанию: Сб. тезисов. М., 1984.
20. Мартин А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.
21. Шерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
22. Юань Цзяхуа дан. Ханьюй фаньянь гайяо (Очерк диалектов китайского языка). Бэйцзин, 1960.
23. Karlgren B. Etudes sur la phonologie chinoise // Archives d'etudes orientales. V. 1 5. Stockholm, 1915.
24. Сяньдай ханьюй (Современный китайский язык). I Цэ. Бэйцзин, 1959.
25. Cantonese dictionary. Cantonese-English. English-Cantonese//By Parker Pofei Hung. New Haven; London, 1970.
26. Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.



© 1990 г.

ЛЕРНЕР К. Б.

**К ВОПРОСУ О СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
ЭВОЛЮЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИИ ГРУЗИНСКОГО ЯЗЫКА)**

Восходящее еще к античной философской мысли представление о социальной природе языка в конце XIX — нач. XX вв. (в значительной мере в результате сближения и взаимодействия с недавно возникшей социологией) формируется в особое лингвистическое направление, известное как французская социологическая школа.

Так, А. Мейе, сочетая традиции французского историзма и просветительства с методологическими установками позитивистской социологической теории (Ж. Тард, Э. Дюркгейм), выдвигает программу изучения социальной сущности языка, описания механизма влияния социума на язык и предполагает установление общих, возникающих вне системы языка закономерностей, регулирующих его функционирование и эволюцию. При этом как в предлагаемой иерархии условий изменения языка, так и в самом направлении поиска причин его социо-коммуникативной стратификации и изменения явно ощущается примат социального. Даже самые общие структурные закономерности — фонетические, морфологические..., — «выходящие за рамки одного языка и в равной мере касающиеся всех языков» [1, с. 11], составляющие, по словам А. Мейе, «лингвистическую реальность» языка, не способны служить причиной его изменения. Закономерности этого порядка определяют конкретный характер протекания процессов языкового изменения, но «недостаточны для объяснения какого-либо факта; они выражают лишь постоянные условия» [1, с. 15—16]. Истинные причины, «переменные условия», которые «делают возможными или вызывают реализацию» системных языковых процессов разного уровня и масштаба, лежат, по утверждению А. Мейе, исключительно в области социального. Поэтому «единственный переменный элемент, к которому следует обращаться при объяснении языкового изменения, — это изменение социальное» [1, с. 17].

А. Мейе постулирует жесткую зависимость языка от социума и требует определить, «какой социальной структуре соответствует та или иная языковая структура... как проявляются изменения социальной структуры в изменении языковой структуры», хотя и отмечает необходимость соответствия социально детерминированных изменений потенциальным структурным тенденциям языка [1, с. 17].

Допуская возможность «непосредственной и прямой» связи языковых изменений с социальными, французский лингвист все же далек от упрощенной интерпретации этой связи, поскольку понимает языковое изменение как «чаще опосредованный и непрямой» результат социального изменения. И тем не менее он предполагает, что «каждая социальная дифференциация может отражаться в дифференциации лингвистической» [2, с. 116]. При этом А. Мейе стремится установить социальные группы, находящие параллель в дифференциации языка, и называет самые разнообразные по

характеру и социальному статусу группы — от древнеиндийских каст до «буржуазии и рабочих современного большого города», обладающие «особыми языками» [2, с. 116—117]. Таким образом, А. Мейе оперирует понятием социальной группы как носителя лексической дифференциации языка и при этом в выделении групп склоняется к тому, что условно может быть названо «социально-экономическим» принципом.

Вместе с тем уже из положений Мейе вытекает одна из важнейших задач современной социально ориентированной лингвистики — задача установления тех ячеек микроструктуры общества, которые оказываются релевантными с точки зрения социально-коммуникативной стратификации языка и эволюции элементов его структуры, тех звеньев, «в которых реально и протекает языковая жизнь человека и которые занимают промежуточное место между национальным языковым единством и языковой индивидуальностью» [3].

Понятие социальной группы как коррелята синхронной стратификации языка, охватывающей не только лексической, но и другие уровни языковой структуры, становится одним из основных в различных направлениях американской социолингвистики второй половины XX в. (4—9). В испытывавшей заметное влияние социологии малых групп американской социолингвистике распространяется предположение о строгой взаимной приуроченности языковых и социальных различий между носителями языка как представителями определенных социальных групп (что нашло наиболее яркое выражение в теории ковариирования Бернштейна). Предполагалось, что так называемые «лингвистические переменные» могут служить четким индикатором социальной принадлежности говорящих. И хотя многие социолингвисты в США (Лабов, Фишман...) в конечном счете не приняли теорию Бернштейна, тем не менее У. Лабов апеллирует к понятию «социально-экономического класса», определяющему однозначно языковое поведение говорящих [7, с. 156], а Фишман говорит о языке «высших и низших сословий».

В современной советской социолингвистике, исходящей из признания особой социальной сущности языка, который «не входит в явления базиса или надстройки и должен быть отнесен к более широкому понятию духовной культуры» [10], справедливо отмечается снижение уровня языковых различий, обуславливаемых постоянным социальным статусом говорящих [11]. На первый план выдвигается понимание «речевой общности», предполагающей группу людей, объединяемых на основе переменных (культурных, демографических, профессиональных, ситуационных) социальных параметров и использующих какую-либо форму речи [12]. Предлагается также понятие «речевого коллектива», «отличающегося от других не инвентарем языковых единиц, а их употреблением в речи» [13] или же предполагающего различия «как по набору активно используемых средств, так и по характеру их употребления в речи» [14].

Понимание речевого коллектива, характеризуемого в том числе и «набором активно используемых средств», — оказывается продуктивным и при описании внутривидовых процессов, протекающих в условиях интенсивного культурно-языкового контакта. В рамках отдельных социальных групп, в наибольшей степени вовлекаемых в процесс культурно-ареального языкового взаимодействия и в силу определенных социально-культурных, профессиональных и прочих признаков составляющих особые речевые коллективы, формируются новые коммуникативные потребности, находящие ту или иную конкретную языковую реализацию. В частности, как показывает анализ с этой точки зрения пятнадцативековой ис-

тории грузинского литературного языка, входившего в разные культурно-языковые ареалы и с той или иной степенью интенсивности контактировавшего с разноструктурными языками, объединяемая общими профессиональными языковыми интересами группа книжников — переводчиков, представителей эллинофильской литературной школы (XI—XII вв.) или ориентированные на русско-европейский культурно-языковой ареал нормализаторы литературного языка в XVIII в. выступают в роли носителя такого лингвистического механизма освоения культурно-языковых потоков, как целенаправленная реинтерпретация тех или иных технических средств воспринимающего языка.

Возникающая таким образом инновация контактного порядка может соответствовать потенциальным возможностям системы, внутренним тенденциям ее развития, как бы «упреждая» их. Формируясь поначалу в рамках той или иной социальной группы, новая коммуникативная потребность и ее языковая реализация по мере актуализации для все более широких групп носителей, охватывая билингов, а затем и всех носителей, постепенно становится фактом общенационального языка. В таком случае социальная группа, в рамках которой возникает подобная инновация, выступает в роли «катализатора» развития системы языка, оказывается той лингво-социальной группой, «в которой перекрещиваются линии развития общества и языка» [15, с. 8].

В иных случаях возникающая в результате контактной реинтерпретации инновация оказывается чуждой системе данного языка или эквивалентной функционирующему в языке средству, в течение определенного времени оставаясь лишь маркером того или иного речевого коллектива, того или иного функционального стиля, и в конечном счете отвергается эволюционирующей системой языка..

Ниже на материале грузинского литературного языка рассмотрены обе названные возможности реинтерпретации.

Функционирующая в современном грузинском языке синтетическая форма степени качества с формантом *и-es* в картвелологии трактуется не однозначно. С одной стороны, предполагается, что «в грузинском языке есть лишь одна форма, обозначающая свойство предмета в большей степени, чем положительная. Это форма элитива — *цргоიЫШ* [16]. С другой стороны, признается, что «для грузинского языка характерно образование степени сравнения качества посредством префикса *и-(hu < хи-)* и суффикса *-es...* Эта форма в одних случаях имеет значение сравнительной, а в других — превосходной степени» [17]. Различия в семантической квалификации данной формы объясняются как преимущественным вниманием исследователей к разным этапам ее исторического развития и разным подсистемам грузинского литературного языка, так и завершившимся лишь в последние десятилетия процессом ее узальной дифференциации.

Возможность морфологического выражения степени сравнения исторически отличала картвельские языки от горских иберийско-кавказских, где с этой целью употребляется только синтаксическая конструкция, включающая опорное слово в локативном падеже + прилагательное (наречие) в форме положительной степени [типа: «(от) меня большой»].

В грузинском языке сравнительная степень также выражается аналитически, однако различные хронологические этапы развития грузинского литературного языка отличаются по составу сравнительной конструкции и, соответственно, дистрибуцией древней формы элитива. В древне- и новогрузинском языке в сравнительную конструкцию входила синтетиче-

ская форма элятива: опорное слово в род. // дат. падеже + прилагательное в форме элятива (*udides cemsa* «больше меня»...). В современном грузинском языке прилагательное входит в состав сравнительной конструкции только в форме положительной степени и сочетается с опорным словом в послесложной форме (*cemze didi*, но не *cemze udidesi*). Таким образом, древняя синтетическая форма элятива перестает употребляться в составе сравнительной конструкции, утрачивает способность выражать недифференцированную большую ступень качества и одновременно приобретает значение превосходной степени. Соответственно, в грузинском литературном языке закрепляется синтаксическая модель выражения сравнительной степени, типологически характерная для горских иберийско-кавказских языков.

Важная с точки зрения прослеживаемого процесса реинтерпретации семантическая особенность древнегрузинской формы элятива заключается в присущей ей исторически способности выражать сравнение, отношение двух объектов без актуализации опорного слова. Морфологическое выражение такого соотношения по качеству, естественно, могло сложиться в условиях полиперсональности, охватывавшей, по мнению специалистов, не только глагольную, но и именную систему грузинского языка. Как подчеркивает А. Г. Шанидзе, к моменту возникновения формы элятива «...не было нужды в употреблении соответствующих имен, ибо значение лица выражалось самими формами элятива. Иначе говоря, древние формы \**g-i-did-es-i*, \**m-i-did-es-i*, \**x-u-did-es-i*... на современный язык следует переводить *senze didi* „больше тебя“, *cemze didi* „больше меня“, *masze didi* „больше него“» [18].

Впоследствии в результате нейтрализации противопоставления имен по лицам сохранилась лишь форма третьего лица элятива: (*x*)-*u-did-es-i*, утратившая, естественно, способность самостоятельно выражать соотношение и перенявшая только часть прежнего семантического объема — значение большей степени качества безотносительно к конкретному объекту, т. е. вне прямого сравнения. Это и была фиксируемая в литературе для всего грузинского языка форма именно нерасчлененной большей степени качества, а не собственно сравнительная степень. Однако теперь уже для восполнения утраченной семантики отношения по качеству возникла необходимость в уточняющей сравнительной конструкции, в состав которой и вошла древняя форма элятива. Таким образом, в рамках пока еще одной ступени сравнения на древнейшем документально засвидетельствованном этапе развития грузинского литературного языка сложилась оппозиция между сравнительной конструкцией, содержащей форму элятива и выражающей сравнительную, относительную большую степень качества, и той же формой элятива, употребляемой вне конструкции и выражающей безотносительную большую степень качества (*udidesi cemsa* «больше меня»: *udidesi* «больше»). Морфологическое различие двух степеней сравнения (при возможности лексического выражения семантики суперлятива) оставалось нерелевантным. Описанная дистрибуция соотносительной и безотносительной формы элятива хорошо прослеживается по древнейшим памятникам грузинской оригинальной и переводной агнографической литературы. Ср. форму элятива в сравнительной конструкции: *da ikmna J3<sup>m</sup> uhamovnes yirvelsa mis f<sup>n</sup>isa* [19, с. 169] «И стало вино вкуснее того прежнего вина»; *ucinares sensa sxuata xelmcpeta mtan<sup>es</sup> me* [19, с. 174] «Раньше тебя другие государи мучали меня».

Уточняющая сравнительная конструкция встречается в древнегрузинском языке редко. Чаще употребляется форма элятива вне конструкции.

В частности, в древнейшем, датированном V в. памятнике грузинской литературы — «Мученичество Шушаники» — анализируемая форма встречается еще только изолированно. При этом контекст свидетельствует, что имеется в виду одна, нерасчлененная ступень сравнения, семантически скорее соответствующая сравнительной степени: *xuces, nu m'ime-gin ese, rametu mun igi matli udides ars* [19, с 157] «Отче, не почитай это трудностью, ибо там черви больше». Именно так интерпретирует грузинский элятив К. С. Кекелидзе и с целью уточнения, в переводе памятника на русский язык, вводит опорное слово: «... там черви больше этих». Уточнение может быть дано и непосредственно в контексте: *vidre ukvdavta matla secamasa um'obes ars...* [19, с 157] «Чем быть съеденной теми бессмертными червями, лучше...».

Значение первой ступени сравнения может обуславливаться и более обширным контекстом: *romeli uketes iqos, igi rculi seviavarot* [19, с 185] «Которая лучше (из двух.— Л. К.) окажется, ту веру возлюбим».

Большую сложность представляет семантическая интерпретация той же формы вне конструкции при отсутствии указаний контекста: *razams ixilnes mocapeni netarisa grigolisani upicxlesa monazonobisa kanonsa...* [19, с 259] «Как увидели ученики блаженного Григория в более усердном (усерднейшем?) исполнении канонов монашеских...». Следуя семантической модели ЯП и сообразно нормам уже современного грузинского языка, К. С. Кекелидзе в ряде случаев переводит изолированно употребленный древнегрузинский элятив посредством превосходной степени: *da vitarca a'vedit umaylesta adgilita* [19, с. 226] «как взошли на самую выс-окую вершину». Однако семантическая структура древнегрузинской категории степени сравнения не дает оснований для подобной дифференциации. Неслучайно поэтому тот же переводчик ту же словоформу, но в ином контексте интерпретирует как положительную степень: *borcuasa mas zeda uma'les-sa ayasena* [19, с 229] «Возвел на высокой горе».

Нерелевантность различения двух степеней сравнения в древнегрузинской языке, очевидно, вытекает не только из возможности употребления одной и той же грамматической единицы как в составе сравнительной конструкции, так и вне ее, но и наиболее наглядно — из древнегрузинских переводов с греческого. Здесь:

1) сравнительная степень оригинала переводится а) сравнительной конструкцией: *Ti Y\*P ΓΒ'COV T) ауштером той Куртахоо ащрихто?* [20, с. 969] *uprojs ars anu ucmindes uplisa guamisa* [21, с 51] «что больше ИЛИ святее тела Христова»;

б) изолированной формой элятива: *Ti rcpuhov ioxi* [20, с. 945] *romeli ucinares ars* [21, с. 43] «который ранее»;

2) формы сравнительной и превосходной степени в одном предложении переводятся сравнительной конструкцией: *m\ |xovm tva II-T, бвиперо? sxebwv gv -tote fiejaioici cpaIMTjaI* [20, с 845] *rata ara unaklules matsa umbobessa mas gamocndes* [21, с 11] «дабы не меньше их, больше него появился»;

3) превосходная степень переводится одиночным элятивом: *(wZic-roc oc Корю? stpKjev* [20, с. 920] *uprojs^a, rametu upalman tkua* [21, с. 20] «больше, ибо владыка рек».

Таким образом, весьма интенсивные культурно-литературные контакты с греко-византийским миром оказались недостаточным фактором для формирования, оппозиции сравнительной и превосходной степеней, хотя бы в рамках переводной литературы и, соответственно, профессиональной группы билингвов-переводчиков.

Принципиально новый этап в интерпретации рассматриваемой оппозиции связан с именем известного общественного деятеля Грузии второй пол. XVIII в. католика Антония I. Предпринятая им первая в новое время попытка реформы «грузинского литературного языка» претерпевшего в эпоху средневековья заметное восточное влияние и нуждавшегося в упорядочении норм и стилей, знаменовала окончательный сдвиг в культурно-политической ориентации Грузии, избравшей курс на сближение с Россией и (через Россию) с европейской культурой. Написанная по образцу грамматик ряда индоевропейских языков, «Грузинская грамматика» Антония I, наряду с другими новшествами, содержала попытку формализации различия двух степеней сравнения. Автор предлагает искусственную синтетическую форму превосходной степени: *u-u-ket-es-i* и т. п., а древний элятив трактует как собственно сравнительную степень, которая «... выражает свойство предмета сравнительно с другим предметом: *u-keit-es-i* „лучше“, *u-borot-es-i* „злее“... Превосходная степень выражает превосходство предмета над другими предметами: *u-u-keit-es-i* „наилучший“, *u-u-borot-es-i* „злейший“...» [22, с. 67–68].

Грамматика Антония I была ориентирована на «высокий стиль», в то время как «средний и, особенно, низкий стили для него существовали лишь теоретически» [23]. Искусственная форма суперлятива также предполагалась как элемент «высокого стиля», который «состоит из избранных и сладких речений и понятен не всем, а только... мужам ученым» [22, с. 183].

Таким образом, круг «ученых мужей», к которому принадлежал и сам реформатор и которому он адресовал свою инновацию, в данном случае выступал не только как социальная группа, способная «санкционировать, принимать или отвергать те или иные варианты языковой техники» [15, с. 7], но и как инициатор нового средства языкового выражения. Однако явно узкий состав этой социальной группы, в наибольшей мере вовлеченной в процесс культурно-ареального языкового взаимодействия и ощутившей потребность в реинтерпретации одной из грамматических категорий родного языка, оказался недостаточным фактором социализации новой, сформировавшейся в рамках одной группы коммуникативной потребности. Искусственная форма превосходной степени на протяжении более ста лет оставалась фактом грамматической традиции, sporadически употреблялась в письменной речи образованной части грузинского общества, но широкого распространения в грузинском языке не получила. Лишь на уровне потенции системы языка оставалась и сама возможность различия двух степеней сравнения.

Во второй половине XIX в. по инициативе лидеров национально-демократического движения, европейски образованных грузинских шестидесятников осуществляется коренная реформа грузинского литературного языка, проводимая под лозунгом демократизации последнего. Реформаторы не приняли искусственной формы элятива, более того, не получила права гражданства и сама оппозиция двух степеней сравнения. Классики новогрузинского языка, по крайней мере, в художественном творчестве, следуя древней норме, употребляют форму элятива и в составе сравнительной конструкции, и вне ее (ср.: *amaze uidesi panatikosoba...* «фанатизм больше этого...» и *danarzeni naciliki kartuli sitqvebisa isivele% droisani arian* «Остальная часть грузинских слов относится к более древнему // древнейшему времени»). При этом грузинским писателям была известна, конечно, искусственная форма Антония I. Субъективно они ощу-

щают потребность и возможность дифференциации двух степеней сравнения, но названную форму, предназначавшуюся Антонием I для ограниченной группы «ученых мужей», в значении суперлатива они употребляют лишь как особое, несущее экспрессию стилистическое средство (*ver gaakmendinebs xmas im ucumindes gršnobas...* «Не заставит умолкнуть то **святейшее** чувство...»).

В дальнейшем, по мере возрастания интенсивности культурно-языковых контактов с Россией, неуклонно расширяется круг авторов, для которых строгое различие двух степеней сравнения становится релевантным. Наметившееся еще в древнегрузинском языке противопоставление двух семантических типов сравнения (в рамках единой, большей степени качества) в ряде социо-коммуникативных подсистем литературного языка (в первую очередь, в речи билингов, в языке прессы и переводной литературы) все чаще осмысливается как оппозиция между сравнительной и превосходной степенью. При этом искусственная форма с аффиксом *и-и...-es* все же отвергается, исконная форма элятива приобретает значение превосходной степени и утрачивает способность включаться в сравнительную конструкцию. (Одновременно, как было сказано, трансформируется и сама сравнительная конструкция). Складываются два способа выражения сравнительной степени. С одной стороны, утверждается типичная для горских иберийско-кавказских языков отлагательная конструкция (*udidēs cemsā — ^cemze didi* «больше меня» → «меня большой»). С другой — активизируется модель, возникшая еще в древнегрузинском языке в результате морфологизации (и усечения) одной из форм элятива (*uprojs — > upro* «более»; *uprojs udidēs — > upro didi* «более больше» → \* «более большой»). Однако процесс этот еще в первой трети XX в. нельзя считать полностью завершившимся и охватившим весь грузинский язык, что и обусловило различную трактовку традиционной формы элятива в грузинской лингвистической литературе первой половины XX в.

Колебания в семантической интерпретации формы элятива нашли отражение, в частности, в восьмитомном «Толковом словаре грузинского языка» (1950—1964 гг.).

Так, формант *и-и...-es* в специальной статье трактуется как показатель превосходной степени, но толкования 87 словформ с этим аффиксом (очевидно, в зависимости от особенностей иллюстративного материала) распадаются на три группы.

I. Форма элятива понимается как превосходная степень с двумя возможными семантическими нюансами: *ubr^nesi* «мудрейший, мудрее всех» (*ubrinesī darigeba* «Очень мудрое // мудрейшее наставление»); *umoklesi* «самый короткий» (*umokles istoriul vadasi* «В самый короткий // кратчайший исторический срок»). Все словарные единицы этой группы поясняются примерами из языка переводов или прессы XX в., где встречается только одиночная форма элятива вне конструкции.

II. Одной и той же словарной единице приписывается одновременно значение превосходной и сравнительной степени: *umcaresi* 1. Очень горький, горше всех; 2. Горше (*uayresi da umcaresi simcuxare* «Глубочайшая и очень горькая печаль»; *verc enaze umcaresi moišev kve^anaze* «Нет ничего в мире горше // острее языка»).

III. В самой малочисленной группе одиночные формы элятива, не поясняемые иллюстративным материалом, толкуются как формы сравнительной степени (*umetesi* «более много // больше», *ucxadesi* «более ясно // яснее»).

«Грузинско-русский словарь» (К. и А. Датикашвили, Тбилиси, 1967)

в отличие от «Толкового словаря» интерпретирует формант *-...-es* как «показатель сравнительной и превосходной степени», в толкованиях повторяет двойственные дефиниции одноязычного словаря, но в тех случаях, когда соответствующая форма в одноязычном словаре отсутствует, неизменно дает лишь значение превосходной степени (*udablesi* «нижайший», *ugonieresi* «разумнейший»).

Завершение процесса реинтерпретации древней формы элитива и перераспределения средств выражения степеней сравнения зафиксировано в трехтомном «Русско-грузинском словаре» (Тбилиси, 1957—1959). Здесь уже превосходная степень русского языка регулярно переводится посредством одиночной формы (*ближайший — uaxloesi*, *кратчайший — utoklesi*). Сравнительная же степень передается исключительно конструкцией, включающей прилагательное в положительной степени и квантификатор *upgo* «более (*отвертительнее — upro sa%ageli*, *дороже — upg iviri*).

Оппозиция между описательной сравнительной степенью и синтетической превосходной степенью стала фактом всех функциональных стилей современного грузинского литературного языка.

В научной литературе (нами с этой целью проанализировано более 20 специальных монографий по разным отраслям знания) традиционная форма элитива имеет значение только превосходной степени, а сравнительная — выражается конструкцией (*um%lavresi* «мошнейший», *umsublikesi* «легчайший», но *amazet%lavri II upro m%lavri* «мошнее, букв. мощный этого//более мощный»; *adrindelzet msubuki II upro msubuki* «легче, букв. легкий прежнего // более легкий»).

В переводах русской превосходной степени также соответствует синтетическая форма степени (*огромнейшее большинство — udidesi umravlesoba*, *богатейшая добыча — umdidresi nadavli*). Сравнительная степень передается только описательно (*более высокая форма — upro mafali porma*).

Та же норма действует в языке прессы, где синтетическая форма степени в сравнительной конструкции не употребляется (*umciresi kamera*, *romelic qvelaze mcirea msopliosi ...* «Наименьшая камера, которая является самой маленькой в мире...»).

Прослеживаемый нами процесс дифференциации нашел отражение и в современной художественной литературе. В частности, в романе Ч. Амирэджиби «Дата Туташхия» форма древнего элитива в сравнительной конструкции выступает в роли своего рода социолингвистического маркера. /В тех пассажах романа, которые по сюжету являются скрытым переводом, т. е. имитируют ведущиеся на русском языке беседы и монологи персонажей, фигурируют только одиночные формы синтетического элитива, употребляемые в значении превосходной степени (*tkveni cilevelesi mizania ...* «Ваша первейшая цель...»; *erterti urtulesi ubani ...* «Один из сложнейших участков...»). Четко различают две степени сравнения в собственно грузинской речи и персонажи, представляющие просвещенную часть грузинского дореволюционного общества (*...uganatllebules pivnebad ivlebeda* «... считался просвещеннейшей личностью»). Лишь в речи крестьян автор сохраняет старую сравнительную конструкцию с элитивом (*senze uketes da ulamazes ras naxavs adamiani* «Что лучше и краше тебя есть в этом мире»).

В современном грузинском языке названная конструкция, по нашим наблюдениям и записям образцов разговорной речи, целиком оказывается за пределами нормы и чрезвычайно редко встречается в речи монолингвов как внелитературный факт (ср.: *amazet ulamazesi gogo or daiareboda* «Кра-



сивее ее не было» (при норме — *amazē lamazi*); *es cxhe švelze uzvelesla* «Эта крепость древнее древней»).

"Весь процесс реинтерпретации системы ступеней сравнения и преобразования средств ее выражения (минуя отвергнутую языком искусственную форму) можно представить в виде таблицы.

Древнее положение частично сохраняется в супплетивных формах, где за формантом *u-...-es* закрепляется значение сравнительной степени,

	Реконструируемое состояние	Древне- и новогруз. язык		Совр. груз. яз.	
Относительная большая степень	* <i>m-i-did-es-i</i> «больше меня» * <i>g-i-did-es-i</i> «больше тебя» * <i>h-u-did-es-i</i> «больше него»	Безотносительная большая степень	<i>u-did-es-i</i> «больше»	Превосходная степень	<i>u-did-es-i</i> «наибольший» (или): <i>qvelaze didi</i> «больше всех»
		Относительная большая степень	<i>cemze u-did-es-i</i> «больше меня» <i>cenze u-did-es-i</i> «больше тебя» <i>masze u-did-es-i</i> «больше него» (а также): <i>upro udidesi</i> «более больше» и <i>qvelaze udidesi</i>	Сравнительная степень	<i>cemze didi</i>  <i>senze didi</i>  <i>masze didi</i>  (или): <i>upro didi</i> «более большой»

а превосходная степень образуется по иной, действующей в языке дери-вационной модели (*kargi—u-keť-es-i — sa-u-keť-es-o* «хороший — лучше-наилучший»).

О характере и некоторых закономерностях взаимодействия потенциальных возможностей развития системы языка и «социального давления» с большей ясностью позволяет судить краткое сопоставление с иным, но в чем-то сходным процессом, имевшим место в истории грузинского литературного языка. Мы имеем в виду попытку выражения грамматического рода в грузинском.

Древнегрузинские книжники раннего периода (V—X вв.) не ощущали необходимости в передаче категории грамматического рода греческого языка. Необходимая точность достигалась путем подбора эквивалентов в грузинском языке, располагавшем средствами лексического выражения пола одушевленных существительных.

Со второй половины XI в. Гелатская (петриционская) школа, стремившаяся в своей переводческой деятельности к максимальной точности и близости к оригиналу, предпринимает попытку морфологического выражения женского «рода» (фактически — женского пола). Так в переводах появляются формы с суф. -а (*мер-а* «царица», *ebrael-a* «еврейка», *тохисеул-а* «старуха» [24, 25]. Исследователи по-разному трактуют генезис форманта: одни считают его греческим заимствованием [24], другие предполагают его исконно грузинское происхождение [26].

Учитывая присущую Гелатской школе тенденцию к «расширению дистрибуции того или иного аффикса» и «исключению комбинаций гру-

зинских корневых морфем с иноязычными (греческими) аффиксальными морфемами» [27], в данном случае также следует усматривать функциональную реинтерпретацию грузинского грамматического элемента. Маркирующая женский пол функция форманта *-a-* представляет собой попытку морфологизации присущей грузинскому языку тенденции к лексической маркированности существительных женского пола — в грузинском языке «слова феминизируются, а не маскулизируются» [26]. В этой функции мог быть реинтерпретирован входящий в активный морфологический инвентарь грузинского языка суф. *-я-*, наделенный рядом сходных семантических функций. В частности, данный формант имеет уменьшительно-ласкательное значение, в числительных подчеркивает единичность объекта и, наконец, главным образом в прозвищах, выражает наличие какого-либо особого признака или свойства человека [28]. Возможность прослеживаемой реинтерпретации наиболее очевидно вытекает из зафиксированной в месхско-джавахском диалекте функции этого аффикса, где он маркирует именно женский пол — в сочетании с суффиксом происхождения обозначает территориальное происхождение замужних женщин (*сисх-ul-a* «женщина из д. Чунча»). В настоящее время подобное образование вытесняется нейтральной с точки зрения пола моделью *сисх-el-i*. В западнотуркских диалектах то же окончание *-a-* маркирует девичью фамилию замужних женщин.

Традиция образования форм с окончанием *-a-* в роли показателя жеского «рода» (пола) продержалась в теософско-философской литературе вплоть до XIII в. В XVI—XVII вв. о формах «рода» знали только ученые-книжники, но ни в оригинальных сочинениях, ни в переводах эти формы не употреблялись.

В середине XVIII в. Антоний I в рамках проводимой реформы грузинского литературного языка стремится найти известным ему из древних памятников формам женского «рода» структурное место в системе грузинского языка. Комбинируя релевантные для грузинского языка признаки (семантические) классификации существительных, Антоний конструирует смешанную морфо-семантическую парадигму «рода», которая призвана охватить все существительные грузинского языка и включает четыре «рода» — мужской, женский, средний и общий. При этом специфична для грамматической системы грузинского языка оппозиция по признаку человек / не человек фактически нейтрализуется (в «мужской род» входят, например, и существительные, обозначающие мужчин, и существительные, обозначающие животных мужского пола). И хотя каждый «род» выделяется на основе определенного сочетания таких семантических признаков, как пол, одушевленность/неодушевленность, человек/не человек, морфологически маркированной остается только часть слов, включаемых в «женский род», — как и в древнегрузинском языке, маркируются существительные, обозначающие женщин.

Возникшая таким образом искусственная парадигма рода, отражающая языковые установки Антония I и его последователей, широкого распространения в языке не получила и на протяжении века сохранялась в грузинской грамматической традиции, повторяясь почти во всех грамматиках грузинского языка, написанных на основе грамматики Антония.

В XVIII—XIX вв., в период возраставших культурно-языковых контактов с Россией, возникают новые формы с окончанием *-a-*, употреблявшиеся преимущественно в речи расширяющегося слоя лиц, приобщившихся к русской культуре и науке [24, с. 99]. Теперь уже формант *a* и м ст в у е т с я в составе целых лексических единиц (*monaxin-a*,

*imperatric-a*), но все еще изредка присоединяется и к исконным лексемам (*^mert-a* «богиня», *Uartvel-a* «грузинка».) Со второй половины XIX в., в эпоху становления новогрузинского литературного языка, резко ограничивается возможность образования от исконных лексических единиц форм «рода», не принятых нормализаторами. Вместе с тем в грузинский литературный язык проникает большое количество заимствований, в том числе интернационализмов, с окончаниями *-a-*, *-ция-*, которые уже не интерпретируются как формы женского рода, а включаются в разряд естественных для грузинского языка имен с основой на *-a-*.

Тем не менее формы с окончанием *-a-* (помимо заимствований) sporadически сохранялись в грузинской речи лиц, владеющих русским языком, вплоть до 20-х годов XX в. и были упразднены специальной орфографической комиссией, «как не соответствующие природе грузинского языка».

Итак, трансформация двухступенчатой системы выражения степеней сравнения в трехступенчатую соответствовала внутренним тенденциям развития самой системы грузинского языка и вместе с тем была стимулирована культурно-социальными факторами. С другой стороны, классификация имен по грамматическому роду, очевидно, оказалась функционально эквивалентной действующей в грузинском языке классификации по иным признакам (одушевленность/неодушевленность и человек/не человек) и к тому же предполагала вытеснение существенной для грамматической системы грузинского языка оппозиции по признаку человек/не человек.

Таким образом, можно постулировать некоторые закономерности культурно-ареального взаимодействия языков.

1. В рамках ограниченной социальной группы может возникать потребность в новых средствах языкового выражения. В частности, носители координативного билингвизма могут быть наделены способностью воспринимать ту или иную категорию родного языка как вариант некоторой инвариантной (или ареально-инвариантной) языковой категории или просто ощущать недостаток в какой-либо категории.

2. Порождаемая таким образом интенция может реализоваться в reinterpretации существующей подсистемы языковой структуры, что ведет или к трансформации функционирующей подсистемы, или приводит к попытке введения в язык новой категории.

3. По мере распространения возникшей в одной из социальных групп контактной инновации (или потребности в подобной инновации) на другие группы носителей язык подвергается новообразования коррекции и изыскивает органические средства выражения. При этом явно искусственные по форме или вовсе чуждые структуре языка единицы отвергаются.

4. Порождаемые в результате взаимодействия культурно-социальных факторов, социальных (по терминологии А. Мейе — «переменных») условий с языковой структурой новообразования закрепляются в языке при соответствии социально обусловленной коммуникативной потребности имманентным тенденциям и потенции структуры языка.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Meillet A. Etudes de la linguistique generatee* // *Meillet A. Linguistique historique et linguistique generatee*. II ed. P., 1926.
2. *Meillet A. Linguistique* // *De la methode dans les sciences*. II. P., 1911.
3. Семьдесят лет советского языкознания // ВЯ. 1987. № 5. С. 6.

4. *Брайт У.* Введение: Параметры социолингвистики // Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975.
5. *Gumperz J. J.* Types of linguistic communities// Readings in the sociology of language / Ed. by Fishman J. A. Mouton, 1970.
6. *Hymes D.* The ethnography of speaking//Anthropology and human behaviour. Washington, 1962.
7. *Labov W.* The social stratification of English in New York City. Washington, 1966.
8. *Labov W.* The study of language in its social context // Advances on the sociology of language / Ed. by Fishman I. A. Mouton, 1971.
9. *Лабов У.* О механизме языковых изменений // Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975.
10. *Федосеев П. Н.* Некоторые вопросы развития советского языкознания // Теоретические проблемы современного языкознания. М., 1964. С. 34.
11. *Крысин Л. П.* К социальным различиям в использовании языковых вариантов // ВЯ. 1973. № 3. С. 40.
12. *Никольский Л. Б.* Синхронная социолингвистика. М., 1976. С. 48.
13. *Швейцер А. Д.* Современная социолингвистика. М., 1976. С. 32.
14. *Крысин Л. П.* Социолингвистическое исследование вариативности современного русского литературного языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1981. С. 5.
15. *Журавлев В. К.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982.
16. *Шанидзе А. Г.* Основы грамматики грузинского языка. Тбилиси, 1973. С. 140 (на груз. яз.).
17. *Чикобава А. С.* Грузинский язык// Языки народов СССР. Т. IV. М., 1967. С. 37.
18. *Шанидзе А. Г.* Показатель лица в склоняемых именах // Тр. Тбилисского гос. ун-та. 1936. Т. I. С. 338 (на груз. яз.).
19. Памятники древнегрузинской агиографической литературы (V—X вв.). Тбилиси, 1963 (на груз. яз.).
20. *Migne J. P.* In Antonii vitam monitum // Patrologiae Graeca. Т. XXVI. 1857.
21. Житие Антония / Изд. Имнашвили В. И. Тбилиси, 1971 (на груз. яз.).
22. *Антоний I.* Грамматика // Институт рукописей им. К. С. Кекелидзе АН ГССР. Н—22—56 (на груз. яз.).
23. *Бабунашвили Е. А.* Антоний I и вопросы грамматики грузинского языка. Тбилиси, 1970. С. 237 (на груз. яз.).
24. *Данелия К. Д.* Попытка выражения грамматического рода в грузинском литературном языке // Изв. АН ГССР. Серия языка и литературы. 1986. № 4. (на груз. яз.).
25. *Сарджвеладзе З. А.* Введение в историю изучения древнегрузинского литературного языка. Тбилиси, 1984 (на груз. яз.).
26. *Дондуа К.* Феминизирующий гласный в грузинском // Дондуа К. Избр. соч. Т. IV. Тбилиси, 1967.
27. *Меликишвили Д. Н.* Гелатская литературная школа и становление грузинского философского языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Тбилиси, 1988.
28. *Джорбенадзе Б. А., Кобаидзе М. И., Беридзе М. М.* Словарь морфем и модальных элементов грузинского языка. Тбилиси, 1985. С. 14—15 (на груз. яз.).

© 1990 г.

МОЛЧАНОВА О. Т.

**МОДЕЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИМЕН В ТЮРКСКИХ  
И ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ**

Предлагаемая статья посвящена исследованию топонимообразования, в котором синхронный срез тюркских географических имен (ГИ) Горно-Алтайской автономной области взят в качестве общего фона с последующим наложением на него топонимов индоевропейских языков.

Выделив из всей собранной топонимии (7400) Горно-Алтайской автономной области тюркскую (3143) с ее четким агглютинирующим типом словообразования и словоизменения и только наметившейся фузиональной тенденцией [1], мы получили возможность объяснения фузиональных явлений, имеющих место в наименованиях, образованных морфологически в аналитических языках [2]. Для тюркских языков, в отличие от индоевропейских, характерно не периферийное положение имен по отношению к ядру системы, а нахождение их внутри или вблизи ядра [3, с. 17]. Открытая семантическая структура тюркских ГИ, в отличие от индоевропейских, где топонимикой составляется в основном единицами с закрытой семантикой, позволяет проследить пути становления и развития ономастической системы в целом, а потому тюркские языки оказываются ключом к решению ряда спорных общеметодологических вопросов ономастики и лексики вообще.

Со стороны своих словообразовательных моделей, содержательных структур, грамматического оформления, функциональной нагрузки и т. п. ономастиконы в различных языках обладают как генетической, так и типологической конвергентностью, изучение которой ведет через эмпирические наблюдения к выводам о лингвистической и экстралингвистической заданности имен. Некоторые из подобного рода заключений уже прочно утвердились в науке, другие носят поисковый характер, поиск присутствует в разных частях настоящего исследования, поскольку широкое сопоставление тюркской топонимии с индоевропейской проводится впервые. Сделанные обобщения исходят как из информации, собранной на материале одного языка (алтайского с его диалектами), нескольких тюркских, зафиксированных в топонимии исследуемой территории, монгольских и русского этого же региона, так и других языков Западной Сибири, а также ряда европейских в рамках некой общей схемы предположений. Предполагаем, что каждый язык имеет свою словообразовательную систему в топонимии, свою иерархию топонимических моделей. Последние мобильны, зависят как от конкретной языковой ситуации, так и от того, в каком знаковом качестве предстает топоним (актуализированном или виртуальном). С семиотической точки зрения язык не является однородным механизмом, как не является однородным механизмом его ономастикой со всеми словообразовательными типами. Предполагаем, что объективно существует в топонимике воздействие знаковой комбинации на семиотическое значение ГИ и наблюдается корреляция формаль-

ных словообразовательных моделей с их семиотическими стратами [4]. Допускаем, что существуют тенденции, которые делают результирующую словообразовательную модель предсказуемой как в общих, так и специфических чертах, потому что все языки работают в направлении идентичной цели — создания оптимальной модели ГИ. Результирующая топонимическая модель может быть предсказана, с одной стороны, ее инициальной формой, с другой, — теми тенденциями развития, которые четко продемонстрированы в других языках, например, целым комплексом средств перехода топонимов от семантически прозрачных к неясным, что отчетливо выявляется в топонимии европейских языков. Видимо, чтобы восприниматься как имя собственное (ИС), звуковой комплекс с самого начала должен быть узнаваемым по трем признакам, а именно: 1) по определенной семантике, обеспечивающей его полную семантическую автономии (А. М. Скляренко [5, с. 63] называет этот процесс интертопонимической дивергентностью), которая не позволяет устанавливать семантические связи с остальным текстом (случаи с именами, имеющими открытую семантическую структуру, как в тюркских языках), или отсутствию на синхронном срезе семантической структуры (имя — асемантический закрытый комплекс), как это наблюдается в большей части английских имен, 2) по словообразовательной модели (этим объясняется его формульность), 3) по грамматической оформленности (собственный грамматический признак). Каждый из этих трех основных признаков имеет более развернутые объяснения и уточнения типа: человек хранит в памяти некий набор готовых ИС, ему не обязательно каждый раз выполнять ряд мыслительных процедур, чтобы осуществить превращение апеллатива в оним; выветривание семантики в ИС происходит быстрее, чем в нарицательной лексике, вместе с тем в большинство ИС заложена через семантику исходных апеллативов известная информация о денотате, которая лучше передается и удерживается двухкомпонентной моделью; в ИС постоянно существует противоречие между формой, содержанием и назначением и т. п.

Словообразование в сфере ГИ предлагает ряд закономерностей, которые рассматриваются с точки зрения их взаимодействия с закономерностями словообразования вообще. При этом уместно подчеркнуть несколько общих положений.

Во-первых, о смысле, вкладываемом в некоторые термины. Как правило, под топонимобразованием понимается образование топонимов по существующим моделям, построение топонимических единиц из основ слов и аффиксов с опорой на их лексико-грамматические характеристики, при этом одна и та же формальная словообразовательная модель служит выражению самых различных значений и оттенков значений. Соотношение частей языковой единицы, которое во многих работах принято называть строением или структурой, нами никак терминологически не выделено, но под структурой понимается морфемное членение слова, а потому структура исключается из раздела словообразования, но сохраняется в грамматике. В рамках словообразования нами выделяются типы, модели, основы, форманты, в грамматике — классы, категории, формы, структуры и т. п.

Во-вторых, анализ тюркской топонимии показал, что в ряде случаев оказалось невозможным определить при отсутствии географического нomen (ГН), что первоначально получило имя: река или лог, гора, речка или долина и т. п. Например, *Азалу* «со злым духом» — так названы лог, река, стоянка; *Аснакму* «имеющий осины» — имя трех рек, долин;

*Ббрулу* «с волками» — так названы река, ручей, гора, населенный пункт. Именно поэтому первоначально понадобилось провести словообразовательный анализ без учета родов географических денотатов, а затем дифференцировать по родам объектов. В общем обзоре не учитывались повторяющиеся и перенесенные имена, в дифференцированном такой учет был произведен. Безусловно, анализ форм с ГН четко выявляет процессы словообразования и семантики, но не всегда. Поясним это на примере: река, озеро, лог названы *Баатыр-Көл* «богатырь-озеро». Совершенно очевидно, что первоначально имя получило озеро, затем река, которая из него вытекает, и лог, по которому эта река течет. В двух последних случаях (река, лог) мы имеем дело с оттопонимическими асемантичными дериватами, и только относительно озера можно проводить компонентный анализ семантической структуры и давать словообразовательную характеристику топониму *Баажыр-Көл*.

В-третьих, в тюркской топонимии Горного Алтая выделяются неаффиксальный и аффиксальный способы топонимообразования. Неаффиксальный, в свою очередь, объединяет лексико-семантический и лексико-синтаксический типы. Некоторые авторы делят топонимы по способу образования на два типа: морфологические и синтаксические. Указанное деление не охватывает все тюркские топонимы, то же касается конверсии, поэтому о лексико-семантическом способе топонимообразования можно говорить как об общем для всех одноосновных безаффиксальных форм ГИ, считая, что здесь имеет место топонимизация (субстантивация 4-4- топонимизация для части словоформ), сопровождающаяся определенными изменениями значения исходного (=мотивирующего) слова.

В-четвертых, при аффиксальном способе словообразования важен характер значений аффиксов, что в конечном итоге обуславливает семантическую связь производящего и форманта, а также формальную организацию производного с непредсказуемыми синтагматическими свойствами производящего элемента.

В-пятых, сам механизм возникновения отапельлятивных ГИ — это имплицитное лексико-семантическое, лексико-синтаксическое топонимообразование и эксплицитное словопроизводство, выражающееся в топонимизации простых и сложных нарицательных слов.

В-шестых, введение семантического компонента в эту часть анализа вызвано вполне определенными объективными причинами: для изучения взяты только имена с открытой семантической структурой, они создаются в языке с опорой на лексико-грамматические характеристики мотивирующих основ. Модели топонимов и правила их образования определяются сложными законами, обращенными как к грамматике, так и к лексике. Это относится как к одно-, так и многокомпонентным формам.

Лексико-семантический способ образования ГИ — это топонимизация как основных, так и переносных значений слов (именных и глагольных форм). Под топонимизацией мы понимаем не только «переход имени нарицательного в топоним и его дальнейшее становление и развитие в этом разряде ономов» [6], но и параллельно идущую субстантивацию лексем, приобретение ими характеристик, соответствующих их новому статусу и иному классу слов. Субстантивация (особенно основ слов, имеющих иное, чем субстантивность, категориально-грамматическое значение) обычно сопровождается приобретением нового лексического значения. Группа топонимов, в которых происходит топонимизация основных значений слов, является ведущей. Так, из выделенных в тюркской топонимии Горного

Алтая 70 лексико-семантических полей (ЛСП) топонимизация прямых значений слов распространяется на 49, в подавляющем количестве основу указанной группы составляют личные имена; обозначения рельефа; форма; обозначения водоемов; деревья и лес; звук; этнонимы; различные именованья людей по возрасту, роду занятий, общественному положению; расположение в пространстве, например: *Аржан* «минеральная вода; минеральный» ^> название ручья, *Бортултаг* «та, что бурлит; бурлящая» ^> название реки и т. п.

Третья часть от общего количества безаффиксальных одноосновных топонимов образована через метафору, сравнение, сопоставление, служа доказательством того, что категория экспрессивности является неотъемлемой частью топонимикона, присутствуя как в первоначальном акте дачи имени, так и в дальнейшем его речевом употреблении [7]. В этом случае апеллятивы, став топонимами, утрачивают свои исконные значения и приобретают новые метафорические или метонимические как результат определенных ассоциаций, тотемных культов, обожевления природы, например: *Аба* «отец, батюшка; старший брат; форма почтительного обращения» ^> название реки, *Барлак* «дрозд» —\* маленький, поющий |> ^> название ручья, *Боскун* «бродяга» —> меняющий свое русло > название реки, *Леекен* «росомаха» —.> небольшой, но верткий и быстрый ^> название реки, *Кирее* «пила» —> как пила ^> название скалы, *Тузак* «силок, петля для ловли птиц, зверьков» —> петляющий > название реки, *Учек* «шепотка» —^ небольшой и неполноводный ^> название реки и пр. Следует отметить, что наряду с антропоморфической метафорой, столь обычной в топонимии различных народов, ассоциации фаунистического характера, когда сопоставляется окраска, повадки, нрав, форма, издаваемые животным или птицей звуки с объектом природы, прослеживаются и в других языках: литовском, латышском, древнепрусском [8].

Аффиксация не является ведущей в тюркском топонимообразовании, но она имеет свои особенности, которые следует отметить. Основным аффиксом в топонимии изучаемой территории становится *-л°* (в) и его варианты, имеющий общее значение указателя совокупности или множественности предметов (из 754 производных форм 343 содержат именно его). В одноосновных формах данный аффикс выступает как средство топонимизации с субстантивацией всей аффиксальной словоформы, его функциональная нагрузка увеличивается: *-л°* (к) из словообразующего становится морфологическим средством субстантивации и топонимизации, функционально равным ГН сложных форм: *Букалу* «(река), где имеются быки», *Балтыранду* «(лог), где растет борщевик», *Гыраалу* «(ручей), где есть кустарник» и т. п. Подобные факты находим у Х. Шайнхардта [3, с. 145].

Аффиксы группы *-к* (*-°к*, *-°и*, *-ай*, *-ши*) с общим значением уменьшительности в топонимии Горного Алтая по распространенности занимают второе место (97 из 754 единиц). Если аффиксы группы *-л°* (к) становятся в одноосновных формах субститутами ГН, то аффиксы группы *-к* оказываются субститутами адектива «малый». Разница между ними заключается еще и в том, что топонимизация апеллятива посредством нейтрального аффикса *-л°* (к) характеризуется прямой и непосредственной соотносительностью с объектом обозначения, а топонимизация стилистически маркированным аффиксом *-к* — опосредованной двойной соотносительностью с денотатом через уже имеющееся имя. В этой секундарности форм с демунитивными аффиксами заложены определенные качественные различия в принципах номинации между нейтральным и стилистически маркиро-



ванным аффиксом, ср. *Бдрулу* «(река), где имеются волки»; *Аба* → *Аба-чак* («Малая Аба»), *Аегга* → *Аттгачак* («Малая Анга»).

Предварительная характеристика уменьшительных аффиксов в топонимии славянских, романских, немецкого языков была сделана А. М. Скляренко [5, с. 64–65]. Н. Б. Ковалева [9, с. 29] констатирует значительную распространенность в гидронимии бассейна р. Ини в Западной Сибири афф. *-ушк(a)1-юшк(a)* — 9% (р. *Боровушка*, р. *Грязнушка*, р. *Комарушка*) со значением уменьшительности.

Аффиксы мн. числа в топонимии разных языков получили довольно подробное освещение как теоретическое, так и практическое. А. В. Суперанская, приведя примеры распространенной плюральной модели в ойконимии и антропонимии, замечает, что здесь происходит «нарушение обычных предметно-словесных ассоциаций и переход слова в иное лексическое поле, что меняет его коннотативную соотношенность и создает несоответствие языковой формы и реального содержания имени» [10]. В работах по русской топонимии Сибири отмечается наличие плюральных форм в названиях населенных мест, образованных от фамилий и прозвищ, по этнической принадлежности, от ГН и т. п. И. А. Воробьева подчеркивает их распространенность в Кемеровском и Беловском районах Кемеровской области и заключает: «Учитывая, что в исторических документах XVII—XVIII вв. подобных топонимов нет, можно предположить, что они стали распространяться на территории современного Кузбасса в XIX в., особенно в пореформенный период, и продуктивны в настоящее время» [11]. В диссертации Н. Б. Ковалевой, посвященной анализу русской топонимии бассейна р. Ини, сообщается, что «форма множественного числа привносит в топоним *Озерки* не значение наличия нескольких озер, а указывает на расположение деревни около озера. Среди названий населенных пунктов бассейна р. Ини указанные наименования распространены довольно широко (7% аффиксальных ойконимов): д. *Татары*, д. *Чесноки* и др. В качестве основы названий в форме множественного числа выступают антропонимы» [9, с. 34]. Л. Г. Гулиева [12] фиксирует в гидронимии Кубани малое число имен в форме *pluralia tantum*, которые здесь подразделяются на 1) гидронимы, образованные от соответствующих апеллятивов во мн. числе, например, р. *Ясени*, р. *Осечки*; форма мн. числа является только выражением гидронимичности; и 2) славянизированные иноязычные гидронимы, которые восприняты носителями русского языка как существительные во мн. числе: р. *Албаш*, р. *Кирпиши*. По устному сообщению З. В. Рубцовой, плюрализация — наиболее типичный и древний способ топонимизации апеллятивов, например, оттопонимические дериваты *Касынь*, за *Касынью*, *касицы*. Если обратиться к английской топонимии, чтобы проиллюстрировать универсальный характер использования аффиксов мн. числа в качестве средства топонимизации, то здесь возникает необходимость соотнесения мнения Л. Блумфилда [13] о сингулярности ИС (что имеет свои основания, особенно для синхронной английской топонимии) с наличием дательного падежа мн. числа в основе многих английских имен, например, *Bath* из *set Vadum* «в купальнях», *Lydd* из *ad Hlidum* «на склонах» и т. п. Окончание *-um* было или ослаблено затем в *-e* и в конце концов исчезло, или слилось с известными вторыми элементами, такими, как *-ham* или *-holm* [14, с. 35]. Сведения об употреблении окончаний двойственного числа в ряде названий городов и селений в семитских языках и об их формализации до топоформантов имеются в книге В. М. Гранде [15]. Судя по примерам, для алтайского аффикса мн. числа *-лар* и его вариан-

тов в топонимических образованиях характерен синкретизм: с одной стороны, названная морфема передает значение неопределенного совокупного числа предметов [16], с другой — это топонимический формант, выступающий как субститут ГН. В этом смысле *-лар* сближается с *-л'(к)*, хотя последний и получает большее развитие в алтайской топонимии. Можно предположить, исходя из сравнения алтайского материала с материалом других тюркских языков, что данный формант так и остался в Горном Алтае в рудиментарном состоянии, не получив дальнейшего развития; как правило, он отмечается в гидронимах и оронимах: *Адыр-лар* «(перевал), где есть развилины», *Ак-Мдштбр* «(лог), где одни только кедры», *Кузуктар* «(хребет), где есть орехи» и т. п. И все же общая тенденция по языкам — небольшое количество плюралльных форм: 20 из 3143 единиц в тюркской топонимии Горного Алтая, 471 из 19 075 склоняемых лексем в украинской гидронимии [17, с. 108].

Остановимся на участии притяжательных аффиксов в образованиях ГИ. Притяжательные словоформы в украинской гидронимии составляют 0,4% [18], литовской — 11,1% [19], алтайской топонимии — 6,0%. Генитивные образования в русской топонимии различны как по содержанию, так и времени возникновения. Одни из них, вероятно, выражают значение обладания, ср.: *Девладова, Дедова, Жидова, Бубликова, Волкова, Сидоренкова, Орлова, Чернова* и др. [20], другие — имена посвящения: мыс *Голенищева*, пролив *Шокальского*, остров (полуостров, мыс) *Шмидта*, бухта (мыс) *Дежнева*, остров *Ушакова* [21]. Несмотря на то, что по английским источникам не ясно процентное соотношение топонимов, имеющих в основе личные имена и оформленные аффиксом род. падежа, к общей массе ГИ, все-таки Р. Х. Рини замечает: «В одно время результаты изучения топонимов встречали некоторый скептицизм по большей части на том основании, что слишком много незарегистрированных личных имен было постулировано для объяснения слишком многих топонимов ... и все же остаются многочисленные названия мест, которые содержат некие неизвестные личные имена» [14, с. 54]. «Хотя многие сотни английских топонимов начинаются с личных имен раннего периода, существует сравнительно малое их число, которые могут, как *Bamburgh*, быть определенно ассоциированы с известными историческими личностями» [22]. Если притяжательные формы в топонимии ряда европейских языков закрепляют отношения частной собственности на физико-географические объекты, строения, сооружения и т. п., то в алтайской топонимии (при групповой и родовой собственности тюрков на землю) они, даже принимая во внимание особое положение категории принадлежности в тюркских языках. Стали прежде всего служить моделью образования вторичных ГИ (топоним от топонима): *Кам-Тыт-тыгг-Торгун* «лесная речка места Кам-Тыт», *Олати-Ойыкттыт-Ажу* «перевал реки Ошту-Ойык».

Определенный интерес представляет и общее сравнение данных суффиксальной деривации в украинской, русской, литовской, немецкой, собственно алтайской гидронимии и топонимии в целом (цифры для сравнения здесь и далее взяты из работ [18, с. 37; 9, с. 26, 27, 29, 30, 34; 23, с. 128, 132, 137, 134; 19, с. 382]). Суффиксальные образования составили в украинской гидронимии 41,5%, в русской топонимии Сибири — 57% и в литовской гидронимии — 52,1%. В алтайском это число ниже (37,67% для всех топонимов, 44,42% для одноосновных и 33,93% для двухосновных моделей), а если учесть, что в этом процентном количестве имеются формы с аффиксами, не служащими для образования топонимов, например, аффиксальные атрибутивы в двухкомпонентной модели, то при-

веденная цифра значительно снизится. В литовском языке насчитывается около 490 суффиксов, употребляемых для образования гидронимов, строй тюркских языков допускает фактически только 2 (естественно без учета их вариантов).

Далее сравним процентное содержание аффиксальных и безаффиксальных форм по классам объектов на близлежащих территориях; в тюркской топонимии Горного Алтая и русской Западной Сибири. Безаффиксальные названия (р. *Старица*, р. *Курья*, р. *Грязная* — здесь нет топонимобразующих аффиксов, вычленение аффиксов возможно только на апеллятивном уровне, в топонимии эти слова вошли в оформленном виде) составляют 23% речных имен, зафиксированных на территории бассейна р. Ини, среди названий населенных пунктов безаффиксальных имен несколько меньше (18%). Русских названий рек аффиксального типа во всей Западной Сибири — до 50%, безаффиксальных — 30%, русских названий озер аффиксального типа — 38%, безаффиксальных — более 53%, названий болот безаффиксального типа — 48%, аффиксального — 41%, ойконимы аффиксальные — от 60% и выше, безаффиксальные — 20% и выше [23]. В тюркских речных одноосновных именах Горного Алтая безаффиксальных — 61,12%, в одноосновных оронимах безаффиксальных — 74,41%, в одноосновных наименованиях логов безаффиксальных — 67,62%.

Если сравнить процентное содержание сложных образований, то картина такая: в алтайском их 66,7%, украинском — 12,4%, литовском — 16,7%, в бассейне Ини русские ойконимы — сложные слова — 10%, гидронимы-словосочетания — 20%, ойконимы-словосочетания — 8%; в целом по Западной Сибири русских речных имен-словосочетаний — 20%, озерных имен-словосочетаний — 6,9%, наименований болот-словосочетаний — 8%, ойконимов-словосочетаний — от 7 до 18%. В селькупской топонимии из всех устных форм ГИ 2/3 являются сложными, имеющими в своем составе ГН [24]. В английской топонимии словообразовательные типы находятся в следующих отношениях: простые — 5%, составные — 17%, сложные — 78% [25]. Немецкий материал тоже дает преобладание сложных топонимических образований (96) над простыми (14) [26]. Таким образом, сложная (двусоставная) форма ГИ типична не только для тюркских языков.

Вопросу участия атрибутивных словосочетаний в образовании украинских гидронимов уделено значительное место в книге З. Т. Франко [17, с. 7—10]. Автор обращает внимание на то, что атрибутивные словосочетания являются наиболее организованным единством, которое становится единицей номинации, это словосочетание в какой-то мере лишено сопутствующей ему функции индивидуализирующе-идентифицирующей, т. е. функции исключительной уникальности, каковой отличается всякий топоним. Это дает основание, по мнению З. Т. Франко, видеть в атрибутивном сочетании стадию, которая хронологически предшествовала субстантивному определению. Автор не исключает и обратную постепенность: от слова до словосочетания, последнее, в силу закона противодействия, может проходить параллельными изоморфными линиями, не подвергаясь взаимному выравниванию. В атрибутивных сочетаниях-гидронимах определения выражаются: а) существительными, прилагательными и числительными в родовой разновидности, б) качественными прилагательными, в) относительными прилагательными, г) притяжательными прилагательными, д) числительными, е) причастиями, ж) парными прилагательными. Тип атрибутивных сочетаний в топонимии один для ряда языков

с преобладанием в нем моделей «качественное/относительное прилагательное + существительное» (ср. алт. *Ак-Боочы*, «белый, чистый, голый перевал», *Кара-Булак* «обильный, питающийся подземными водами, возможно, прозрачный родник, источник», *Кыралу-Кобы* «лог, ложбина с пашней», *Мбиту-Ойык* «углубление, котловина с кедрами», *Орто-Карасу* «средняя родниковая река; ключ»), но доля словосочетаний в топонимии разных языков, как было указано выше, неодинакова. Добавим сюда подсчеты, проведенные нами по словнику гидронимов бассейна Оки на букву Б [27], которые показали, что из 1086 зарегистрированных гидронимов только 40 — словосочетания (*Благовещенское Болото*, *Ближняя Борозда*, *Большой Лог*, *Быкова Гора* и др.).

Наличие в сложных формах тюркских ГИ большого числа ГН является одним из признаков типологической конвергентности тюркских языков в ономастике. Так, в алтайской топонимии 54,43% всех наименований содержит ГН, а их общее количество составляет 126 единиц (*Айу-Кол* «медведь-озеро», *Айулу-Карасу* «ключ, где едят медведи», *Бараан-Туу* «темная гора», *Кайыр-Кыр* «крутая гора» и т. п.). Интересным представляется соотношение форм с ГН и без него в одноосновных и многоосновных образованиях. В одноосновных формах ГН представлены небольшим числом: они участвуют в образовании всего 14,42% одноосновных имен. В двусловных количество ГН возрастает: они участвуют в образовании 72,94% двусловных наименований. Лексемная организация тюркских топонимических композитов отличается высокой степенью присутствия ГН в качестве не только стержневого элемента, но и атрибтива (в 49,44% примеров простых и сложных форм). Видимо, ГН в тюркских языках, наряду с небольшим числом аффиксов (в славянских, литовском в большинстве случаев аффиксы), являются теми маркерами ГИ, которые выделяют последних в контексте, создают их семантическую непроницаемость, обеспечивают закрытость топонимических композитов для установления семантических связей в контексте.

В акте номинации имеют место две логические операции; 1) подведение обозначаемого под известный класс явлений, т. е. его категоризация и отождествление, 2) сравнение с другим предметом и явлением действительности [28], потому что «дача имен местам и знакомому окружению посредством обращения к их особенностям, а также ассоциации есть старая и глубоко укоренившаяся привычка» [29]. Через первую операцию, как нам кажется, мысленно выбирается ономаσιологический базис реалии (для значительного количества тюркских сложных ГИ — ее вид или тип), через вторую — ономаσιологический признак. Первая — это акт классификации, вторая — установление ассоциативных связей. Ономаσιологический признак и базис вступают в определенные отношения друг с другом, которые приводят к появлению у деривата значения, отражающего наличие этого отношения или его характер. Выбор ономаσιологического базиса и признака у ГИ поддается определенному наблюдению: у форм с ГН тюркских топонимов-комполит в качестве определяемых выступают только обозначения рельефа и водоемов, мест поселений, в качестве определений — обозначения рельефа (первое место), цвета (второе), формы (третье), количества (четвертое), протяженности: длины, ширины, высоты (пятое), элементов духовной культуры (шестое), водоемов (седьмое), заполненности/незаполненности объекта (восьмое), личных имен (девятое), домашних животных (десятое), диких животных (одиннадцатое), реалий исторического прошлого (двенадцатое), размера (тринадцатое), этнические (четырнадцатое) и т. д.; у форм без ГН тюркских топонимов-

композит в качестве определяемых употребляются наименования частей тела человека (первое место), деревьев, леса (второе), рельефа (третье), домашних животных (четвертое), кустарников (пятое), диких животных (шестое), всего, что связано с жилищем (седьмое), цвета (восьмое), этнические (девятое), элементы духовной культуры (десятое), одежды, украшений, снаряжений (одиннадцатое), растений (двенадцатое), формы (тринадцатое), хозяйственных построек (четырнадцатое) и т. д.; определениями здесь становятся следующие обозначения: количество (первое место), цвет (второе), форма (третье), этнонимические (четвертое), размер (пятое), общее физическое состояние (шестое), элементы духовной культуры (седьмое) и т. п.

Количество тюркских топонимов (3143) и количество соотносимых с ними объектов (5322) в Горном Алтае не совпадает, что свидетельствует о существовании перенесенных и повторяющихся топонимов на данной территории (на 169 объектов приходится 100 ГИ). Подобное наблюдается в топонимии других языков: «Часто одно и то же название относится не к одной реке или потоку. Хорошо известно, что много *the Avons, the Colnes* и т. д. в Англии. Когда реки состоят из двух или трех ветвей, *the same* название иногда относится к обеим или ко всем. Кентское *the Stour* имеет три ветви, все они раньше были *the Stour*, но теперь различаются как *the East Stour, the Great Stour, the Small Stour*. Экономия „труда“, проявившаяся в использовании одного имени для различных рек, до некоторой степени уравнивается реками, имеющими больше, чем одно название; такие случаи редки в Англии» [30, с. XXXIX]. Подсчеты показывают, что одноосновные, двуосновные, трехосновные, четырехосновные образования и количество соотносимых с ними объектов обладают каждый своей спецификой. Она заключается в том, что возможность перенесения и повторения у одноосновных в среднем выражается соотношением 1 : 2, у двуосновных — 1 : 1,58, у трехосновных — 1 : 1,19, у четырехосновных — 1 : 1,37, что означает следующее: одно имя приблизительно приходится на два и меньше, чем два, географических объекта. Но и эти цифры могут еще более быть дифференцированы, если взять топонимы, имеющие в своем составе ГН и не имеющие их. Так, соотношение имен и названных ими объектов у одноосновных наименований, равных ГН, выражается как 1 : 3, у одноосновных, не равных ГН, это выглядит как 1 : 1,85. У двуосновных соотношение имен и названных ими объектов принимает такой вид: у содержащих ГН — 1 : 1,63, у не содержащих ГН — 1 : 1,41. У трехосновных — 1 : 1,19 (имеющие ГН), 1 : 1,14 (не имеющие ГН). Следовательно, получается, что наибольшей способностью к перенесению с одного объекта на другие обладают одноосновные имена-ГН, затем идут одноосновные же, но без ГН, за ними — двуосновные с ГН, далее — двуосновные без ГН. Выявленная закономерность имеет свои причины, на которых остановимся подробнее.

Сам процесс перенесения имени с одного объекта на другие будем считать опосредованной номинацией. Образование новых имен через перенесение готового имени на смежные объекты возмещает недостаточность в языке словообразовательных средств наименования или является проявлением принципа языковой экономии. Происходит естественный процесс каких-то сдвигов в семантической структуре опорного имени и максимальное погашение его коннотаций. Возможность переосмысления имеющейся языковой формы и отбора ее как вторичного имени создается смежностью географических объектов, при которой объемы понятий вновь именуемого объекта и уже носящего имя совпадают в каких-то частях. Это-

ричное использование топонима для названия других объектов всегда опосредовано и, как показали наши подсчеты, мотивировано его словообразовательными и семантическими признаками. При опосредованной номинации отношение вторичного имени и именуемого объекта складывается из взаимосвязи нескольких компонентов: географический объект (внеязыковая сфера) — понятийно-языковая форма его отражения — имя с его значением, обусловленным чем-то, связанным с данным географическим объектом, — другой географический объект — его понятийно-языковое отражение через опосредующее, опорное наименование, сигнификат которого расходуется с новым денотатом. Спецификой такого рода номинации, следовательно, является ее опосредованность по отношению как к переосмысливаемой языковой форме (= опорному имени), так и к другой связи, складывающейся между сигнификатом и денотатом в новом акте наименования. Думается, что возможность такого опосредованного отражения действительности кроется в способности словесных знаков переносить свою форму и функциональное назначение на смежные объекты окружающего мира, расширяя тем самым для человека возможность его картирования. Так как у называемой реалии уже есть ономастиологический базис — имя другого объекта, то ономастиологический признак оттопонимической композиты — это очень обширная характеристика объекта (размер, расположение в пространстве, протяженность), подчеркивающая восприятие объекта по какой-то противопоставленности с другим (другими), чего оказывается достаточно для образования нового имени, оно обращено сразу к двум денотатам: прежнему — через опорный топоним (= его имя) и новому — через дескриптив. Если сравнить внутреннюю синтаксическую связь между компонентами отапельлятивных и оттопонимических композит, то в отапельлятивных формах она кажется слабее и более синтактикоподобной, так как допускает различные случаи опрощения, гаплоггии, ассимиляции и диссимиляции на стыке двух морф, чего нельзя сказать о внутренней связи оттопонимических композит. Оттопонимические дериваты стремятся к усилению своих внутренних синтаксических связей, недаром здесь такое значительное место занимают изафет II и изафет III. Видимо, в данном случае следует учитывать и то, что «старение» имени идет за счет ослабления внутренних синтаксических связей, с его постоянной интенцией к цельюоформленности. Коэффициент соотношенности имен и объектов у оттопонимических дериватов (простых и сложных) или минимальный, или близкий к минимальному, что манифестирует их высокие знаковые характеристики. Кроме того, ярко проявляется и общая тенденция — с увеличением компонентности суживать круг референции имен.

Трудно судить из-за отсутствия данных, насколько распространен данный процесс в топонимии других языков, но в тюркской топонимии Горного Алтая — это один из ведущих способов топонимобразования (40% объектов территории получают имена через перенесения или повторы). Он охватывает все словообразовательные модели, относится к лексико-семантическому способу образования оттопонимических дериватов: *Кара-Озбк* «черная выемка, пробоина, котловина» — имя реки, горы, населенного пункта; *Сарас-Кир* «колонок-гора или колонковая гора» — имя ручья, горы; *Тайгачак* «небольшое снежное высокогорье или густой лес» — имя урочища, населенного пункта (все три — примеры опорных топонимов и перенесений); в Горном Алтае около 40 *Карасу* «родниковая река, ручей; ключ; родник; река с ледниковым началом или питанием», до 20 *Ак-Кобы* «белый, чистый, голый лог, ложбина» — примеры повторений).

Словообразовательный анализ проведен нами для 18 типов объектов Горного Алтая. Он выявил определенную специфику названия, которая проявляется в том, например, что основная модель имен рек и речек, гор, логов, озер, перевалов, стоянок, хребтов, водопадов, ущелий, ледников, степей — двусловная; у ручьев, долин, ключей — однословная. У урочищ, населенных пунктов, мысов количество одно- и двусловных образований приблизительно одинаково. При рассмотрении участия собственноречных ГН в именах выясняется, что из 768 рек и речек, носящих двухкомпонентные имена с ГН, 308 имеют в своем составе собственногидронимический ГН (*аиры, булак, Jul, кан, карасу, кем, кожого, коол, мддн, бзус, дрек, су у, суугаш, торгу н*), остальные образованы прибавлением дескриптивной части к ГН низинного или возвышенного рельефа, что выявляет общую тенденцию — реки часто называются по верховью (углублению, озеру, из которого они вытекают, по горам, сопкам, с которых они стекают и т. п.). В основе значительного числа двухкомпонентных без ГН оронимов — глагольные синтагмы-суждения (31 имя из общего числа 123; в речных именах 48 объектов из 283 имеют в исходе глагольные синтагмы). Ойконимы, как правило, представляют собой оттопонимические образования, в Горном Алтае они характеризуются лишь единичным присутствием в них личных имен и прозвищ, в отличие, скажем, от Татарской АССР, что имеет свои социальные причины.

Если проследить за ЛСП, представленными адъективными компонентами при наиболее типичных ГН, то это выглядит с *су у* «вода; река», *суугаш* «речка», *орек* «небольшая река» таким образом: 1) цвет, 2) рельеф, 3) размер, 4) характеристика течения, 5) водоемы и др.; с *туу* «высокая гора», *кыр* «гора, возвышенность; холмистая степь», *тайга* «1) снежное высокогорье, 2) гора, покрытая лесом» — 1) цвет, 2) рельеф, 3) форма, 4) характеристика объекта с точки зрения его заполненности, 5) водоемы и др.; с *кобы* «лог, ложбина, лощина» — 1) цвет, 2) состояние: сухой — влажный, 3) личные имена, 4) рельеф, 5) протяженность и др.; с *кол* «озеро» — 1) цвет, 2) рельеф, 3) размер, 4) соотношение с другими объектами и окружающей средой, 5) характеристика положительная и др.; с *ажу* «высокий горный перевал; место, где переезжают через гору», *арт* «задняя часть перевала, хребта, а также то, что находится за перевалом и хребтом; сам перевал», *бел* «седловина, широкий и низкий перевал в горах; сглаженная невысокая возвышенность», *боочы* «сравнительно невысокий, но длинный перевал; горный переход, проход; лог, ложбина» — 1) рельеф, 2) соотношение с другими объектами и окружающей средой, 3) деревья, лес, 4) цвет, 5) реалии духовной культуры и др. Вновь перспективным кажется сравнение с другими регионами, где весь спектр распределен по-иному, с совершенно различными оценками признаков реалий, которые берутся в качестве основы номинации. Н. Б. Ковалева отмечает, что в русской микротопонимии бассейна р. Ини в Западной Сибири как основа фиксируются апеллятивы, характеризующие 1) физико-географические свойства называемого объекта (28,6%), 2) форму (9%), 3) местоположение (6%) 4) вид растительности (5%), 5) размер (3%), 6) особенности животного мира (3%), 7) цвет (2,6%, преимущественно белый, черный и красный), 8) хозяйственную деятельность людей [9, с. 65]. Э. Эквал [30, с. li] указывал, что у английских рек берутся следующие признаки как основа наименования: извилистость, быстрота, сила, издаваемый звук, протяженность, прозрачность, цвет, характеристика положительная и отрицательная; из деревьев отмечены: дуб, ясеня, вяз, орешник, бузина, ольха, тис; названий животных очень мало: лось,

журавль, лиса, медведь; крайне редки в топонимах обозначения естественных объектов (речь идет об определениях в сложных именах). Возможно, что у древних германцев, как и у других народов, существовало табу на священных животных, деревья и т. п., что объясняет до некоторой степени их малое присутствие в ГИ, тем не менее совершенно очевидно, что выделение признаков в качестве основы наименований географических объектов носит запрограммированный характер, в истоке которого — комплекс исторических, географических, социальных, психологических и других экстралингвистических факторов. Показателен в этом плане список лексем, получивших в тюркской топонимии Горного Алтая наивысшую частотность (от 50 и выше; частотный индекс поставлен при ГН): *кол*<sub>1,1</sub> «озеро», *Кара*<sub>ин</sub> «1) обильный; родниковый, питающийся подземными водами; без примеси, иногда прозрачный, 2) черный; не покрытый снегом; густой; с густым (часто хвойным) лесом», *туу*<sub>107</sub> «высокая гора», *Јаан*<sub>ин</sub> «большой; старший, почтенный», *ак*<sub>ы,1</sub> «1) мутно-белый, ледниковый; чистый, хороший, пресный; текущий, проточный, 2) белый; снежный; высокогорный белок, 3) голый, лишенный растительности, леса», *кобы*<sub>79</sub> «лог, ложбина, лощина», *устиги*<sub>6</sub> «верхний», *таш*<sub>73</sub> «камень; гора, сопка, возвышенность, сложенные из твердых пород с их обнажениями», *бажы*<sub>10</sub> «вершина горы; начало, верховье, исток реки, озера», *суу*<sub>67</sub> «вода; река», *коол*<sub>63</sub> «низменность, долина; русло реки», *алтыгы*<sub>62</sub> «нижний», *айры*<sub>3,7</sub> «1) разветвление, развилка, 2) рукав реки; водораздел, 3) река, маленький ручей», *кичу*<sup>^</sup> «маленький», *ойык*<sub>63</sub> «котловина, лог, углубление на вершине горы», *кем*<sub>6,1</sub> «река», *сары*<sub>60</sub> «1) желтый, совершенно желтый, желтоватый, рыжий, палевый, желто-бурый, бежевый, бледный, соловый, сероватый, 2) весенний, снеговой, талый, песочный, мутный, 3) степной, сухой, выгоревший».

Вместе с тем можно думать, что выделение ландшафтно-топографических характеристик в качестве основы ГИ является ведущим в топонимии многих языков и регионов. Так, Г. Борек [31] указывал, что из 966 основ с прозрачной славянской этимологией 702 основы, т. е. свыше 72%, связаны с топографическим значением, остальные 264, т. е. 28%, — с деятельностью человека. Из сопоставления, проделанного на тюркском материале Горного Алтая, видно, что наибольшее количество семем приходится в топонимии на раздел «Человек» (979 единиц), в разделе «Природа» количество семем меньше (390), но частотность их значительно выше. Наш материал показал, что в разделе «Человек» число семем, частотность которых составляет 10 и выше — 36, раритетных (частотность равна 1) — 597, среднечастотных семем (частотность от 2 до 9 включительно) — 346. В разделе «Природа» число семем, частотность которых равна 10 и выше, — 63, раритетных семем здесь 146, среднечастотных семем — 181. Если же посмотреть на полный список высокочастотных алтайских лексем (86 единиц), то больше 50% из них ГН.

Итак, сопоставление строевых элементов алтайского и русского языков Южной Сибири и прилегающих территорий с привлечением данных европейских регионов дает исследователю возможность посмотреть на названия не как на готовые продукты речи, а «изнутри», раскрыть и изучить процессы построения ГИ, установить общие тенденции и различия в словообразовательных моделях топонимов, исходя из общеметодологической предпосылки об универсальных законах развития речевого мышления в отношении представлений о географической среде и ее обозначении и общелингвистической универсалии — каждый человеческий язык имеет имена собственные.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кононов А. Н. О фузии в тюркских языках // Структура и история тюркских языков. М., 1971. С. 115—116.
2. Реформатский А. А. Агглютинация и фузия как две тенденции грамматического строения слова // Морфологическая типология и проблема классификации языков. М., Л., 1964. С. 91.
3. Scheinhardt H. Typen turkischer Ortsnamen. Heidelberg, 1979.
4. Суперанская А. В. Ономастические универсалии // Восточнославянская ономастика. М., 1972. С. 348.
5. Складченко А. М. «Степень ономастизации» топонимов разных типов // Восточнославянская ономастика: Материалы и исследования. М., 1979.
6. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1988. С. 132.
7. Алексеев А. Я. Стилистическая информация языкового знака // ФН. 1982. № 1. С. 50, 53.
8. Ванаса А. П. Балтийские гидронимы апеллятивного происхождения // Nomina appellativa et nomina propria: Summaries of the papers. Srasow, 1978. P. 271.
9. Ковалева Н. Б. Русская топонимика бассейна реки Ини (семантический анализ): Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1973.
10. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 1973. С. 121—122.
11. Воробьева И. А. Названия населенных пунктов Кемеровской области (на современном этапе и в их истории) // Уч. зап. Кемеровского пед. ин-та. 1971. Вып. 26. С. 126—127.
12. Гулешева Л. Г. Опыт исследования гидронимии Кубани: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1969. С. 12.
13. Bloomfield L. Language. L., 1973. P. 205.
14. Keaneу P. H. The origin of English place-names. L., 1969.
15. Гранде Б. М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972. С. 288.
16. Шербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (Имя). Л., 1977. С. 94.
17. Франко З. Т. Граматична будова українських гидронімів. КНІВ, 1979.
18. Отин Е. С. Гидронимия Юго-Восточной Украины: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Киев, 1974. С. 37.
19. Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimu daryba. Vilnius, 1970. P. 382.
20. Трубочев О. Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968. С. 67.
21. Сталтмане В. Э. Родительный падеж в структуре балтийских топонимов в сравнении со славянскими // Восточнославянская ономастика. М., 1972. С. 145.
22. Matthews C. M. Place-names of the English speaking world. 1972. P. 51.
23. Воробьева И. А. Топонимика Западной Сибири. Томск, 1977. С. 128, 132, 137, 139.
24. Беккер Э. Г. Селькупские топонимы Западной Сибири: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1965. С. 54.
25. Бельняк В. Д. Топонимы в составе лексической системы языка. М., 1969. С. 143.
26. Eichler E. Die Orts- und Flussnamen der Kreise Delitsch und Eilenburg. Halle (Saale), 1958. S. 212.
27. Смолицкая Г. П. Гидронимия бассейна Оки. М., 1976. С. 296—303.
28. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1982. С. 100.
29. Voornе J. Place-names of Leicestershire and Rutland // Leicestershire libraries and information service. 1981. P. 7.
30. Ekwall E. English river-names. Oxford, 1928.
31. Борек Г. Восточнославянские топонимы с формантом *-ын* // Восточнославянская ономастика. М., 1972. С. 106.

© 1990 г.

ПОПОВ В. Н.

**РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕСУЩЕСТВОВАНИЯ  
В ИХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕННОСТИ ГЛАГОЛАМ  
СО ЗНАЧЕНИЕМ СУЩЕСТВОВАНИЯ**

И смерть и жизнь — родные беды:  
Они подобны и равны,  
Друг другу чужды и любезны,  
Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет,  
Как зеркало, а человек  
Их съединяет, разделяет  
Своею волею навек.

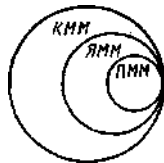
(Д. С. Мережковский. Двойная бездна)

В окружающем нас мире появляются, существуют, исчезают и отсутствуют (не существуют) самые многообразные предметы и явления. Для описания этого вечно изменяющегося мира в русском языке есть большая группа словообразовательных и словоизменительных формантов, слов и фразеологических оборотов, синтаксических конструкций, обозначающих появление, существование, исчезновение и несуществование. Среди этих языковых средств выделяются слова, являющиеся основным средством описания действительности, а среди слов — глагол, о котором академик В. В. Виноградов писал: «Глагол является наиболее сложной, грамматически организованной, отвлеченной и в то же время наиболее насыщенной, т. е. непосредственно отражающей действительность, категорией русского языка» [1, с. 651]. Поэтому исследование организации множества русских глаголов, описание их лексико-семантической системы и отношений между различными ее участками представляются весьма актуальными задачами. Изучение участков глагольной системы является определенным вкладом в развитие семантической теории и лексикографической практики, помогает нашему познанию языковой модели мира, т. к. лексико-семантическая система вообще и глагольная в частности отражает существенные свойства окружающей нас действительности.

В философских и лингвистических концепциях, использующих понятие модели (картины) мира, обычно различаются две модели мира: 1) концептуальная (КММ) и 2) языковая (ЯММ) (см., например [2—4] и др.), хотя в пределах общей КММ некоторыми исследователями выделяются такие ее части, как социальная, религиозная, эпическая, научная, языковая, художественная картины мира и вплоть до внутренней индивидуальной модели мира конкретного автора отдельного художественного произведения; выделяются также картины мира человечества в целом, отдельных народов, групп; картины мира взрослых людей и детей, картина мира психически нормального человека и психопатологическая картина мира и т. д. (см. об этом [5; 4, с. 31]).

Сопоставляя различные точки зрения на сущность ЯММ и КММ, можно прийти к выводу, что большинство исследователей считает КММ и ЯММ разными картинами мира (ср. отличную точку зрения [6]), но тесно связанными одна с другой. Как отмечается, «границы между языковой моделью мира и концептуальной моделью мира кажутся зыбкими, неопределенными» [3, с. 271]. Противоречий же в оценке соотношений объемов разных моделей мира (ср. [2] и [4]), на наш взгляд, можно избежать, опираясь, с одной стороны, на различие терминов «понятие «и концепт» \* и, с другой стороны, используя представление о понятийно-логической модели мира (ПММ). ПММ есть, по нашему мнению, складывающееся из понятий, определений, категорий разных наук о мире рациональное описание действительности, основанное прежде всего на философской картине мира как рациональной мировоззренческой концепции.

Таким образом, КММ, объединяя, охватывая все остальные картины мира, может разбиваться на три большие области, которые имеют разный онтологический и гносеологический статус: КММ, КММ<sub>1</sub> (или ЯММ), КММ<sub>2</sub> (или ПММ); или КММ (ЯММ + собственно КММ), ЯММ (ПММ + собственно ЯММ) и ПММ. Собственно КММ представляет собой систему концептов, свободных от какой-либо вербальной формы и находящихся на первой ступени отражения действительности (разного рода образов, представлений и т. д.). В центре ЯММ находится языковое значение (как отмечают многие исследователи, главным образом лексическое)<sup>2</sup>, т. е. объективированный концепт (ср. «концепт, связанный знаком» [7]). Значение слова выражает среднюю степень познания действительности, т. к. в нем отражена только некоторая часть присущих определенному предмету (явлению) действительности признаков [8]. ПММ строится на системе понятий, т. е. объективированных и объективных концептов, наиболее адекватно отражающих реальный мир. Термин «объективный концепт» употребляется нами не в абсолютном, а в относительном смысле — «более объективный» (из существующих). Отношение между понятийно-логической, языковой и концептуально-образной моделями (картинами) мира можно представить в виде некоторой схемы<sup>3</sup> (см. рис. 1).



Следовательно, объем ПММ меньше объема ЯММ, который в свою очередь меньше объема КММ. Иногда указывается, что «система понятий, фиксируемая и эксплицируемая как словами, так и речевыми произведениями указанного (в виде свободных словосочетаний и предложений, конкретное содержание которых является принадлежностью не языка, а речи) типа, будет значительно больше по объему, чем система лексических десигнативов» [10]. Однако, как очевидно, это утверждение не противоречит высказанному выше. Во-первых, потому что система лексических значений является лишь частью (хотя и центральной) ЯММ, в которую наряду с данным видом семантических значимостей входят еще два их

<sup>1</sup> «В то время как понятие является для нас ... высшим продуктом деятельности мозга, одной из важнейших разновидностей отражения объективной действительности, реализуемой к тому же в определенной логической форме и т. п., концепт мы трактуем расширительно, подводя под это обозначение разносубстратные единицы оперативного сознания, какими являются представления, образы, понятия» [4, с. 143].

<sup>2</sup> «...главное же в ЯММ — это знание, закрепленное в словах и словосочетаниях...» [2, с. 109].

<sup>3</sup> «Нет ничего более естественного, как представлять себе язык в виде пространства или объема, в котором люди формируют свои идеи» [9].

больших вида: грамматические значения словоизменительных, словообразовательных, отчасти корневых морфем и смыслы высказываний, предложений, фраз и т. п., т. е. всех синтагматических единиц [4, с. 112—113]. Во-вторых, различие между понятием и концептом, которое является очень важным для нас (см. выше), не существенно для философов и лингвистов, занимающихся общей проблемой соотношения понятия и лексического значения. Так, Г. В. Колшанский отмечал: «Когда мы говорим о понятии, то имеем в виду всякое понятие: и так называемое научно обоснованное, и такое, которое не подвергалось научной обработке» [11]. В систему ПММ входят, по определению, лишь научно обработанные понятия. Система понятий, представленных в ПММ, уже, чем общая система человеческих понятий, рассматриваемая философом и языковедом. Кроме того, общеизвестно, что лексическое значение, определяемое прежде всего понятийным содержанием слова, формируется еще и метафорическим, а также метонимическим его употреблением, что, конечно, увеличивает объем ЯММ.

В ЯММ могут быть (и действительно есть) концепты, не обладающие объективностью, т. е. или не имеющие денотатов, или неверно отражающие предметы (явления) реального мира. Если научные знания выражаются в точных понятиях, представляющих объективную истину, то в языке, а также в довербальных образах возможно описание и/или представление любых существ, объектов и даже целых несуществующих миров. Общеизвестно, например, наличие в языке таких слов, как *леший*, *домовой*, *единорог* и т. д., не обозначающих объектов реального мира, т. е. то, «что можно было бы назвать концептом» [12].

Изучая различные фрагменты ЯММ и разные способы их представления (например, описание разных сторон бытия русскими глаголами), филолог имеет право и, на наш взгляд, должен опираться на ПММ: «при всем различии аспектов изучения семантики как лингвистической категории единым объединяющим их стержнем являются исходные положения гносеологии, т. к. любое проявление семантических категорий в языке неизбежно связано с его отражательной функцией» [13]. Наиболее адекватно отражает действительность через свой категориально-понятийный аппарат (т. е. строя свою ПММ) философия.

В ПММ, основанной на диалектико-материалистической философской концепции, констатируется наличие бытия, существования вообще, которое разделяется на собственно бытие (существование) и относительное небытие (несуществование), которое всегда в некотором смысле «есть»: «небытие не означает пустоты или абсолютного исчезновения, а есть лишь переход, превращение материи из одной формы Б[ытия] в другую, т. е. становление новой формы Б[ытия] материи» [14]. При этом «не следует отождествлять „существование“ предметов в форме объектов суждений о их небытии (и утверждений об истинности таких суждений) с фактом небытия, присущего бесконечному классу предметов, которых нет реально и о которых в то же время никто не мыслит как о существующих или как о несуществующих» [15]. Такой факт небытия «не реальных и никем не мыслимых предметов» не может быть отражен в ПММ (впрочем, как и в ЯММ) и, следовательно, не может быть одним из элементов этих картин мира, так как, чтобы быть отраженным в них, он должен быть мыслим.

Классификационные схемы русского глагола (см., например [16]) воспроизводят членение русскими глаголами не природной реальности, а «реальности», преломленной через ЯММ. И так как ЯММ имеет некоторый объем и соприкасается, как показано выше, с одной стороны —

с ПММ, а с другой — с КММ, то появляется возможность разных классификаций и разбиений множества русских глаголов (в частности — бытийных). Ср. способ представления оппозиции «глаголы со значением несуществования — глаголы со значением существования» в работе Н. Ю. Шведовой [17] и понимание этой оппозиции, предлагаемое ниже в настоящей статье (см. также [18]). Хотя и та, и другая схемы построены на собственно языковых основаниях и значениях, которые выявляются в самом языке, эти построения различны, классификационная сетка Н. Ю. Шведовой ближе к КММ, а излагаемая нами к ПММ. У Н. Ю. Шведовой глаголы со значением несуществования выведены из фаз бытия; поэтому объективно небытие противопоставляется бытию в абсолютном смысле. В предлагаемой нами интерпретации соответствующие русские глаголы понимаются как называющие относительное небытие (несуществование) — некоторую определенность, лишённую лишь тех качеств, которые противопоставляют ее собственно бытию, существованию.

Глаголы со значением несуществования до сих пор не были предметом специального изучения. Однако в работе Н. Ю. Шведовой [17] бытие в целом противопоставлено небытию, отсутствию существования. Общее значение небытия заключено, по мнению исследователя, в узком круге глаголов, называющих; 1) собственно небытие; 2) отсутствие того, чему следует быть; 3) отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось; 4) отсутствие того, что было и исчезло; 5) отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем [17, с. 9—10]. Проведенное нами обследование большого массива художественных и публицистических текстов и всех современных лексикографических источников позволяет считать группу глаголов со значением несуществования\* в современном русском языке достаточно широкой (примерно 100 единиц). Подробный же анализ этой группы привел к построению несколько иной классификации — трехчленной; а) глаголы со значением собственно несуществования; б) глаголы, называющие отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем; в) глаголы, называющие отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось. По-видимому, подгруппа глаголов, называющих отсутствие того, что было и исчезло, вносимая в указанной работе в группу глаголов небытия, по своей семантике конца существования, исчезновения относится к множеству глаголов конечной фазы существования — исчезновения. Подгруппа глаголов, называющих отсутствие того, чему следует быть, является составной частью подмножества глаголов, называющих собственно несуществование.

По результатам нашего исследования глаголов (и глагольных фразеологизмов) со значением собственно несуществования насчитывается около 20 единиц. Наряду с бесспорно обладающими таким значением глаголами, как *не быть* (нет), *недоставать*, *не хватать* (о нецельноформленности глаголов типа *не быть*, *не хватать* см. ниже), *отсутствовать*, глаголом-идентификатором этой группы *не существовать*, а также глагольными фразеологизмами *в помине нет*, *нет и помину*, *не ночевало* («Поэзия и не ночевала тут». И. Тургенев, Письмо Я. П. Полонскому, 1868, 16 янв.); сюда могут быть отнесены глаголы с нерегулярно, непоследовательно отмечаемыми значениями несуществования (в большинстве вторичными, переносными, складывающимися в контексте): *бежать* (устар.) [например;

<sup>4</sup> В соответствии с принятым в настоящей статье пониманием несуществования как одной из фаз бытия вообще вместо термина «небытие» мы употребляем термин «несуществование», вместо «предбытие» — «предстояние».

о сне, покое — «Татьяна бедная горит, Ее постели сон *бежит*». А. Пушкин, Евгений Онегин («сна нет»)], *дремать* [например: о громе, ветре — «Где *дремлет* гром над глубиною». М. Лермонтов, Вид гор из степей Козлова («гром не гремит, его нет»)], *избегать* (например: о счастье — Счастье его *избегаю*), *лежать* (в земле) (о мертвом человеке), *молчать* (например: о звуках, о музыке — «*Молчит* музыка боевая». А. Пушкин, Полтава), *отдыхать*, *покоиться*, *почивать*, *спать* (мертвым сном, в земле) (о мертвом человеке — «Да\* жаль его: сражен булатом, Он *спит* в земле сырой». М. Лермонтов, Бородино), *сторониться* (например: об удаче — Удача его *сторонится*), *убегать* (устар.) (например: о сне, счастье — «Острица долго не мог заснуть..., сон *убегал* его». Н. Гоголь, Несколько глав из неоконченной нов.)<sup>5</sup>.

Глаголов, называющих отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем,— около 35 — с данным значением, отмечаемым в словарях и/или выявляемым в соответствующих контекстах: *задержаться*, *задерживаться* (например: об еще не начавшемся наступлении — «Из нее [крепости] хорошо простреливалась вся местность, чем *задерживалось* наше наступление». Б. Пастернак, Доктор Живаго); *запаздывать*, *запоздать*, *запоздниться* (прост.) (например: об еще не наступившей зиме); *затягиваться*, *затянуться*, *медлить*, *опаздывать*, *опоздать* (например: об еще не принятом решении); *отдаляться*, *отодвигаться*, *отодвинуться* (например: об еще не начавшемся деле); *откладываться*, *отлагаться*, *отложиться* (например: об еще не начавшейся церемонии); *отнестись*, *относиться* (например: об еще не начавшейся встрече) и др.

Глаголов (и глагольных фразеологизмов), называющих отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось,— около 40 — с этим значением, отмечаемым в словарях и/или выявляемым в соответствующих контекстах: *замереть*, *замирать* (на устах, на губах) (например, о звуках: «— И я хотел изречь хулы на небо — Хотел сказать... Но голос *замер* мой — и я проснулся». М. Лерлюнтов, Ночь I); *застрывать*, *застрять* (в горле) (о словах: «Да нелегкая дернула теперь заседателя от... Другая половина слова *замерла* на устах рассказчика... Н. Гоголь, Сорочинская ярмарка); *миновать*, *миноваться*, *минуть*, *минуться* (например: о беде, не наступившей, но которая была возможна); *накрываться* (прост.), *накрыться* (прост.), *лететь* (разг.), *полететь* (разг.) (например: об отпуске, который был возможен, но уже не состоится) *обойти*, *обойдуть* (стороной) (например: о несчастье, которое было возможно, но не наступило) и др.

Глаголы же существования определяются как представляющие существование в целом, которое протекает по 10 основным фазам — от фазы предбытия (см. примеч. 4) до фазы исчезновения, конца. Это фазы: 1) предбытия (*предстоять*); 2) возникновения (возникать, начинаться); 3) становления (*становиться*); 4) осуществления (*осуществляться*); 5) собственно существования (*быть*, *существовать*, *наличествовать*); 6) приостановки, склонения к концу (*приостанавливаться*); 7) перерыва в течении бытия, остановки (*прерываться*, *пресекаться*); 8) краткости или мгновенности бытия, нерасторжимости возникновения и исчезновения (*мелькнуть*), 9) достижения предела бытия (*доживать до*), 10) исчезновения, конца (*исчезать*, *кончаться*) [17, с. 8—9]. Фазы бытия, представляемые бытийными

<sup>5</sup> Как это видно из примеров, в настоящей работе в силу ограниченности места не рассматривается реально существующее и важное для языка разграничение субъектов, мыслимых абстрактно, отвлеченно, и субъектов, репрезентирующих собой ситуацию.

глаголами, располагаются по прямой как последовательно сменяющие друг друга: фазой предстояния эта шкала открывается, а фазой исчезновения заканчивается. Для представления оппозиции «глаголы со значением несуществования — глаголы со значением существования» расположим три подгруппы глаголов несуществования (см. выше) под указанными фазами глаголов существования. Глаголы обоих членов оппозиции отражаются друг в друге как в зеркале (см. эпиграф).

Рассмотрим основные виды противопоставленности, выражаемой данными глаголами: 1) все глаголы со значением несуществования в целом противопоставляются всему множеству глаголов со значением существования, представляющих 10 фаз собственно бытия; 2) глаголы со значением собственно несуществования — всем глаголам со значением существования на всех его фазах; 3) глаголы собственно несуществования как образующие одну из подгрупп глаголов несуществования — глаголам собственно существования как именующим одну из фаз собственно бытия; 4) глаголы, называющие отсутствие того, что должно быть, но не осуществилось и предполагается в будущем, — всему множеству глаголов фаз, предшествующих фазе собственно существования; 5) глаголы, называющие отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось, — всему множеству глаголов фаз, следующих за фазой собственно существования; 6) глаголы, называющие отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось, противопоставлены множеству глаголов фаз, предшествующих фазе собственно существования.

Построение оппозиций на чисто логических основаниях могло бы дать большее их количество. Кроме перечисленных могли бы быть противопоставлены, например, глаголы со значением несуществования как целое глаголам со значением собственно существования как именующим одну из фаз бытия; глаголы, называющие отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем, — всему множеству глаголов фаз, следующих за фазой собственно существования, и т. д. Эти логические оппозиции действительно существуют. Но предметом нашего исследования являются собственно языковые оппозиции. Эти оппозиции строятся на основе самих языковых отношений — первично соотнесенных, как отмечено выше, с основаниями гносеологическими. Такими языковыми основаниями служат парадигматические, синтагматические, словообразовательные отношения, т. е. конкретнее: синонимические, антонимические отношения, отношения между однокоренными словами, между словами с одинаковыми приставками.

В первой оппозиции глаголы несуществования как целостное подмножество противопоставляются целостному же подмножеству глаголов существования (см. рис. 2<sup>6</sup>). Здесь не играет роли ни наличие подгрупп с различным значением в первом подмножестве, ни фаз во втором. Основанием для этого изначального противопоставления является собственно семантическая антонимия [«существует (на любой фазе) — не существует (с любым добавочным значением)»], естественно присутствующая в качестве основной и во всех остальных рассматриваемых далее оппозициях.

<sup>6</sup> В этой и следующих схемах (рис. 2—7) буквы обозначают: А — множество глаголов фазы собственно существования; Б — множество глаголов, именующих фазы собственно бытия, которые предшествуют фазе собственно существования; В — множество глаголов, именующих фазы собственно бытия, которые следуют за фазой собственно существования; а — множество глаголов группы со значением собственно несуществования; б — множество глаголов, называющих отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем; в — множество глаголов, называющих отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось.

Общая сема входящих в оппозиции глаголов — «быть вообще». Оппозиция может быть представлена любой произвольно взятой парой: глагол несуществования — глагол существования. Например, глагол собственно несуществования — глагол собственно существования: «Текущее вверх, в изначальное устье, все странствие *длится*, а странника — *нет*» (Б. Ахмадулина, Дорога на Паршино, дале — к Тарусе...); глагол собственно несуществования (называющий отсутствие того, чему следует быть) — глагол фазы осуществления: «Только старости *недостаёт*. Остальное — уже *совершилось*» (Б. Ахмадулина, Медлительность). Здесь субъекты при противопоставляемых глаголах различны. Однако субъект может быть при этих глаголах одним и тем же: «К обеду обычно и *заканчивались*, нет, *откладывались* всякие срочные дела» (Е. Будинас, Уходящий объект) — противопоставляются глагол, называющий отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем, и глагол фазы исчезновения (склонения к концу); «Великолепная атака „Спартак“»,

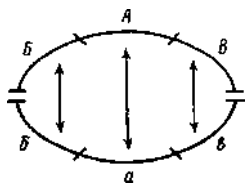


Рис. 2.

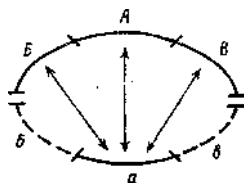


Рис. 3.

которая могла *быть*, — *сорвалась*» — противопоставлены глагол, называющий отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось, и глагол собственно существования; «Если в сфере политики *существует* продуманная программа действий, то в области воспитания такая программа *запаздывает*», — противопоставлены глагол, называющий отсутствие того что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем, и глагол собственно существования.

Естественно, что глаголов несуществования намного меньше, чем глаголов существования. По нашим подсчетам, основанным как на данных, приведенных в работе Н. Ю. Шведовой [17], так и на наших собственных данных, полученных на материале картотеки, составленной по современным толковым, фразеологическим и другим словарям, а также по произведениям художественной и публицистической литературы XIX—XX вв. и записям разговорной речи, их примерное соотношение — 100 : 2000. Вполне очевидно, что в жизни на первом плане стоят реально существующие объекты и, следовательно, слова, их называющие. В человеческой практике и сознании несуществующие вещи, предметы явления не столь важны и актуальны, поэтому их название в гораздо меньшей степени интересует людей.

Противопоставленность глаголов со значением собственно несуществования глаголам со значением существования на всех его фазах (рис. 3) наглядно демонстрируется собственно языковыми системными отношениями: так, основанием для нее служат отношения, возникающие между однокоренными глаголами; этими же глаголами, входящими во фразеологические обороты; глаголами, являющимися членами синонимических



рядов и антонимических пар. Все эти глаголы имеют строго закрепленное за ними место в каждом члене данной оппозиции. Например: Музыка *замолкает* (склонение бытия к концу) — Музыка *замолчала* (исчезновение собственно бытия) — Музыка *молчит* «музыка отсутствует, ее нет» (несуществование). «Кой-где гарцуют казаки. Равняясь, строятся полки. *Молчит* музыка боевая», (А. Пушкин, Полтава). Ср.: «Удары его молота доносились до нашего дома, а когда наступали сумерки и звуки рабочего дня *умолкали*, то прекращались и кузнечные звуки» (С. Скиталец, Сквозь строй); «На нивах шум работ *умолк*» (А. Пушкин, Евгений Онегин) и «Все громко хлопаем; кричат: «bravo! bravissimo! чудесно!» Свистки сатириков *молчат*, И все покорствуют прелестной» (А. Пушкин, К молодой актрисе). Употребление этих однокоренных глаголов ясно показывает возможность описания бытия субъектов (названий звуков) от склонения к концу, через фазу исчезновения к собственно несуществованию. Также о субъектах—именах чувств: «Когда *умолкала* боль..., перед ним тихо развевывалась вся история этого, теперь ужасающего бытия» (И. Гончаров, Обрыв); «И те душевные страдания, которых доселе я испытал много и много, *замолкнули* вовсе» (Н. Гоголь, Письмо П. А. Плетневу, 1846, 20 февр.), «Терпенье Софьи Николаовны лопнуло, голова вспыхнула, любовь *замолчала*, сожаленья, раскаянья как будто никогда не бывало» (С. Аксаков, Семейная хроника) и «Мы вышли: я мчался на быстром коне; И кроткая жалость *молчала* во мне» (А. Пушкин, Черная шаль); «*Молчит* в груди моей Порыв болезненных страстей» (М. Лермонтов, Преступник).

Еще ярче это движение бытия субъекта проявляется в семантике фразеологических оборотов. Такое движение можно продемонстрировать фразеологическими оборотами, синонимичными глаголами *умирать* и *умереть*, т. е. типа *ложиться в могилу (землю, гроб)* «умирать» — *лечь в могилу (землю, гроб)*, *уснуть вечным (последним, мертвым) сном* «умереть», и фразеологизмами типа *лежать в могиле (гробу, земле), спать мертвым (непробудным, вечным) сном*. Ср.: «Но там, увя, где неба своды сияют в блеске голубом, Где тень олив легла на воды, *Заснула ты последним сном,*» (А. Пушкин, Для берегов отчизны дальней...); «Когда ж пойду на новоселье (*Заснуть* ведь общий всем удел), Скажи: «Дай бог ему веселье! Он в жизни хоть любить умел» (А. Пушкин, К Н. Г. Ломоносову); «И те ясны очистухнули, *Спит могильным сном* Красна девица!» (А. Кольцов, Не шуми ты, рожь...); «Жизнь, друг мой, бездна Слез и страданий... Счастлив стократ Тот, кто, достигнув Мирного брега, *Вечным спит сном*» (В. Жуковский, Майское утро). Также: «Отцы их и деды век в своем родном селе проживали. Родились тут, тут и *в землю ложились*» (М. Алексеев, Наследники); «Пусть свет и радость прежних встреч Нам светят в трудный час, А колы придется *в землю лечь*, Так это ж только раз» (М. Исаковский, В прифронтовом лесу); «Спросите вы у тех солдат, что *под березами лежат*, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны» (Е. Евтушенко, Хотят ли русские войны...).

Однокоренные глаголы (фразеологизмы, содержащие такие глаголы) выстраиваются в цепочки, соотносящиеся с фазами бытия, хотя во многих случаях и неполные: *замолкать* — *замолчать* — *молчать*, *умирать* — *умереть*, *ложиться в могилу* — *лечь в могилу* — *лежать в могиле*, *уснуть вечным сном* — *спать вечным сном*, *засыпать* — *заснуть (уснуть)* — *спать* (т. е. фазы склонения к концу — исчезновения — несуществования). Такие цепочки можно продолжить, включив в них однокоренные глаголы, именующие фазы, которые предшествуют фазе собственно существования.

Например: *засыпать* (склонение к концу) — *заснуть* (исчезновение) — *спать* (несуществование) — *просыпаться* (возникновение) — *проснуться* (осуществление). Ср.: «Постой! Безумная тревога *Уснет* в измученной груди» (А. Фет, Смерти); «Где нет ни ожиданий, ни страстей, Ни горьких слез, ни славы, ни чести; Где вспоминанье *спит* глубокоим сном» (М. Лермонтов, Смерть); «И от этого хаоса в ней самой *просыпалась* какая-то ей самой непонятная злость» (А. Белый, Петербург); «*Проснулись* чувства, я сгораю, Томлюсь желаньями любви...» (А. Пушкин, Руслан и Людмила).

На основании рассмотренных отношений между различными группами класса глаголов бытия можно утверждать, по нашему мнению, что глаголы со значением собственно несуществования наряду с глаголами, называющими отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем, и глаголами, называющими отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось (о глаголах последних двух подгрупп см. ниже), отражают реальное несуществование и представляют его в языке как состояние субъекта, находящегося на «нулевой фазе» бытия — фазе несуществования, включенной в непрерывную цепь фаз бытия, сменяющих друг друга. Впрочем, если, например, для субъектов — названий чувств такая мена фаз принимается в качестве нормы (*чувства снят — чувства проснулись*), то для субъектов — имен людей переход с фазы несуществования на фазу, например, возникновения обычно (но не абсолютно!) запрещен: «Но не проснется звонкая струна Под белоснежною рукой твоей, Затем что тот, кто пел твою любовь, Уж будет *спать*, чтоб не *проснуться* вновь» (М. Лермонтов, Арфа).

Оппозиция «глаголы со значением собственно несуществования — глаголы со значением собственно существования» (см. рис. 4) с очевидностью предстает в антонимических противопоставлениях. Естественно поэтому наличие в подгруппе глаголов со значением несуществования глаголов с приставкой не (*недоставать*) или частицей не, стремящейся по существу стать приставкой (*не хватать, не быть*) (ср. наст. вр.—• *нет*). Такие глаголы с частицей не могут рассматриваться как нецельно-оформленные слова, которые занимают свое место в общей системе лексических оппозиций и обладают всеми свойствами элементарной единицы внутри этих оппозиций. «Парень протянул руку, на ней *не хватало* пальца» (В. Некрасов, В родном городе); «В городах же губернских никакого полуторамиллионного населения *нет, не бывало, не будет*» (А. Белый, Петербург). Примыкает к ним глагол — идентификатор группы — *не существовать*: «*Не существовало* ни крыши, ни оконных рам, ни дверей, нп полов. Все, что способно было гореть, сгорело» (П. Павленко, Счастье); «В России никогда *не существовало* обычая пли традиции давать параллельные географические названия».

Противопоставленность глаголов со значением собственно несуществования и глаголов со значением собственно существования выявляется при минимальном синтаксическом преобразовании предложений, содержащих такие глаголы,— введении в них частицы не, выражающей отрицание. Например, с одной стороны, *Ветерок веет* «он есть, существует», с другой стороны, *Ветерок не веет* = *Ветерок спит* «его нет, он отсутст-

<sup>7</sup> «Но *вечным сном* пока я *сплю*» (А. К. Толстой, Иоанн Дамаскин). Употребление наречия *пока* указывает на то, что здесь сочетание слов *пока сплю* называет отсутствие того человека, которого сейчас нет, но возникновение (воскресение) которого предполагается в будущем. Также: «И *стала* все прошлые века Светло и тихо в глубине природы» (Б. Ахмадулина, Моя родословная) — об еще не родившемся человеке.

дует»: «Кругом все тихо, ветры *спят*, Прохлада вешняя *не веет*...» (А. Пушкин, Руслан и Людмила). С одной стороны, *Ветер спит* «его нет, он отсутствует», с другой — *Ветер не спит* = *Ветер свистит* «он есть, существует»: «Да ветер не *спал*, все посвистывал...» (Ч. Айтматов; Буранный полустанок). Также: *Дождь отдыхает* «его нет, он отсутствует» и *Дождь не отдыхает* = *Дождь идет* «он есть, существует»: «Дождь шел уже вторую неделю. Не *отдыхал* даже ночью» (Ф. Видрашку, Набережная надежды). В последнем примере из-за темпорального детерминанта «ночью» возможно двоякое понимание ситуации несуществования: абсолютное или неабсолютное, временное отсутствие. При употреблении в предложениях, имеющих в качестве предикатов глаголы со значением собственно несуществования, квалификаторов типа «вообще», «никогда»,

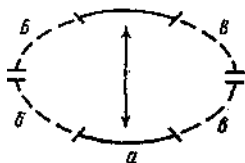


Рис. 4.

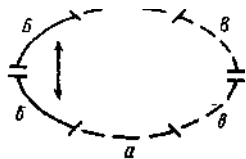


Рис. 5.

«во всем мире» и т. п., эти предложения будут выражать полное, безотносительное несуществование. При этом несуществование никогда не будет представлять собой абсолютное небытие (см. выше). С другой стороны, значение такого полного, но квазиабсолютного несуществования регулярно выражается отсутствием каких-либо квалификаторов [19].

Иногда в тексте могут быть указания на какие-либо ограничения состояния несуществования. Такое ограничение выражается различными способами: 1) смысловыми ограничениями, вытекающими из контекста; 2) разного рода определителями к субъекту несуществования, сужающими понятие, называемое субъектом; 3) детерминантами, ставящими пространственные, временные, условные и др. пределы состоянию несуществования. 1) «*Дремлет* стужа, сок из веток выжав, в чашах *спят*, умаявшись, ветра» (В. Тушинова, Дремлет стужа, сок из веток выжав...) («стужа и ветер отсутствуют»). Однако наличие деэпричастий *выжав* и *умаявшись* подсказывает, что стужа и ветер были, т. е. здесь несуществование ограничивается смыслом контекста; 2) «Местность была глухая, и почтовая связь с внешним миром полностью *отсутствовала*». В этом случае несуществование ограничивается определением «почтовая» (наличие других возможностей связи не отрицается); 3) «Счастье таких усилий не любит, *обходит*. Когда ищут его, как белые грибы» (В. Дудинцев, Белые одежды). Счастья нет, однако оно отсутствует только тогда, когда становится предметом поисков. Здесь налицо ограничивающий детерминант условия.

Такое ограничение состояния несуществования и способы его выражения могут стать предметом специального изучения, но в настоящей статье такая задача не ставится. Для выявления изучаемых оппозиций рассматриваются значения только минимального контекста: субъект глагольный предикат (синтаксический комплекс, глагольный фразеологизм), в котором глаголы своей семантикой передают значение несуществования. *Дремлет* стужа — стужи *нет*, *Спит* ветер — ветра *нет*. Связь *отсутст-*

*вует* — связи *нет*, *Счастье обходит* (людей) — счастья *нет*. Использование в последнем примере (и во всех примерах такого типа) дополнения к глаголу, требующегося вследствие сильного управления глагола, не ограничивает несуществования, а наоборот, показывает его всеобщность.

В семантической структуре всех глаголов, входящих в оппозицию «глаголы, называющие отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем,— глаголы фаз, предшествующих фазе собственно существования» (см. рис. 5), присутствует общий элемент — предполагаемость, потенция существования. Различие между членами оппозиции состоит в том, что у глаголов, называющих отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем,— это предполагаемость существования вообще, а у глаголов существования, именующих фазы, которые предшествуют фазе собственно существования,— это предполагаемость собственно существования. Нередко в рассматриваемую оппозицию втягиваются и глаголы, именующие фазу собственно существования. Рассматриваемое противопоставление реализуется обычно в антонимических (в широком понимании) контекстах: «Пусть *дует* ночь, пусть *опоздает* утро» (К. Симонов, Я не спешу...; «Такая благодать *держалась, отодвигалась* зима все». В. Афонин, Клюква ягода); «Но дни шли, побег *затягивался*, напряжение *нарастал*» (Д. Гусаров, Пропавший отряд).

Следует отметить, что появление в предложениях с глаголами, называющими отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем, некоторых детерминантов ведет к ослаблению в семантике глагола элемента «отсутствие существования» и усилению элемента «предполагаемость существования». Например: «Свадьба моя *отлагается* день от дня далее» (А. Пушкин, Письмо П. А. Плетневу, 1830, 31 авг.); «Решение вопроса *отодвинулось* на неопределенное время» (В. Вересаев, Без дороги).

Употребление квалификатора «еще» при глаголе со значением собственно несуществования указывает, что это сочетание тоже называет отсутствие того, что должно было быть, но не осуществилось и предполагается в будущем: *Музыка еще молчит*, т. е. «музыки еще нет, но предполагается, что она будет» (ср.: *Музыка молчит*); «Тогда гроза двенадцатого года *Еще спала*. *Еще Наполеон* Не испытал великого народа» (А. Пушкин, Была пора: наш праздник молодой...). Здесь предположение (и должествование) проявляются в аспекте авторского знания: поэт уже знает, что война была.

Если между глаголами собственно несуществования и собственно существования возможна антонимическая сопоставленность, выраженная частицей *не*, то между глаголами рассматриваемых множеств сопоставленность выявляется комплексом: частицей *не* и квалификатором «еще» при глаголах существования. *Весна задержалась* = *Весна еще не наступила*. «Что ж *медлит* ужас боевой? Что ж битва первая *еще не закипела*?» (А. Пушкин, Война).

Оппозиция «глаголы, называющие отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось,— глаголы фаз собственно бытия, находящихся за фазой собственно существования» (см. рис. 6), характеризуется возможностью одними и теми же лексемами называть или исчезновение, или отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось. С одной стороны, *Он говорил, но голос его замирал и в конце концов замер* («голос был и исчез»). С другой — *Он хотел сказать, но голос его замер* («голоса не было»). «Полет кончился, опасность миновала» (В. Саянов, Небо и земля)

(«опасность была и исчезла»). «— Кто такие?— крикнул старшина, успешный с автоматом наготове выдвинуться к середине обоза.— Свои! Свои! — отозвалось сразу несколько обрадованных голосов.— Мы из плена! Старшина уже понял, что беда *миновала*, но все еще остерегался поверить в это до конца» (Д. Гусаров, Пропавший отряд) («была только возможность беды, но самой ее не было»).

Некоторые примеры употребления глаголов, называющих отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось: «Надеюсь, что свадьба его *расстроится*» (А. Пушкин, Письмо Н. Н. Пушкиной, 1833 г., 12 сент.);

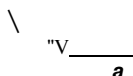


Рис. 6.

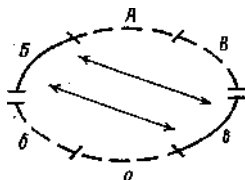


Рис. 7.

«По его [Пушкина] мнению, несчастье, каким грозила примета, должно *миновать* по истечении дня...» (В. Нащокина, Нов. вр., 1898, № 8115); «Но обратный билет ему уже вручили, и он решил, что встреча *отменилась*» (А. Рыбаков, Дети Арбата). Существуют и «фразеологизмы с этим значением. Например, *замереть на устах, застрять в горле*, значение которых определяется обычно в словарях как «остаться невысказанными (о словах, упреках и т. п.)». «Едва злодей узнал Руслана, В нем кровь остыла, взор погас, В *устах* открытых *замер* глас, И пал без чувств он на колени...» (А. Пушкин, Руслан и Людмила); «Я снова кивнула, потому что слова *застряли* у меня *в горле*» (Е. Мещерская, Трудовое крещение); «Мне сделалось жаль его, жестокие слова *замерли в горле*, и слава богу: я ведь хотел объявить ему, что отлучался из Академии...» (А. Борщаговский, Где поселится кузнец).

Контексты показывают, что обычно при описании отсутствия того, что могло бы быть, но не осуществилось, употребляются глаголы совершенного вида. Соотносительные же по видовой паре глаголы несовершенного вида появляются в ситуации, когда несуществование относится не только к субъекту, но и к самой возможности появления субъекта, т. е. в таких глаголах контаминируется значение собственно несуществования и значение отсутствия того, что могло бы быть, но не осуществилось. Например, *Счастье обошло нас стороной* («счастья не было, но возможность счастья была») и *Счастье обходит нас стороной* («счастья также не было, но о наличии/отсутствии возможности счастья в этом случае сказать ничего нельзя: происходит нейтрализация этих значений»).

Оппозиция «глаголы, называющие отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось,— глаголы фаз собственно бытия, предшествующих фазе собственно существования» (см. рис. 7),— наименее четкая из всех рассмотренных оппозиций. Члены этой оппозиции имеют то общее, что в их семантике содержится указание на исход некоторого возможного бытийного состояния: глаголы фаз собственно бытия, предшествующих фазе собственно существования, показывают исход этих состояний в собственно существование, а глаголы, называющие отсутствие того, что могло

бы быть, но не осуществилось,—исход в состояние несуществования. Т. е. глаголы последней группы могут называть отсутствие предмета или явления, собственно существования которых не было, но была возможность этого существования,<sup>11</sup> исчезнувшая на фазе предстояния (или на фазах, заключенных между фазами предстояния и собственно существования) этого предмета или явления, т. к. на данных фазах бытия предметы или явления есть и в то же время их нет: «Начало содержит в себе и „Nichts“ и „Sein“, оно есть их единство: ... „начинающегося еще нет; оно лишь направляется к бытию“...» [20]. Например, «Готовые сорваться упрёки... застряли у него в горле». (Г. Шолохов-Синяевский, Волгины). (Противопоставляются глагольный фразеологизм, называющий отсутствие того,

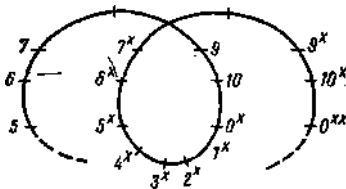


Рис. 8.

что могло бы быть, но не осуществилось,—• *застрять в горле* — и глагол фазы осуществления — сорваться.) Также: «Одним разом *разрушилось*, казалось, уже *свершившееся*. Марина знала: отец рассчитывал ее замужеством поправить свое положение, но теперь этому *не бывать*» (В. Тумасов, На расстанях).

Глагол, называющий отсутствие того, что могло бы быть, но не осуществилось, может, минуя глаголы, называющие фазы, которые предшествуют фазе собственно существования, противопоставляться глаголу со значением каузации существования группировки глаголов действия. «— Ваш сообщник Гвельтов арестован морским патрулем. Провокация, которую вы *затеяли*, *провалилась*» («собственно провокации не было»); (Е. Гуляковский, Шорох] прибой); «Хотел *сказать*, как было, сразу — Сама *застряла в горле* фраза...» (Я. Белинский, Побег).

Таким образом, русский глагол показывает несуществование в ряде оппозиций, нисходящем как по степени их функциональной нагруженности, так и по степени конкретизации их семантики, а следовательно, по количеству глаголов, входящих в противоположные члены этих оппозиций.

Жизнь (бытие) любого предмета или явления раскрывается перед нами средствами русского глагольного слова как непрерывная цепь экзистенций, которые все вместе составляют «спираль бытия». Жизнь (бытие) возникает, существует, исчезает, отсутствует (не существует), затем возрождается вновь, но уже в новом качестве, чтобы снова пройти все стадии этой бесконечной спирали (см. рис. 8).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Виноградов В. В.* Русский язык (Грамматическое учение о слове). М.; Л., 1947. С. 651.

2. Брутян Г. А. Язык и картина мира // *Философские науки*. 1973. № 1.
3. Караулов Ю. Н. *Общая и русская идеография*. М., 1976.
4. Роль человеческого фактора в языке. *Язык и картина мира* / Отв. ред. Серебrenников Б. А. М., 1988.
5. Воронцова Е. П. Соотношение денотативной и сигнификативной информации при реализации картины мира лексико-семантическими средствами (на материале французского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1987. С. 10—11.
6. Колианский Г. В. *Логика и структура языка*. М., 1965. С. 175.
7. Никитин М. В. *Лексическое значение в слове и словосочетании*. Владимир, 1974. С. 6.
8. Кацнельсон С. Д. *Содержание слова, значение и обозначение*. М.; Л., 1965. С. 18.
9. Степанов Ю. С. *В трехмерном пространстве языка (Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства)*. М., 1985. С. 3.
10. Панфилов В. З. *Гносеологические аспекты философских проблем языкознания*. М., 1982. С. 95.
11. Колианский Г. В. *К проблеме понятия и значения* // *ИЯШ*. 1962. № 1. С. 33.
12. Рассел Б. *Описание* // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XIII. М., 1982. С. 42.
13. Колианский Г. В. *Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте* // *Принципы и методы семантических исследований*. М., 1976. С. 7.
14. *Философская энциклопедия*. Т. I. М., 1960. С. 209.
15. Нарский И. С. *Понятие «существование», логический позитивизм и формальная логика* // *Философские вопросы современной формальной ЛОГИКИ*. М., 1962. С. 178.
16. Шведова Н. Ю. *Лексическая классификация русского глагола (на фоне чешской семантико-компонентной классификации): Докл. на IX Международном съезде славистов* // *Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов: Докл. советской делегации*. М., 1983.
17. Шведова Н. Ю. *Русские бытийные глаголы и их субъекты* // *Слово и грамматические законы языка. Глагол*. М., 1989.
18. Попов В. Н. *Глаголы со значением несуществования в их сопоставлении с глаголами со значением собственно бытия* // *Описательное и сравнительно-типологическое изучение русского языка и языков Азии, Африки и Европы*. М., 1987. Деп. в ИНИОН АН СССР. 23.09.87. № 31254.
19. Арутюнове Н. Д., Ширяев Е. И. *Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение*. М., 1985. С. 37.
20. Ленин В. И. *Конспект книги Гегеля «Наука логики»* // *Поли. собр. соч.* Т. 2'. С. 93.

© 1990 г.

НОАНЕСЯН Е. Р.

### ПОНЯТИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ

Использование понятия перспективы вызвано необходимостью отразить такое языковое явление, когда одна и та же экстралингвистическая ситуация может быть описана с различных точек зрения (ср. понятия логического акцента, подчеркивания [1, с. 204—205]). Так, ситуация торгового события [2] предполагает четыре актанта — покупателя, продавца, деньги и товар. Но конкретное языковое выражение, хотя оно и вызывает представление о всей ситуации торгового акта, выделяет (выносит на передний план, включает в перспективу), тем не менее, только один вполне определенный ее аспект. Глагол *продавать*, например, выносит в перспективу продавца и товар, глагол *покупать* — покупателя и товар, глагол *тратить* — покупателя и деньги, глагол *стоит* — товар и деньги. Из элементов, выдвигаемых на передний план, один получает роль субъекта, а другой — роль прямого объекта.

Обратимся к глаголам, описывающим перемещение из одной пространственной точки в другую. В ситуации движения субъекта X из точки Y в точку Z можно выделить два аспекта: это, во-первых, сам процесс движения X-а (= P), и, во-вторых, некоторое событие Q, к которому приводит этот процесс. Заметим, что событие Q может быть двух типов: оно может сводиться к прекращению локализации субъекта X в точке Y, либо оно означает начало локализации субъекта X в точке Z.

Итак, в ситуации перемещения X-а из точки Y в точку Z мы выделяем две сущности — процесс P и результирующее событие Q. И любой из этих аспектов может включаться в перспективу, что приводит к делению глаголов на два класса:

I класс: глаголы, выдвигающие в перспективу процесс P; типичный представитель — глагол *подниматься*;

II класс: глаголы, выдвигающие в перспективу точечное событие Q; типичный представитель — глагол *приходить*.

Смысловый инвариант для глаголов I класса имеет вид: «P; P — причина Q»; смысловый инвариант для глаголов II класса имеет вид: «Q; Q—результат P». Глаголы указанных двух классов противопоставлены друг другу в определенных отношениях. В частности, они обладают разными сочетаемостными возможностями. Так, например, только глаголы I класса способны присоединять наречные обороты типа *за X часов* (=инклюзивные дуративы), задающие величину времени от начала описываемого движения до его завершения. Ср.: *Петя поднялся на 5 этаж за 3 минуты* и *\*Петя пришел домой за 20 минут*. Следует, однако, оговорить, что невозможность квалификации длительности ситуации инклюзивными дуративами может объясняться и другими причинами. Имеются в виду случаи типа *\*Он прыгнул с дерева на землю за 2,5 минуты*, *\*Он*



упал с крыши за 6 минут и т. п. Невозможность таких высказываний определяется, по-видимому, тем, что существуют ситуации двух видов: 1) ситуации, длительность которых не является жестко фиксированной величиной (т. е. ситуации, длительность которых может варьироваться в определенных пределах). Так, ситуация «Петя поднялся на гору» могла иметь продолжительность и два, и три, и четыре часа; 2) ситуации, длительность которых является в представлении носителей языка строго определенной. Так, в ситуации падения физического тела время падения воспринимается как бы не поддающимся ни уменьшению, ни увеличению [имеется в виду обыденное представление о падении тела; известно, что у специалистов есть другие понятия, ср., например, *затяжной прыжок* (т. е. прыжок, длительность которого искусственно увеличена)].

Употребление же оборотов *за X часов* предполагает, что действие, которое они характеризуют, может иметь иную, чем называемая этими временными обстоятельствами, продолжительность — большую ( $X + Y$ ) или меньшую ( $X - Y$  часов). Этим определяется возможность их использования только при описании ситуаций первого из указанных типов (ситуаций, длительность которых не является жестко фиксированной), например, *Петя поднялся по лестнице за 2,5 минуты*. Здесь презумпцией употребления обстоятельства *за 2,5 минуты* является представление о том, что в принципе ситуация подъема по лестнице может занимать время, большее или меньшее, чем 2,5 минуты.

Строго определенная продолжительность (в представлении носителей языка) ситуаций второго типа (ситуации падения, например) обуславливает недопустимость их квалификации с помощью инклюзивных дуративов: *\*упасть за 3 минуты*.

Возвращаясь к делению глаголов на два класса, отметим, что для глаголов I и II классов различны условия сочетаемости с наречными выражениями, описывающими характер протекания процесса. Речь идет о выражениях типа *быстрыми шагами, легкой походкой, с трудом* и т. п. Вполне понятно, что глаголы I класса, т. е. глаголы, ставящие акцент на процессе движения, свободно присоединяют такие обстоятельственные обороты, например: *с трудом подняться на третий этаж, пересечь комнату быстрыми шагами* и т. д.

Глаголы II класса менее свободно сочетаются с наречными единицами рассматриваемого типа, и это легко объяснимо, ибо в отличие от глаголов I класса, в фокусе находится не процесс, а результат перемещения. Ср.: *Мы добрались до Москвы с большими трудностями* (*добраться* — глагол I класса) и *\*Мы приплыли в Ленинград с большими трудностями* (*приплыть* — глагол II класса).

Квалификация процесса движения при глаголах II класса допустима только в случае возможности перцептивного восприятия описываемого движения, иными словами, только в тех случаях, когда движение началось и окончилось на глазах говорящего/наблюдателя. Ср.: *Он медленно принес книгу и вернулся на место* и *\*Он медленно принес книгу из библиотеки*. Или: *Он неторопливо вернулся к своему столу* и *\*Он неторопливо вернулся в Москву*. Неприемлемость вторых членов пар объясняется тем, что ими описывается движение, которое не может выступать как непосредственно наблюдаемое (ибо возможности наблюдения ограничены рамками движений на незначительные расстояния).

Язык обладает различными средствами для указания на присутствие внешнего по отношению к описываемой ситуации наблюдателя, и сочетание глаголов II класса, делающих ударение на результате (а не на про-

цессе) движения, с наречными выражениями, квалифицирующими именно характер протекания процесса, является, на наш взгляд, одним из таких средств.

Если сравнивать французский и русский языки, то оказывается, что распределение глаголов движения по выделенным двум классам неодинаково в этих языках. В целом для французского языка более характерны, чем для русского, глаголы I класса, т. е. глаголы, акцентирующие процесс движения. Так, французские глаголы *atener, apporter, accourir, revenir* и т. д. относятся к I классу, тогда как их русские словарные эквиваленты *привести, принести, прибежать, вернуться* — ко II, ср.: *atener qn, revenir en 20 minutes* ~ \**привести кого-либо, вернуться за 20 минут*.

Необходимо отметить, что глаголы I и II выделяемых нами классов традиционно относят к разным классам в семантических классификациях предикатов [3, 4]: считается, что первые обозначают процесс, имеющий в конце некоторое событие (т. е. процесс движения, завершающийся событием достижения некоторой пространственной точки, accomplishments), а вторые (т. е. глаголы II класса) — описывают лишь это конечное событие и относятся к так называемым точечным глаголам (achievements). Таким образом, глаголы типа *прийти, принести, вернуться* и т. п. не отделяются от таких действительно точечных глаголов, как *появиться, исчезнуть, войти* и т. п.

Представляется, что и глаголы I класса, и глаголы, условно названные глаголами II класса, задают ситуацию движения из одной пространственной точки в другую пространственную точку целиком, но только описывают эту ситуацию с разных сторон, в разной перспективе: глаголы I класса ставят ударение на процессе движения субъекта, а глаголы II класса акцентируют факт осуществления некоторого точечного события (например, факт достижения некоторой пространственной точки). В пользу тезиса о том, что глаголы II класса (*прийти, вернуться* и т. д.) включают не только отсылку к точечному событию «начать находиться в некоторой точке пространства», но и обозначение процесса движения, предшествующего этому событию, свидетельствует несколько фактов: 1) во-первых, то обстоятельство, что сам такой глагол или зависимые от него элементы могут содержать сведения о конкретном способе передвижения (ср.: *приехать, припрыть* и т. п.), что невозможно для глаголов, обозначающих действительно лишь точечное событие «начать находиться в некоторой пространственной точке», ср.: *^появиться бегом, ползком* и т. п.; 2) во-вторых, тот факт, что при определенных условиях глаголы этого класса могут сочетаться с наречными выражениями, характеризующими именно процесс движения, ср.: *медленно вернуться на свое место*.

Таким образом, использование понятия перспективы при описании значений глаголов движения позволяет, как нам кажется, решить две частные задачи. С одной стороны, оно выявляет природу различия (которое на интуитивном уровне чувствуется носителями языка), существующего между глаголами типа *подняться, добраться, переплыть* и т. п. и глаголами типа *прийти, принести, вернуться* и т. п. (которые мы назвали соответственно глаголами I и II классов). С другой стороны, понятие перспективы объясняет определенное сходство между глаголами II класса и точечными глаголами (подтверждением наличия такого сходства является традиционное толкование глаголов II класса как точечных), ибо глаголы II класса, описывая некоторую сложную ситуацию целиком, вносят в перспективу точечное событие, являющееся частью этой ситуации.

Понятие перспективы оказывается, на наш взгляд, удобным еще в од-

ном случае. Среди предикатов, обозначающих точечные ситуации, особое место занимают глаголы, которые, помимо самого точечного события, могут описывать также некоторые виды процессов, предшествующие или следующие за этим точечным событием. Иными словами, выделяется группа глаголов, которые, задавая точечные события в канонических случаях, могут включать также отсылку к некоторым связанным с этим изменением процессам. К этой группе относятся, например, глаголы *входить* и *выходить*. Так, каноническим значением глагола *входить* является указание на одновременное прекращение локализации субъекта X в пространстве Y и начало локализации X-а в пространстве Z (более замкнутом, чем пространство Y). Но этот глагол может обозначать также и движение, следующее за названным точечным изменением, о чем свидетельствуют такие случаи употребления глагола, как *Маши вошла в комнату быстрыми шагами* (ср. также русские глаголы *вбежать*, *ввехать*, *вползти* и т. п.). Здесь глаголом *входить* описывается явление начала локализации Маши в комнате и процесс ее движения по комнате. Таким образом, в данном контексте глагол задает неопредельную ситуацию (см. определение неопредельных ситуаций в [5, 6]), ибо для движения по комнате в принципе нельзя назвать фазу, после осуществления которой оно не может уже продолжаться; тем не менее этот глагол не может встречаться в допустимых для неопредельных глаголов контекстах типа:  $V_{сов}$  и *продолжать* V — *\*Она вошла быстрыми шагами и продолжает входить*. Это связано, на наш взгляд, с тем, что глагол *входить* при обозначении указанной неопредельной ситуации включает в перспективу точечное изменение «начать находиться в некоторой пространственной точке». Существовало, что данный глагол может включать указание не на последующий, а на предшествующий этому изменению процесс, что определяется, по-видимому, пространственным положением говорящего/наблюдателя. Так, одно и то же предложение *Она вошла в комнату быстрыми шагами* может обозначать либо а) процесс движения по направлению к комнате и последующее точечное изменение «начать быть в комнате», если говорящий/наблюдатель находится не в комнате, либо б) точечное изменение «начать быть в комнате» и последующий процесс движения по комнате, если говорящий/наблюдатель находится в комнате (а возможно, и то и другое одновременно, если говорящему видно и то, что делается внутри комнаты, и то, что происходит вне ее).

Отмеченным выше свойством описывать не только точечное событие, но и процесс движения, предшествующий этому событию, обладают и многие глаголы «контакта». Отнесение таких предикатов к точечным объясняется тем, что в принципе фаза предшествующего перемещения одного из физических тел, вступающих в контакт, факультативна. Иными словами, наряду с ситуациями вступления в контакт объектов, находящихся до начала описываемого действия на определенном расстоянии друг от друга, эти глаголы обозначают и ситуации осуществления контакта между объектами, расположенными в непосредственной близости друг от друга (перемещение одного из физических тел есть и в последнем случае, однако, в отличие от первого, оно происходит как бы мгновенно и соответственно и знаменует наступление контакта между телами).

К названным предикатам можно отнести глаголы *коснуться*, *прикоснуться*, *повесить*, *облокотиться*, *положить* и др., см., например, использование глагола *повесить* для отсылки к длительной ситуации, складывающейся из точечного, мгновенного события «объект начинает висеть в определенном месте» и процесса предшествующего перемещения объекта

к указанной точке (о чем свидетельствует наречие *медленно*, значением которого является характеристика именно процессов): *Чуть позже Ивонна вошла в бюро и медленно повесила ключ на доску.*

Глаголы «прекращения контакта» могут описывать, помимо самого мгновенного события нарушения контакта, процесс, следующий за этим точечным событием, например: *От колонны демонстрантов медленно отделилась небольшая группа людей.*

Сравнение материала русского и французского языков обнаруживает тот интересный факт, что существуют такие точечные глаголы, которые в одном языке могут использоваться как для описания некоторого точечного события, так и для описания более сложной ситуации, включающей также предшествующий или следующий за этим событием процесс, в то время как их словарные эквиваленты в другом языке всегда описывают точечные события. Ср., например, французский глагол *disparaître* и его русский аналог *исчезать*: *La 4-chevaux disparut a toute Vitesse* «Малолитражка \*исчезла на полной скорости». Глагольная форма *disparut* описывает в данном случае процесс движения машины от говорящего/наблюдателя, завершившийся прекращением нахождения машины в поле зрения говорящего/наблюдателя.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. М., 1974.
2. Фильмор Ч. Дело о падеже открывается вновь // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
3. Vendler Z. Verbs and times // Vendler Z. Linguistics in philosophy. Ithaca, 1967.
4. Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982.
5. Гарей Г. Б. Глагольный вид во французском языке // Вопросы глагольного вида. М., 1962.
6. Lyons J. Semantics. V. I—II. Cambridge; London; New York; Melbourne, 1977.

## ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Среди рукописных материалов В. И. Даля (1801—1872), хранящихся в Отделе рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Шелдрина, находится беловой автограф словаря воровского арга под названием «Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка» (ф. 234, ед. хр. 9). «Столичные, особенно питерские, мошенники, — писал В. И. Даль в статье „О наречиях русского языка“, — карманники и воры различного промысла, известные под именем мазуриков, изобрели свой язык, впрочем, весьма ограниченный и относящийся исключительно до воровства. Есть слова общие с офенским языком..., но из немного, больше своих... Этим языком ... говорят также все торговцы Апраксина-двора, как надо полагать, по связям своим и по роду промысла» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955. С. LXXVII). Отдельные слова воровского арга В. И. Даль приводит в своем словаре, но в целом оно нашло в словаре лишь весьма ограниченное отражение.

Беловой автограф ориентировочно датирован 1850-ми годами, однако сам словарь, по-видимому, был составлен раньше. В 1869 г. им пользовался известный писатель и этнограф С. В. Максимов при работе над статьей «Тюремный словарь. Искусственные (байковые, ломанские и кантожные) языки», помещенной в приложении к I тому его книги «Сибирь и каторга». С. В. Максимов сообщает: «Музыка, или словарь карманников, то есть столичных воров, которым мы пользуемся в настоящем случае, составлен в 1842 году, проверен и дополнен сообщениями новых и подтверждением старых слов в прошлом 1869 году» (Максимов С. Сибирь и каторга. Ч. 1. СПб., 1871. С. 446). Фразы на «байковом языке», которые приводит С. В. Максимов, заимствованы им из словаря В. И. Даля. Отмечал С. В. Максимов и некоторые изменения в лексическом составе «музыки», которые произошли за 27 лет.

1850-е годы вообще отмечены интересом к воровскому аргу. В 1859 г. газета «Северная пчела» поместила анонимный словарь под названием «Собрания выражений и фраз, употребляемых в разговоре с петербургскими мошенниками» (24 декабрь). Начиная с 1858 г. материалы о тайной жизни Петербурга собирал В. В. Крестовский, который использовал их в своем романе «Петербургские тайны» (впервые опубликован в 1863—1866 гг.). В. В. Крестовский приводит целые диалоги на воровском арге и специальные словарики в конце некоторых глав (см.: *Смирнов Н.* Слова и выражения воровского языка, выбранные из романа В. Крестовского «Петербургские трущобы» ИОРЯС. 1899. Т. 4. Кн. 3. С. 1065—1087).

Научное собрание и изучение воровского арга по-настоящему началось только в XX в. (см. библиографию в приложении к статье: *Лихачев Д. С.* Черты первобытного примитивизма воровской речи // *Язык и мышление.* Т. 3—4. М.: Л., 1935. С. 94—99). Тем большим интерес представляет первый по времени опыт лексикографической обработки воровского арга столицы Российской империи.

Тематически словарь распадается на две части. В первой даются отдельные слова и устойчивые выражения, во второй — законченные предложения. Слова и выражения объединены в группы по тематическому признаку: названия людей, мест и ситуаций, вещей, действий и т. д.

Рукопись представляет собой писарскую копию на шести листах. В конце непосредственно под текстом с левой стороны приписаны карандашом, по-видимому, рукой В. И. Даля дополнительно один фразеологический оборот (в правом столбике приведено его значение) и внизу листа два слова (без указания значений).

Листы разделены на две равные части красной вертикальной чертой, причем в левом столбике приводятся слова, фразеологизмы и предложения на воровском арге, а в правом — их толкования. Синонимические слова объединяются фигурной скобкой, и справа им соответствует одно общее толкование. В обоих столбиках первое слово каждой строки написано с заглавной буквы без кавычек. В правом столбике после слова, фразеологизмов и предложений последовательно ставилась точка. В левом столбике ставилась только после предложений, а после слов и фразеологизмов, как правило, не ставилась.

При подготовке к публикации текст приближен к современным орфографическим нормам. Слова и фразеологизмы даются с заглавной буквы без точки, толкования — в кавычках со строчной буквы. Предложения набираются курсивом, а их толкования — с заглавной буквы и с точкой в конце.

*Топорков А. Л.*

© 1990 г.

В. И. ДАЛЬ

**УСЛОВНЫЙ ЯЗЫК ПЕТЕРБУРГСКИХ МОШЕННИКОВ,  
ИЗВЕСТНЫЙ ПОД ИМЕНЕМ МУЗЫКИ ИЛИ БАЙКОВОГО ЯЗЫКА**

<b>Мазурик</b>	«мошенник, из наших»
<b>Маз</b>	«мошенник первой руки, мастер своего дела»
<b>Клёвый маз</b>	«атаман шайки»
<b>Жулик</b>	«малолеток, ученик мошенника»
<b>Мешок</b>	«барышник, покупающий воровские вещи»
<b>Лихач</b>	«извозчик, который заодно с мошенниками»
<b>Фараон</b>	«будочник»
<b>Бутырь</b>	«городовой»
<b>Капложник</b>	«полицейский»
<b>Подлипало!</b>	
<b>Фига J</b>	«полицейский лазутчик»
<b>Карман I</b>	
<b>Выручка }</b>	«квартальный надзиратель»
<b>Клой</b>	«следственный пристав»
<b>Мих лютка</b>	«жандарм»
<b>Стрела</b>	«казак»
<b>Стрема</b>	«обход, дозор, часовой, сторож, дворник»
<b>Мудак</b>	«мужик»
<b>Тальгай</b>	«военный»
<b>Хам</b>	«лакей»
<b>Трясогузка</b>	«горничная»
<b>Барчук</b>	«господин во фраке»
<b>Аршин</b>	«купец»
<b>Хер</b>	«пьяный, хмельной»
<b>Маруха</b>	«развратная женщина»
<b>Шатун</b>	«винный погреб»
<b>Канна</b>	«кабак»
<b>Заделье</b>	«свадьба»
<b>Уборка</b>	«похороны»
<b>Касса</b>	«театр, представление»
<b>Толкун</b>	«толкучий рынок»
<b>Клей</b>	«всякая воровская вещь»
<b>Сара )</b>	
<b>Бабки J</b>	«деньги»
<b>Колесо ^</b>	
<b>Царь J</b>	«рублевик»

Рыжик	«червонец»
Рыжая сара	«полумпериал»
Финаны	«ассигнации»
Темная сара	«фальшивые деньги»
Финан I	
Шиска!	«бумажник»
Шмель	«кошелек с деньгами, мешок, кисет»
Ширман	«карман»
Правик	«правый карман»
Левик	«левый карман»
Теплуха	«шуба, мех»
Бурка	«шинель, плащ»
Шифтан	«армяк»
Бандырь	«сюртук, фрак»
Комзолка	«жилет»
Шкеры	«пantalоны»
Камлюх	«шапка»
Грабли	«перчатки»
Коыьки	«сапоги»
Лепень	«платок карманный»
Персяк	«платок шелковый»
Дырбасы	«дыры»
Голуби	«белье»
Яманый	«негодный, нехороший»
Клёвый	«хороший, красивый, дорогой»
Скамейка	«лошадь»
Рубашка	«конская сбруя»
Мякоть	«подушки с экипажей»
Скуржа	«серебро»
Сверкальцы	«драгоценные камни»
Обруч	«кольцо, перстень»
Лоханка	«табакерка»
Камбала	«лорнет»
Двуглазая	«театральная трубка»
Стуканцы	
Веснухи J	«часы»
Слам	«доля добычи»
Сережка	«замок»
Стриканцы	«ножницы»
Жулик	«нож»
Фомка	«небольшой лом, чем свертывают замки»
Камышевка	«лом большой»
Мальчишка	«долото»
Вергун	«коловорот»
Дождевик	«камень, булыжник для случайной обороны»
Мычки	«отмычки, поддельные ключи»
Бирка	«письменный вид»
Глаза	«паспорт»
Темный глаз	«фальшивый паспорт»
Музыка	
Байковский язык]	«устойчивый язык воров»

<b>Крякавки</b>	«связанные руки»
<b>Скуп</b>	«складчина для выкупа, если кто попался»
<b>Зетить X</b>	«зорко глядеть»
<b>Стремить)</b>	«разуметь мошеннический язык»
<b>Знать мызыку</b>	«заниматься воровством»
<b>Ходить по музыке</b>	«обманывать»
<b>Обначивать</b>	«подговаривать на воровство»
<b>Подначивать</b>	«подговорить прислугу в доме на воровство»
<b>Захороводить</b>	«толкать в давке»
<b>Трекать</b>	«втолкаться, втесниться»
<b>Втрекаться</b>	«оглянуться невпопад, вынимая из кармана»
<b>Трокнутья</b>	«покуситься неудачно на воровство»
<b>Острёмиться</b>	«ощупать»
<b>Ошмалать</b>	«толкнуть товарища неосторожно и помешать ему»
<b>Агалчить</b>	«вынуть из кармана»
<b>Выначить!</b>	«притвориться пьяным»
<b>Срубить J</b>	«скрыть, заслонить»
<b>Прихериться</b>	«украсть, стянуть»
<b>Затынить</b>	«ограбить на улице»
<b>Стырить</b>	«передать краденую вещь»
<b>Сворочать бурку</b>	«переделать краденую вещь»
<b>или телуху</b>	«разделить добычу»
<b>Перетьрыть</b>	«бежать»
<b>Переиначить</b>	«ускакать на извозчике, который заодно с ворами»
<b>Раздырбанить</b>	«надеть»
<b>Хрять</b>	«продать краденую вещь»
<b>Ухнуть \</b>	«ночевать на улице»
<b>Ухрять/</b>	«жить без денег, в нужде»
<b>Оболочь</b>	«попасться в воровстве»
<b>Спурить \</b>	«попасться неопасным образом, где можно освободиться»
<b>Пропулить/</b>	«попасться без надежды на освобождение»
<b>Гопать</b>	«убить кого»
<b>Ходить жохом</b>	
<b>Облонаться</b>	
<b>Влопаться</b>	
<b>Сгореть</b>	
<b>Приткнуть</b>	
<b>Хлобыснуть</b>	
<b>Шаркнуть</b>	
<b>Чебурахнуть</b>	«ударить, прибить»
<b>Свиснуть</b>	
<b>Дать чертоплешину</b>	
<b>Отначиться}</b>	«откупиться от полиции, когда поймают»
<b>Дать сламу/</b>	«доля выкупа на письмоводителя»
<b>Слам на крючка</b>	«доля выкупа на квартального»
<b>Слан на выручку</b>	



Сдам на клюя	«доля выкупа на следственного пристава»
Вытурен	«выслан из столицы»
Стрема	«будь осторожен, смотри!»
Есть миноги	«быть наказану плетью»
Пробрать дробью	«наказать розгами»
Смотреть на Знаменье	«быть наказану плетью публично»
Смотреть на Смальное	«быть наказану кнутом»

*Пойдем на клей.*— Пойдем воровать на готовое.

*Что тырил!* — Что украл?

*Срубил шмель да выначил скуржаную\* лоханку.*— Вытащил кошелек с деньгами да серебряную табакерку.

*Стрёма, стремится михлотка.*— Осторожней, жандарм глядит.

*Перетьерь жулику да прихерься.*— Передай мальчику, а сам прикинься пьяным.

*Вечор я было влопался, насиду фомкой отбился, да спасибо мазурик со стороны поздравил каплюжника дождевиком.*— Вчера вечером я было попался, да оборонился ломом, а товарищ пустил со стороны в полицейского булыжником.

*У Гришки есть бирка? Темный глаз есть.*— У Гришки есть паспорт? Есть, фальшивый.

*Он ведь уже ел миноги и вытурен, так не чиста была бирка.*— Он уже наказан плетями и выслан, так паспорт был нечистый.

*Ухрял он вечор, что ли?* — Ускакал он на извозчике вчера вечером или нет?

*Ухрял было, с бутырем справился, да стрела подоспела, облопался.*— Ушел было, с городовым справился, да подоспел казак и схватили.

*Мешок во что кладет веснухи?* — Что дает, во что ценит барышник часы?

*Я правлю три рыжаса, он четыре колеса кладет.*— Я прошу три червонца, он дает четыре целковых.

*Спурил на толкуне.*— Продад в толкучем рынке.

*Ошмалай правик.*— Пощупай, нет ли чего в правом кармане.

*Я вытырил шмель из-под бандыря.*— Я вытащил кошелек из сюртука или фрака.

*Раздырбанить сару или бабки «разделить деньги»*

*Режь ухо, кровь не канет.*— Верен, не изменит, хоть убей.

*Затынь жулика, чтоб не стремили каплюжники.*— Заслони мальчика, чтоб полицейские не увидали его.

*Что невпопад трёкаешь, вишь мага агалчил.*— Что ты не вовремя стал толкать, видишь, помешал товарищу вынуть из кармана, толкнул его.

*Три ночи гопал, три дня жохом ходил, да сворочал втроем теплуху, пропулили, раздырбанили, вот и с бабками.*— Три ночи ночевал на улице, три дня без гроша жил, да втроем с товарищами сняли с прохожего шубу, продали ее, деньги разделили, вот и с деньгами.

*Ты давно по музыке ходишь?* — Ты давно уже промышляешь воровством? *Да, жил я в хамах, тут навернулись мазуры, стали подначивать, захорюводили, там влопался я с ними, поглядел на Знаменье, да с тех пор уже и пошел по музыке.*— Да, я жил во услужении, тут мошенники стали подговаривать пособить им обокрасть барина, уговорили, я вместе с ними попался, высекли меня плетью на площади — с тех пор я уж и пустился на воровство.

>

\* В ркп. *суржаную*.

© 1990 г.

ДИБРОВА К. 10., СТУПИН Л. П.

## О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ Л. БЛУМФИЛДА -

Литература, посвященная лингвистическим взглядам Л. Блумфилда (1887—1949), оценке его роли в истории языкознания, весьма обширна. Тем не менее есть достаточные основания для того, чтобы вновь обратиться к творческому наследию этого выдающегося ученого. Как отмечают Д. Хаймз и Дж. Фог, стало уже почти традицией уделять первостепенное внимание только двум аспектам концепции Л. Блумфилда: «антиментализму» и своеобразному решению проблемы значения [1, с. 109]. Это обстоятельство не является случайностью. Ведь если справедливо, что говорящий вступает в обычную коммуникацию не как «глобальная» личность, в которой слиты все ее составляющие, а как личность «параметризованная», выражающая в акте речи одну из своих социальных функций или психологических аспектов [2, с. 357], то тем более «параметризованными» оказываются известные ученые и целые научные направления. Так, с именем акад. Н. Я. Марра сразу же ассоциируется подход к языку как к надстроечной категории и «четырёхэлементный анализ»; с именем А. Шлейхера — «биологическая концепция языка» и сочинение басыни на праиндоевропейском; с Л. Ельмслевом — постулат о примате структуры над субстанцией и необычность терминологии. Не избежали «параметризации» и американские дескриптивисты во главе со Л. Блумфилдом: их деятельность традиционно оценивается сквозь призму пресловутого «отказа от значения», а Блумфилду, как замечает В. А. Звегинцев, еще «автоматически приписывают бихевиоризм, полагая, что этим сказано все» [3, с. 190—191].

Столь же традиционна и «методологическая» периодизация развития блумфилдовской концепции. Согласно ей, первоначально — в первые десятилетия XX в. — Блумфилд основывается на «социальной психологии» В. Вундта и в целом следует в русле младограмматических воззрений. К середине двадцатых годов методологической основой блумфилдовской концепции становится бихевиоризм и одновременно происходит «крутая ломка его лингвистического мировоззрения» ([4, с. 117]; ср. [5, с. 222; 6, с. 156—157]).

Такая периодизация в свою очередь оказывает существенное воздействие на сам подход к научному наследию Л. Блумфилда. Действительно, если считается, что в работах первого периода «не содержится даже намека или попытки к построению концепции, отличной от традиционной» [7, с. 346] и только в работах двадцатых годов Блумфилд «полностью порывает со старой традицией и дает образец совершенно нового понимания языка» [8, с. 48], то естественно, что к последним-то и обращаются исследователи. Внутренняя же логика развития взглядов Блумфилда не привлекает особого внимания. Именно этому вопросу и посвящена настоящая статья.

Мы попытаемся показать, в частности, что ключевым для лингвистической концепции Л. Блумфилда являлся сложившийся в самом начале

его научной деятельности и оставшийся неизменным подход к языку как к набору речевых навыков (speech-habits) языкового коллектива. Наглядно свидетельствует об этом сопоставление «вундтовско-младограмматической» книги Блумфилда «Введение в изучение языка» (1914) и работ «дескриптивно-бихевиористского» периода, прежде всего знаменитой книги «Язык» (1933).

«Язык, отнюдь не являясь объектом или самостоятельным организмом какого-либо рода, есть просто набор навыков» [9, с. 259].

«...Эти навыки в каком-то смысле произвольны, различны в разных коллективах людей и постоянно меняются во времени. Каждый новый член такого коллектива должен обучаться речевым навыкам последнего точно так же, как он обучается всем прочим обычаям этого коллектива» [9, с. 81–82].

Подход к языку как к набору навыков определил и решение Л. Блумфилдом вопроса о социальном и индивидуальном в языке. По Блумфилду, речевые навыки — индивидуальные, поскольку «принадлежат» каждому члену коллектива как личности, т. е. процесс их формирования в каждом случае имеет свою собственную историю.

«Называя язык каждого высказывания уникальным, мы с еще большей обоснованностью могли бы сказать, что каждый говорящий имеет свои собственные языковые навыки... Навыки любого говорящего представляют собой соединение тех различных диалектов, которые он слышал и которыми пользовался, соединение единственное в своем роде, подвергшееся, кроме того, воздействию индивидуальных факторов» [9, с. 260–261].

Отсюда, однако, для Л. Блумфилда не следовало, что единственной реальностью являются индивидуальные языки: социальный характер речевых навыков представлял собой их главную характеристику в блумфилдовской концепции. Ср:

«Язык индивида не есть его творение, а состоит из навыков, воспринятых в ходе обмена высказываниями с другими членами коллектива. Отсюда вытекает неспособность индивида использовать язык в форме, отличной от той, в которой им пользуется весь коллектив в целом: он либо должен говорить, как все, либо не будет понят» [9, с. 17].

«...Единообразие языкового навыка поддерживается в коллективе предопределенностью речевого реагирования говорящих, в свою очередь, обуславливаемой тем, что они с младенчества слышат практически тот же самый набор слов, форм и конструкций» [9, с. 273].

«...язык состоит из двух слоев навыков. Один слой является фонематическим: говорящие имеют известные навыки работы голосовых связок, движения языка и т. д. Эти навыки составляют фонетическую систему определенного языка. Другой слой состоит из формально-семантических навыков.

...Из этих навыков складывается грамматика и лексикон языка» [10, с. 398–399].

«При достаточно внимательном наблюдении мы могли бы убедиться, что никогда два человека или даже один и тот же человек в разное время не говорят абсолютно одинаково» [10, с. 59].

«...В любой момент его [говорящего.— Д. К., С. Л.] язык представляет собой единственное в своем роде соединение навыков, усвоенных от разных людей» [10, с. 523].

«Очевидно, язык потому и выполняет свое назначение, что разные люди используют его одинаково. Каждый член той или иной социальной группы должен при соответствующих обстоятельствах произносить определенные звуки речи и, слыша, как эти звуки произносит кто-то другой, надлежащим образом на них реагировать. Он должен понята говорить и должен понимать, что говорят другие» [10, с. 43–44].

«...ни в какой другой области деятельность коллектива не регламентирована так строго, как в области языка. Огромные группы людей строят все свои высказывания, используя один и тот же запас лексических форм и грамматических конструкций» [10, с. 52].

Примат социального над индивидуальным в подходе Л. Блумфилда к речевым навыкам особенно наглядно проявляется при сопоставлении с соответствующей концепцией Ф. де Соссюра (на Л. Блумфилда, как и на Ф. де Соссюра, как известно, большое влияние оказали взгляды американского лингвиста Уитни). Соссюр, как и Блумфилд, определял язык как совокупность языковых навыков, но тут же указывал, что такое определение фиксирует только индивидуальное в языке, оставляя без внимания его социальную природу и изменчивость [11, с. 109—110]. У Блумфилда же речевые навыки всегда и прежде всего социальны, вследствие чего соссюровское противопоставление социального аспекта речевой деятельности (*langue*) ее индивидуальному аспекту (*parole*) оказывается излишним. Более того, язык у Блумфилда нередко вообще отождествляется с речевой деятельностью в целом [10, с. 58; 12, с. 240—241].

Подчеркивание социального характера речевых навыков определило другую важнейшую их характеристику в концепции Л. Блумфилда — их автоматизм, неосознанность говорящими:

Поскольку каждый человек с детства отработывает свою речь, пока детали ее осуществления не становятся автоматическими и неосознанными, он редко отдает себе отчет в тех особых чертах — например, фонетических или грамматических, — которыми она характеризуется» [9, с. 17].

«Владение языком не есть знание: говорящие совершенно не способны описать те навыки, которые составляют их язык» [13, с. 4].

Еще одна важнейшая характеристика речевых навыков в концепции Л. Блумфилда заключается в их постоянной изменчивости во времени.

«Язык не есть ...система, состоящая из неподвижных и неделимых элементов... Язык скорее представляет собой сложный набор ассоциаций между группировками данных опыта, каждая из которых сопровождается типовыми (*habitual*) звуковыми высказываниями, и все эти ассоциации... неизбежно подвергаются изменению с течением времени» [9, с. 70].

«В любой данный момент язык выступает как устойчивая система лексических и грамматических навыков,

Это, однако, лишь иллюзия. В каждом языке постоянно происходит медленный, но непрекращающийся процесс *языковых изменений*» [10, с. 311].

Понимание языка как набора постоянно изменяющихся неосознанных навыков говорения и понимания социального коллектива сыграло ключевую роль в решении Л. Блумфилдом тех проблем, которые встали перед ним на рубеже десятых-двадцатых годов. В этот период Л. Блумфилд, получивший уже определенную известность как автор «Введения в изучение языка» — «ни с чем не сравнимой книги по языкознанию на английском языке» [14, с. 50] — неожиданно перестает выступать в печати по вопросам теории лингвистики и целиком сосредоточивается на описании таких «экзотических» языков, как тагальский (1916—1917 гг.), а затем язык индейцев-меномони (1920—1921 гг.). Работа с этими языками, которыми сам исследователь не владел, поставила перед ним ряд методологических вопросов. Как писал впоследствии Блумфилд, «изучение менее известных языков сделало очевидным, что историческое или сравнительное исследование зависит от наличия двух или более наборов дескриптивных данных» [15, с. 178].

Следует отметить, что разграничение двух видов исследования — исторического и дескриптивного — не было для Блумфилда чем-то новым;

оно представлено уже в его самых первых работах: «При дескриптивном исследовании мы можем в крайнем случае обойтись данными, предоставляемыми ограниченным числом высказываний или говорящих. Для того же, чтобы установить точную картину одного-единственного языкового изменения, нам уже надо не только знать, когда, где, кем и при каких обстоятельствах оно было совершено, и проследить, каким образом шаг за шагом, час за часом, от дома к дому, от деревни к деревне оно распространялось, но и заглянуть в психику каждого говорящего [участовавшего в осуществлении изменения.— Д. К., С. Л.].— Историческое изучение языка, таким образом, в лучшем случае неполно. Его несовершенство можно частично восполнить с помощью особых приемов. Одним из них является так называемый „сравнительный метод“» [9, с. 199—200].

Тем не менее в этот период такое разграничение использовалось Л. Блумфилдом прежде всего для того, чтобы ограничить описание более ранних стадий развития языка от наложения на него черт, свойственных языку на современном этапе [16, с. 62—63]. В работах же более позднего времени данное разграничение преследует уже противоположную цель. «Чтобы описать язык, не нужно никаких сведений из области истории; фактически исследователь, который позволит подобным сведениям повлиять на его описание, неизбежно исказит материал» [10, с. 33].

Абсолютизация противопоставления дескриптивного и исторического подходов была вполне закономерна для Л. Блумфилда. Поскольку речевые навыки — автоматичны, неосознанны, то говорящие не способны осознать совершаемых ими изменений в языках, которые происходят «... механическим образом, вне зависимости от каких-либо нужд, желаний и страхов говорящих» [17, с. 106]. А раз так, то и лингвист, описывая язык в какой-то конкретный момент времени, должен отвлечься от непрерывной изменчивости речевых навыков.

В то же время неосознанность речевых навыков говорящими лишает научной ценности их «интроспективные наблюдения» за своим языком: «... мы не должны забывать, что язык — дело воспитания и навыка; человек может оказаться неспособным сообщать о тех или иных побуждениях просто потому, что в его запасе речевых навыков нет соответствующих формул» ЦО, с. 49].

Лингвист же способен описать язык «изнутри» (т. е. его содержательную сторону) только в тех «редких случаях, когда ... он сумел овладеть им примерно так, как им владеют его носители» [18, с. 403].

Однако здесь, как считал Л. Блумфилд, перед языковедом встает проблема методологии: истинность научного метода проверяется единственно последовательностью его применения [19, с. 104], научные принципы и методы следует либо принимать целиком, для всех случаев без исключения, либо целиком отвергать [20, с. 113]. Отсюда закономерно следует вывод, что описания языков «изнутри», т. е. от значения к форме, необходимо избегать даже в тех случаях, когда такие описания возможны: «Мы должны изучать языковые навыки людей — то, как они говорят, — не заботясь о тех психических процессах, которые, как можно предполагать, лежат в основе этих навыков или сопутствуют им» [21, с. 92].

Объектом дескриптивного исследования, таким образом, оказывается продукт акта речи, высказывание, которое рассматривается как состоящее из определенного набора незначущих «сигнализирующих единиц» (фонем). Сопоставление высказываний на основе допущения, что «все языковые формы обладают постоянными и поддающимися определению значения-

ми», ведет к выделению составляющих высказывания и определению их структуры (аранжировки). Совокупность наименьших значащих составляющих (морфем) образует лексикон языка, противопоставляемый совокупности аранжировок, образующих его грамматику. Анализ высказываний осуществляется с помощью особого приема, так называемого принципа непосредственно составляющих [10, с. 165—177]. Итогом дескриптивного исследования является «система языковой сигнализации», отражающая «сложную и произвольную систему навыков, накладываемую на индивида и не поддающуюся непосредственной психологической интерпретации» [17, с. 107].

Существенное значение для понимания особенностей выдвинутой Л. Блумфилдом дескриптивной модели языка имеет та интерпретация, которую он дал концепции Ф. де Соссюра в своей рецензии на «Курс общей лингвистики»: «В любой данный момент (синхронически) язык любого коллектива следует рассматривать как систему сигналов... Эта строгая система — объект того, что мы назвали бы „дескриптивной лингвистикой“ — представляет собой la langue, язык. Но le langage — человеческая речь, включает в себя нечто большее, поскольку индивидам, которые образуют данный коллектив, не удается следовать этой системе с идеальным единообразием. Реальное речевое высказывание, la parole, варьируется не только в тех пределах, которые не заданы системой,... но также и в том, что затрагивает самое систему... Отсюда вытекает необходимость „исторической лингвистики“ (linguistique diachronique). Когда индивидуальные и временные особенности речи становятся в данном коллективе всеобщими и привычными, они обуславливают изменение в системе la langue» [17, с. 107].

Интересны использованные Л. Блумфилдом термины. Термин Соссюра «знак» (signe), например, заменяется на термин «сигнал» (signal) — и это не случайно. Соссюровский знак — двусторонне психичен, а потому годится только для «внутреннего» использования отдельными индивидами. Блумфилдовский же сигнал, наоборот, явно указывает на чисто «внешний», т. е. наблюдаемый продукт речевого акта. Такой сигнал есть реализация речевых навыков под действием некоего стимула и предназначен для того, чтобы вызвать соответствующую реакцию у слушающего, имеющего такие же речевые навыки<sup>1</sup>. Л. Блумфилд писал: «Система де Соссюра более сложна: 1 — реальный объект, 2 — понятие, 3 — акустический образ, 4 — речевое высказывание ... Совокупность всех четырех образует le langage, реальное речевое высказывание есть la parole; отрезок, формируемый двумя чисто психичными единицами 2 и 3 — la langue, социально однородная языковая модель. Точные формулировки де Соссюра проясняют дело: то, что он именуется „психичным“, есть то, что он сам же и все прочие лингвисты называют „социальным“ ... Поэтому нам лучше всего просто отказаться от п. 2 и 3 и говорить о социально обусловленной связи между некоторыми чертами 1 и 4» [15, с. 177].

Другая терминологическая особенность работ Блумфилда — замена термина «синхронический» на термин «дескриптивный» — связана со спе-

<sup>1</sup> Показательно, что во всех других своих работах Блумфилд столь же старательно избегает использования термина «знак». В то же время он весьма сочувственно относится к семиотике Ч. Морриса [22], у которого термин «знак» имеет значение, весьма сходное со значением блумфилдовского сигнала. Со своей стороны, Ч. Моррис отмечал, что терминология Л. Блумфилда из всех лингвистических терминологий наилучшим образом подходит для семиотики [23, с. 280].

цифкой постулируемой им «сигнальной системы». Если у Соссюра знаковая система языка — это «... грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов» [11, с. 52], то «система сигналов» Блумфила представляет собой всего лишь результат научного описания. Эта система постулируется путем отвлечения от такой характеристики речевых навыков в концепции Л. Блумфила, как их имманентная изменчивость, а потому связана не с реальными высказываниями, а с абстракциями [24]: «Обобщениям дескриптивной грамматики препятствует значительное количество вариаций в языке: языки изменяются с течением времени. Это выводит нас на третий уровень научного объяснения, где мы имеем возможность собирать факты и рассматривать всякое языковое изменение в терминах некоего прежнего навыка плюс изменения этого навыка» [25, с. 286].

В свою очередь блумфиловская «историческая лингвистика» не совпадает с «диахронической лингвистикой» Соссюра. «Историческое изучение языка» у Блумфила охватывает не только «*linguistique diachronique de la langue*», но и «*linguistique diachronique de la parole*», и представляет собой, таким образом, «диахроническую лингвистику речевой деятельности» в целом: «Лингвистика — наиболее развитая из гуманитарных наук — разработала еще один, более высокий уровень научного объяснения, на котором языковые изменения можно классифицировать на небольшое число процессов: фонетическое изменение, семантическое изменение по аналогии, заимствование... Можно представить себе и еще один уровень объяснения, на котором окажется возможным объяснить любое конкретное языковое изменение в конкретном месте и конкретный момент времени» [25, с. 288].

Автоматичность, неосознанность речевых навыков в концепции Л. Блумфила определили и решение им вопроса о статусе лингвистики в кругу других наук, и прежде всего о ее соотношении с психологией.

Первые работы Л. Блумфила носят явный отпечаток воздействия психологической доктрины В. Вундта. Однако уже в это время Блумфилд испытывает неудовлетворенность вундтовской теорией, которая, по его мнению, «не допускает относительно языка той же концепции общего развития, что и для всех прочих областей социальной деятельности» [26, с. 41]. Более того, Блумфилд уже в этот период считает, что «исследователь, работающий в области ментальных наук, может и в идеале должен избегать каких-либо ходячих психологических интерпретаций» [9, с. 322]. Но 27-летний Блумфилд еще не решается пойти против общего течения. Он отмечал: «... все же лингвистика из всех ментальных наук в наибольшей степени нуждается на каждом шагу в руководстве со стороны наилучшей из психологических доктрин» [9, с. 323].

Двумя годами позднее, добившись признания своей «редкостной научной эрудиции» [27, с. 60], Л. Блумфилд наотрез отказывается от своего бывшего «ментализма», заявляя, что «наша задача состоит не в том, чтобы рассуждать, что говорящий мог или должен был иметь в виду, когда говорил, а анализировать само высказывание» [28, с. 72].

Работа с «экзотическими» языками окончательно укрепила Блумфила в мысли о необходимости покончить с подчиненностью языкознания психологии. «Лингвистика, — писал он, — подобно всякой науке должна изучать свой объект в себе и для себя, основываясь на своих собственных исходных допущениях» [21, с. 92].

В итоге для Л. Блумфила лингвистика из науки «ментальной» пре-

вращается в науку социальную, занимающуюся социальными по своей природе речевыми навыками. «Лингвист [в отличие от психологов и физиологов.— Д. К., С. Л.] определяет те признаки акта человеческой деятельности (а именно,\* грамматические), которые являются типовыми (habitual) для данной группы людей ... и прослеживает их историю» [15, с. 176].

И тем не менее есть большая доля истины в том, что «Л. Блумфилд был психологом и остался психологом» [29, с. 143]. Со всей решительностью боролся он против такого положения, когда «лингвист, столкнувшись с какой-нибудь запутанной проблемой, откладывает в сторону свои проверенные временем орудия, но не для того, чтобы усовершенствовать или отточить их, а чтобы ухватиться за всякого рода магические заклинания, смысл которых каждый шаман от психологии толкует по-своему» [15, с. 177]. Однако борясь против «психологической лингвистики», Блумфилд в то же время ставит задачу разработать некую «лингвистическую психологию», которая могла бы соответствовать его «методам и формулам» [15, с. 177]. Такой психологией и стал для Л. Блумфилда бихевиоризм А. П. Вайсса.

Обращение Блумфилда к бихевиоризму было обусловлено не только тем, что двадцатые годы явились периодом расцвета поведенческой школы в психологии США. Бихевиоризм с его сведением психических процессов к стимулам и реакциям как нельзя лучше согласовывался с блумфилдовской концепцией о бессознательных, автоматических «речевых навыках». Кроме того, бихевиоризм характеризовался особым вниманием к функционированию языка, что также вполне вписывалось в общезыковую концепцию Л. Блумфилда: «Язык позволяет одному человеку осуществить реакцию (R), когда другой человек имеет стимул (S)» [10, с. 38].

В наибольшей степени близость блумфилдовского подхода к языку как к набору навыков и постулатов бихевиоризма проявилась в семантике, вследствие чего этот аспект его концепции традиционно подвергается наибольшей критике. Указывается, что Блумфилд «недооценивал» и даже «изгонял» значение из своей теории [30, с. 39] и из структуры языка [31, с. 411], борясь с метафизикой, выбрасывал и «... лингвистического ребенка — семантику языка, его содержательную сторону» [32, с. 62], путал «...содержание речевых высказываний вообще со значением лингвистических единиц, которое и является единственным предметом языкознания» [33, с. 98]. В то же время в литературе не раз делались попытки показать, что Блумфилд не только не «устранял» значения из языкового исследования, но, наоборот, настаивал на необходимости учитывать его при лингвистическом анализе [34, с. 102—103].

Представляется, что столь диаметрально противоположные оценки в немалой степени обусловлены весьма неудачной терминологией, использованной Л. Блумфилдом при разработке данной проблемы. Подобно многим другим вопросам теории языкознания, проблема значения также решается им на основе понимания языка как набора речевых навыков: «... значение формы в навыках<sup>2</sup> любого говорящего есть не что иное, как результат тех высказываний, в которых он ее слышал» [35, с. 431]. Поскольку каждое высказывание порождается в конкретной ситуации, его значение всегда ситуативно: «Мы определили *значение* языковой формы как ситуацию, в которой говорящий ее произносит, и как реакцию, которую она вызывает у слушающего» [10, с. 142].

<sup>2</sup> В русском переводе «Языка» это место передано не совсем точно: «... значение формы для любого говорящего есть...» [10, с. 471].



Яри этом термин «ситуация» (situation) толкуется Блумфилдом очень широко: он охватывает не только «все предметы и события во Вселенной», окружающие говорящего [10, с. 142], но и его «физическое состояние», «определенную предрасположенность его нервной системы» [10, с. 144]. Понимаемая таким образом ситуация рассматривается Блумфилдом как состоящая из бесчисленного количества признаков (features), каждый из которых способен стать стимулом для произнесения какого-нибудь высказывания и определить реакцию на него. Тот конкретный признак, который в данной конкретной ситуации выступил в данной роли и привел в действие речевые навыки, становится, по Блумфилду, значением данного высказывания: «Стимул говорящего + реакция слушающего = значение речевого высказывания» [22, с. 18].

При всем многообразии ситуаций некоторые из них имеют сходные признаки, с которыми в навыках говорящих и слушающих устойчиво связаны определенные формы. Такие «дистинктивные признаки», выступающие в роли типовых стимулов и задающих типовую реакцию, представляют собой «языковое (лингвистическое) значение форм» (linguistic meaning): «Ситуации, которые побуждают нас произнести какую-нибудь языковую форму, исключительно многообразны. Философы утверждают, что двух совершенно одинаковых ситуаций в действительности не существует. Даже в течение относительно непродолжительного времени каждый из нас использует слово *яблоко* применительно ко многим конкретным плодам, различным по величине, форме, окраске, запаху, вкусу и т. д. В простых случаях, в таких, например, как со словом *яблоко*, все члены языкового коллектива с детства обучены использовать данную языковую форму, когда ситуация (в данном примере определенный предмет) обладает известными, сравнительно легко определяемыми характеристиками (features) ... Вместе с тем вполне очевидно, что мы должны дифференцировать *недистинктивные* признаки ситуаций, такие, как величина, форма, окраска и т. д. какого-либо конкретного яблока, и *дистинктивные* признаки или *языковое значение* (*семантические* признаки), которые являются общими для всех ситуаций, вызывающих произнесение данной языковой формы, т. е. признаки, являющиеся общими для всех предметов, которые люди, говорящие по-английски, называют словом *apple* „яблоко“» [10, с. 143-144].

Таким образом, «значение» (meaning), т. е. любой признак конкретной ситуации, который стал стимулом для произнесения данной формы, противопоставляется «языковому значению» (linguistic meaning), т. е. только таким признакам, которые в навыках носителей языка являются типовыми стимулами для произнесения этой формы. Но постоянно пользуясь этим противопоставлением в своих рассуждениях, Блумфилд не считал нужным проводить его сколько-нибудь последовательно терминологически: «Поскольку наше исследование обычно касается только дистинктивных признаков формы и значения, я буду в дальнейшем опускать определения „языковой“ или „дистинктивный“ и буду говорить просто о *формах* и *значениях*, игнорируя существование недистинктивных признаков» [10, с. 144].

Отсюда и возникают недоразумения. Так, с одной стороны, Блумфилд утверждает, что «... в языке формы нельзя отделить от значений. Было бы неинтересно, и, вероятно, не слишком продуктивно изучать звуки языка, не рассматривая значения» [18, с. 401], а с другой, категорически заявляет, что для того, «чтобы дать научно точное определение значения для каждой формы языка, мы должны были бы иметь точные научные сведе-

ния обо всем, что окружает говорящего» [10, с. 142]. Естественно, что это и дает возможность сделать вывод о «противоречивости позиции Л. Блумфилда в вопросе о значении» [7, с. 361]. Недоразумение, однако, проясняется, если допустить, что в первом случае имеется в виду «языковое значение», тогда как во втором — значение конкретного высказывания, т. е. просто «значение». Правомерность этого допущения подтверждается тем, что именно на это противопоставление и опирался Л. Блумфилд, пытаясь решить такие проблемы семантики, как проблема значения/обозначения, значения/смысла. В первом случае Блумфилд основывался на переосмыслении терминов Г. Пауля «общее значение» и «окказиональное значение». У Блумфилда форма реализует «общее значение» (general meaning) в том случае, когда признак, ставший стимулом для ее произнесения, тождествен «дистинктивному признаку» (типовому стимулу), соответствующему ее языковому значению («значение» равно «языковому значению»). Термин «окказиональное значение» (occasional meaning) связывается уже с теми случаями, когда такое тождество отсутствует: «...иногда мы используем ту или иную форму в ситуациях, которые достаточно хорошо покрывают сферу ее значения, ср. определения (a town is a large settlement of people „город — это крупный населенный пункт“) или весьма общие формулировки (vertebrate animals have a head „у позвоночных животных есть голова“). В таких случаях форма выступает в своем *общем* (general) значении. Однако обычно форма в любом отдельном высказывании отражает гораздо более конкретное жизненное явление. Когда мы говорим, что John Smith bumped his head „Джон Смит набил себе шишку на голове“, то слово head „голова“ обозначает голову одного конкретного человека... В таких случаях языковая форма выступает в своем *окказиональном* значении» [10, с. 471—472].

Как можно заметить, проблема «значение/обозначение» рассматривается Л. Блумфилдом с точки зрения говорящего. Отличительной же особенностью блумфилдовского подхода к проблеме смысла высказывания является попытка решить ее отдельно для говорящего и для слушающего. «Языковое значение» при наличии дистинктивных признаков (типового стимула) в «ситуации говорящего» (speaker's situation) представляет собой «первичное (словарное) значение» формы, которое противопоставляется «языковому значению» при отсутствии такого стимула: «... мы также нередко произносим языковые формы, когда типичный стимул отсутствует. Например, умирающий с голоду нищий у дверей говорит: „я голоден“, и хозяйка дает ему поест; этот пример, говорим мы, воплощает *первичное* или *словарное значение* языковой формы „я голоден“. Капризный ребенок, когда его укладывают спать, говорит: „я голоден“, но мать, зная все его уловки, отвечает тем, что отправляет его в кровать. Это уже пример смещенной речи» [10, с. 145].

С другой стороны, языковое значение формы при наличии дистинктивных признаков (типовой реакции) в «ситуации слушающего» (hearer's situation) обозначается термином «центральное значение», который противопоставлен термину «периферийное значение», т. е. «языковому значению», для которого в ситуации слушающего не находится типовой реакции: «Очень многие языковые формы используются для более чем одной типичной ситуации... Весьма примечательно, что при рассмотрении этих вариантов значения мы уверены и единодушны в том, что одно из значений является *центральным* (или *прямым* значением), а все другие *периферийными* (marginal) (*метафорическими*, или *переносными*). Центральное значение имеет преимущество в том смысле, что мы всегда пони-

маем ту или иную форму (т. е. реагируем на нее) в ее центральном значении до тех пор, пока что-либо в практической ситуации не заставит нас обратиться к поискам переносного значения. Если мы услышим, как кто-то говорит: *There goes a fox* „Вон лиса!“, мы обернемся в надежде увидеть настоящую лису, а если это полностью исключено, мы скорее всего примем сказанное за смещенную речь (например, за игру или какую-то часть сказки). Только если какие-нибудь обстоятельства в данной ситуации вынудят нас, — скажем, если говорящий укажет на какого-либо человека, — мы поймем данную форму в переносном смысле» [10, с. 153—154].

Существенно отметить то, как Л. Блумфилд переосмысляет Г. Пауля, указывая на непосредственную связь проблемы «значение/обозначение» и проблемы «значение/смысл»: «Все периферийные значения являются окказиональными, потому что, как показал Пауль, периферийные значения отличаются от центральных именно тем, что мы реагируем на них только тогда, когда в силу какой-то причины понять слово в его центральном значении невозможно... Центральные значения становятся окказиональными в тех случаях, когда та или иная ситуация отличается от идеальной ситуации, соответствующей всему объему значения данной формы» [10, с. 472].

Слабым пунктом этой психолингвистической по своей сути концепции оказалось рассмотрение проблемы соотношения значения и знания или — если пользоваться терминологией А. А. Потебни, — проблема «ближайшего/дальнейшего значений слова». Поскольку, как считал Блумфилд, «речь ученых образует не язык, а только специальный диалект обычного языка» [36, с. 313], то закономерен вывод, что «дальнейшие значения» есть значения «языковые», а следовательно, должны рассматриваться языкознанием. Более того, сциентизм приводил Л. Блумфилда к тому, что «дальнейшие значения» слов у него вытесняли и поглощали значения «ближайшие»: «Мы можем правильно определить значение той или иной языковой формы лишь в том случае, если это значение относится к чему-либо, о чем мы обладаем достаточными научными познаниями. Мы можем определить названия минералов, например, в терминах химии или минералогии, когда говорим, что обычным значением английского слова *salt* „соль“ является „поваренная соль (NaCl)“..., но у нас нет способа точно определить такие слова, как *love* „любовь“ или *hate* „ненависть“, связанные с ситуациями, которые еще не были точно расклассифицированы» [10, с. 142]. Отсюда Блумфилд и делал вывод, что «определение значений является, таким образом, уязвимым звеном в науке о языке и останется таковым до тех пор, пока человеческие познания не сделают огромного шага вперед по сравнению с современным их состоянием» [10, с. 143].

Но, с другой стороны, описание значения как знания неизбежно лишает лингвистику ее собственного предмета: «Когда пренебрегают языковыми формами и пытаются изучать значение или значения чисто абстрактно, на самом деле изучают в общем весь мир» [10, с. 574]. Таким образом, по Блумфилду, описывать значение формы можно и должно только в том случае, если имеются «...точные научные сведения обо всем, что окружает говорящего» [10, с. 142], но как только лингвистика предпринимает такое описание, она начинает описывать «ситуации говорящих и слушающих», что «...эквивалентно всей сумме человеческих знаний» [10, с. 72]. Осуществление такого описания неизбежно превращает языкознание в натурфилософию. Разрешить это противоречие Блумфилду не удалось.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hymes D., Fought J. American structuralism. The Hague, 1981.
2. Арутюнов И. Д. Фактор адресата // ИАН СЛЯ. 1981. № 4. С. 357.
3. Зеегинцев В. А. Современные направления в зарубежном языкознании // Новое в лингвистике. Вып. IV. М., 1965.
4. Гухман М. М. Лингвистический механицизм Л. Блумфилда и дескриптивная лингвистика // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. 1954. Т. 4.
5. Березин Ф. М. История лингвистических учений. М., 1984.
- 6: Ivic M. Trends in linguistics. The Hague, 1965.
7. Белый В. В. К истории развития и становления американского дескриптивизма // Уч. зап. МГПИ. 1971. Т. 450.
8. Леман У. Ф. Преемственность языкознания // ВЯ. 1966. № 1.
9. Bloomfield L. An introduction to the study of language. N. Y., 1914.
10. Блумфилд Л. Язык. М., 1968.
11. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
12. Bloomfield L. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Hermann E. Lautgesetz und Analogie.
13. Bloomfield L. Outline guide for practical study of foreign languages. Baltimore, 1942.
14. Boiling G. M. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Bloomfield L. An introduction to the study of language.
15. Bloomfield L. On recent work in general linguistics // A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970.
16. Bloomfield L. Sentence and word // A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970.
17. Bloomfield L. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Saussure F. de. Cours de linguistique generate.
18. Bloomfield L. Meaning//A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970.
19. Bloomfield L. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Jespersen O. Language. Its nature, development and origin.
20. Bloomfield L. On the sound system of central Algonquian //A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970.
21. Bloomfield L. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Sapir E. An introduction to the study of speech.
22. Bloomfield L. Linguistic aspects of science // International encyclopedia of unified science. V. 3. Chicago, 1939.
23. Morris Ch. Signs, language and behavior. N. Y., 1946.
24. Bloomfield L. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Jespersen O. Philosophy of grammar. P. 141—142.
25. Bloomfield L. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Havers W. Handbuch der erklärenden Syntax.
26. Bloomfield L. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Wundt W. Elemente der Volkerpsychologie, Grundlinien einer psychologischen Entwicklungsgeschichte der Menschheit.
27. Aron A. W. II A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970. Rec: Bloomfield L. An introduction to the study of language.
28. Bloomfield L. Subject and predicate // A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970.
29. Чикобава А. С. Проблема языка как предмета языкознания. М., 1959.
30. Белый В. В. Американский дескриптивизм, его истоки и методологические основания: Автореф. дис ...докт. филол. наук. М., 1982.
31. Stark V. Bloomfieldian model // Lingua. 1972. V. 30.
32. Зеегинцев В. А. Язык и лингвистическая теория. М., 1973.
33. Хансен К. Пути и цели структурализма // ВЯ. 1959. № 4.
34. Фриз Ч. Значение п лингвистический анализ // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
35. Bloomfield L. Language. N. Y., 1933.
36. Bloomfield L. Linguistic aspects of science // A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970.
37. Bloomfield L. Linguistics as a science // A Leonard Bloomfield anthology. Bloomington, 1970.

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### РЕЦЕНЗИИ

*Norman J. Chinese.* Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 292 p. (Cambridge language surveys).

Монография Дж. Нормана «Китайский язык» вышла в составе кембриджских сборов языков. Задача этой серии состоит в том, чтобы представить описания наиболее крупных языковых ареалов и языковых семей мира на основе последних достижений языкознания. «Китайский язык» — пятая монография в этой серии.

Наука о китайском языке представляет собой комплекс исследовательских дисциплин, изучающих отдельные аспекты китайского языка. Эти дисциплины различаются между собой не только предметом, но также и методом исследования. При этом большинство из этих методов весьма существенно отличается от тех, которыми пользуются исследователи других языков.

Так, например, историческая фонетика китайского языка основана не на орфографии текстов памятников истории языка, а на материалах китайской традиционной филологии: на фаньше, с помощью которых с III в. н.э. обозначалось чтение иероглифов, и на фонетических таблицах, составленных в XI—XIII вв. Изучение фонетики диалектов современного китайского языка также основывается на данных фонетических таблиц. Исследование поэтической рифмы составляет скромную часть работ по исторической фонетике языков мира. В Китае изучение рифм древнейших поэтических произведений является главным средством реконструкции вокализма древнекитайского языка. Для исследования древнекитайского консонантизма используются знаки фонетической категории китайской иероглифической письменности. Иначе говоря, на службу исторической фонетики китайского языка поставлено все, что хотя-бы как-то было связано с реальным произношением иероглифов в древности.

Эти особенности китайской филологии связывают в единое целое китайскую пись-

менность, историю китайского языка, современную и историческую диалектологию, китайскую традиционную филологию, исследования рифмы. Об этом приходится напоминать для того, чтобы представить себе значение монографии Дж. Нормана, объединяющей изложение проблем как современного китайского языка, так и разных периодов его истории, а также проблемы типологии, сравнительно-исторического изучения, письменности.

О китайском языке как о специфическом объекте языкознания было написано немало обобщающих трудов, из которых наиболее известен «Китайский язык» Б. Карлгрена, вышедший в свет в 1949 г. Сравнивая его содержание с книгой автора, можно легко представить себе достижения китайского языкознания за последние сорок лет.

Основы типологического изучения китайского языка были заложены Тьерье-ном Делякупри в конце прошлого века. Однако долгое время эта область китайского языкознания разрабатывалась крайне медленно. Признаки оживления появились лишь в 60-х годах. По мере распространения в Восточной Азии китайцы вступали в активное взаимодействие с народами, обитавшими на северной и южной границах их этнического ареала. Поэтому формирование диалектов китайского языка проходило в результате активных лингвистических контактов, которые в настоящее время исследуются с помощью языков сопредельных стран и малых народов Китая. Автор показывает фонетические, грамматические, лексические аспекты типологического исследования диалектов китайского языка и скромно заключает, что «потребуется более глубокое исследование таких конвергенции, пока мы не сможем подойти к выводам относительно их причин, однако географическая сопредельность представляет собой один из факторов, влияю-

ших на присутствие или отсутствие тех или иных типологических черт» (с. 12).

За последние 20 лет проведена большая работа в области сравнительно-исторического изучения сино-тибетских языков. Немалый вклад внесли сюда также и советские Китаеведы. Отдавая должное этим исследованиям в целом, автор осторожно высказывается относительно места китайского языка в составе сино-тибетской семьи языков из-за того, что число этих языков велико, а степень изученности недостаточна. «Ввиду этого было бы нереально говорить, что родство китайского языка с тибето-бирманскими. Можно сформулировать с достаточной ясностью. Однако в то же время было бы ошибочно утверждать, что сравнение китайского с тибето-бирманскими языками не может быть проведено до тех пор, пока не станут известны все подробности, относящиеся к тибето-бирманским языкам (с. 16).

Историческая фонетика представляет собой методически наиболее трудную часть китайского языкознания, требующую не только от исследователя, но и от читателя знакомства с китайской традиционной филологией. Автор проявил немалое умение в отборе необходимых сведений, для того чтобы кратко и в то же время содержательно изложить основные сведения относительно источников реконструкции фонетики китайского языка прошлых эпох: фаньше, фонетические словари, фонетические таблицы для среднекитайского языка VI—XI вв., рифмы Шицзина и фонетические части иероглифов для реконструкции древнекитайской фонетики (середина I тыс. до н.э.), словарь Чжуньюаньниньоня для древне-мандаринской фонетики XIII в.

Автор совершенно справедливо указывает, что для реконструкции древне-мандаринской фонетики могут быть привлечены иноязычные транскрипции, из которых он рассматривает те, которые выполнены с помощью монгольской квадратной письменности пагга. Однако круг транскрипций, пригодных для реконструкции фонетики китайского языка того времени, значительно шире. Примерно к тому же времени относятся тангутская и киданьская транскрипции китайского языка. Они интересны в особенности тем, что представляют диалекты, отличающиеся от диалекта транскрипции квадратным письмом. В основе тангутской транскрипции находится один из северо-западных диалектов китайского языка, который был распространен на территории тангутского государства, а в основе киданьской — северо-восточный диалект, который использовался в киданьском государстве Ляо. Поэтому китайская фонетика X—XIII вв. известна

в нескольких вариантах, из которых транскрипция квадратным письмом передает, возможно, литературную норму.

С помощью иноязычных транскрипций исследуются также и более ранние периоды развития фонетической системы китайского языка. Хорошо известны и широко использовались для реконструкции среднекитайской фонетики синоксенические транскрипции — сино-японская, сино-корейская, сино-вьетнамская. К ним примыкают уйгурские и тибетские транскрипции китайского языка, а также многочисленные китайские транскрипции санскрита IX—X вв.

В своей книге 1949 г. Б. Карлгрен уделил специальное внимание проблеме частей речи, которая, по общему мнению, является центральной для трамматики китайского языка. Его взгляд на эту проблему состоял в том, что части речи в китайском языке дифференцированы плохо, поэтому главное, что требуется иностранцу, изучающему китайский язык — это опыт, приобретаемый в результате экстенсивного чтения, чувство того, как китайцы строят свои предложения [1]. За 40 лет, прошедших с тех пор, в китайском языкознании возобладали мысль, что части речи в грамматике китайского языка дифференцированы достаточно, хотя дискуссия по поводу конкретных форм их выражения продолжается по настоящее время. При изложении трамматики китайского языка — как древнего, так и современного — автор избегает теоретических дискуссий по поводу частей речи. «При возможном отсутствии морфологии грамматические процессы в классическом китайском языке почти полностью синтаксичны. При этом деление слов на крупные парадигматические классы играет важную роль, потому что очень часто интерпретация структуры цепочки слов зависит от их принадлежности к классу» (с. 84).

Части речи в древнекитайском языке автор выделяет в целом по тем же признакам, которые предлагает С. Е. Яхонтов в своем очерке древнекитайского языка: по основному значению и синтаксической функции слов. На этот очерк он несколько раз ссылается. С. Е. Яхонтов пишет, что «древнекитайский язык резко отличается от большинства других языков тем, что основная масса слов в нем может иметь и другое необычное употребление, каждая часть речи может выполнить функции почти любого члена предложения» [2]. Автор ограничивает свое изложение этой сложной проблемы номинализацией глагола, которая имеет место всякий раз, когда глагол поставлен в синтаксическую позицию имени.

Части речи в современном китайском языке автор выделяет на основании син-

таксических свойств слов. «В дальнейшем лингвисты попытались определить части речи китайского языка на основе их синтаксического поведения, оставляя в стороне семантические соображения насколько это было возможно. Хотя результаты этой процедуры оказывались различными в зависимости от использованных критериев анализа, наблюдается достаточно высокая степень согласования между ними по меньшей мере в отношении самых больших классов слов» (с. 157). В соответствии с указанными процедурами знаменательные слова современного китайского языка делятся на шесть классов: имена, глаголы, прилагательные, числительные, счетные слова и местоимения. Однако эти классы частично пересекаются. «Как в английском, грамматические классы в китайском языке перекрывают друг друга: китайское слово *ли* может быть существительным „плуг“ или глаголом „пахать“. Значительная часть современных двусложных глаголов также может служить как существительное: *пинин* „критиковать, критика“ *цзучжи* „организовать, организация“. Такой тип пересечения классов более обычен в древнекитайском языке, чем в современном. В современной китайском таких случаев в действительности не больше чем в английском» (с. 159).

В действительности сформировать непересекающиеся лексико-грамматические категории как древнекитайского, так и современного китайского языка пока еще не удалось никому. Компромиссный взгляд на грамматические классы китайского языка состоит в том, чтобы сформировать классы чистых имен и чистых глаголов. В системе «имя-глагол» они образуют два полюса, между которыми располагаются классы слов, в различной степени совмещающие свойства тех и других. Такой подход позволяет создавать более однородные по своим функциям грамматические классы слов. Однако в предельном случае число таких классов возрастает, число их членов уменьшается. Соответственно такая классификация сама по себе теряет смысл. Поэтому для адекватной грамматики китайского языка нужно объяснить не только процедуры формирования грамматических классов слов, но процедуры переходов слов из одного класса в другой.

В настоящее время идеи лингвистической семантики позволяют внести некоторые усовершенствования в концепцию грамматических классов китайского языка, раскрыть смысл того, что С. Е. Яхонтов называет «основным значением» слова, и лучше понять механизмы перехода слова китайского языка из одного класса в другой.

Семантика является постоянной характеристикой слова как языкового знака, что не исключает синонимии и омонимии, которые составляют особое измерение семантической структуры слова. Языковой знак вообще отличается от других видов знаков особой гибкостью, которая позволяет человеку с помощью ограниченного числа лингвистических средств описать безграничный мир вне человека и внутри него. Отношения знака и его референции довольно сложны, но они отнюдь не хаотичны. Эти отношения подчинены правилам, которые изучает лингвистическая семантика. Среди этих правил одним из наиболее важных является такое, согласно которому один и тот же смысл может быть представлен в виде различных синтаксических представлений, зависящих от коммуникативного задания речи. На уровне словообразования такое представление называется синтаксической деривацией: производное слово отличается от производящего не своим лексическим значением, а синтаксическими свойствами.

Средством образования синтаксических дериватов в китайском языке является синтаксическая позиция слова в предложении или его сочетание со служебными морфемами. В древнекитайском языке основным средством синтаксической деривации была позиция слова, в современном используется как синтаксическая позиция, так и служебные морфемы. Так, в предложении древнекитайского языка *сяо гу бу пай ди да* «Малое безусловно не может мериться силами с большим» слово *сяо* «маленький» выступает в синтаксической позиции имени и поэтому приобретает именное значение «малое». Однако при этом оно не приобретает конкретной предметной референции: его референтом может выступить любой предмет, который характеризуется признаком «быть малым». Основой номинативной функции этого слова по-прежнему является признак качества. Предикативность семантики слова *сяо* «маленький» сохраняется и в любой другой его синтаксической функции.

Идеи лингвистической семантики напоминают нам о теории частей речи китайского языка, разработанной Г. Габеленцем сто лет назад. По Габеленцу, каждое слово китайского языка обладает основным значением, которое присуще ему неизменно. Наряду с ним оно может обладать также различными контекстуально обусловленными значениями и, соответственно, выступать в функции разных членов предложения. Эта теория была отставлена из-за того, что в рамках традиционных представлений о семантике слова его основное значение было невозможно отличить от всех остальных.

Поэтому в конечном счете оказывалось, что любое слово китайского языка может принадлежать любой грамматической категории.

Современная лингвистическая семантика различает глубинную семантику слова, которая составляет его постоянную характеристику в отношении конкретной референции и референтного класса. Однако на уровне синтаксической структуры предложения слово может быть представлено в качестве единицы любой грамматической категории в виде своих синтаксических дериватов. Приведенный выше пример из древнекитайского языка показывает, как слово с предикативной семантикой или с предикативным основным значением представляется в качестве номинативной единицы с помощью перемещения его в позицию имени.

Как уже упоминалось выше, средства образования синтаксических дериватов знаменательного слова в китайском языке являются его синтаксическая позиция или служебные морфемы. Для грамматики древнекитайского языка преобладающее значение имела синтаксическая позиция, в современном китайском можно встретить как тот, так и другой способы их образования. Правила синтаксической деривации в китайском языке весьма сложны и еще недостаточно изучены. В настоящее время можно указать лишь ее простейшие случаи.

Синтаксические дериваты от номинативных единиц представляют собой название действия, совершаемого с помощью соответствующих предметов: *gou* «крюк» — *gou* «зацеплять крюком, брать крючком», *li* «плуг» — *li* «пахать». Синтаксические дериваты от предикативных единиц представляют собой название объекта действия или его результата: *ba* «держат» — *ba* «ручка, пригоршня, пучок»; *bao* — «обертывать» — *bao* «сверток». В некоторых случаях деноминативные дериваты имеют ярко выраженный экспрессивный характер: *ban* «палка» — *ban* «крепкий, хороший»; *chao* «мост» — *chao* «покоробиться, приобрести форму горбатого моста».

Синтаксические дериваты от двусложных слов современного китайского языка представляют собой название действия или его результата: *baowei* «охранять» — *baowei* «охрана», *bianxing* «деформировать» — *bianxing* «деформация». Другим средством образования синтаксических дериватов являются различного рода параметрические глаголы: *da* «бить» + *dianhua* «телефон» — «звонить по телефону», *shan* «подниматься» + *in* «отражение» — «показывать кино», *sa* «опускаться» + *dian* «гостиница» — «останавливаться на ночлег», *ci* «поднимать» + *ming* «имя» — «давать название» и т. п.

Семантический взгляд на части речи

китайского языка — как древнего, так и современного — в неявном виде присутствовал во всех эмпирических описаниях грамматики и лексики. Он особенно хорошо представлен в словаре современного китайского языка, составленном Институтом языкознания АОН КНР, который приводит все значения слов китайского языка во всех случаях их синтаксического употребления. Из него, как представляется, исходит и автор.

Взгляд на части речи китайского языка с точки зрения семантики слова исходит от говорящего, который переводит некоторый заданный смысл в речь или письменный текст. Эта точка зрения была представлена в первых описаниях грамматики китайского языка. С 30-х годов проблема частей речи стала рассматриваться с позиции слушающего, задача которого состоит в том, чтобы извлечь из речи или текста заложенный в нем смысл. При таком подходе к языку главным предметом исследования оказываются элементы грамматической формы, которые служат опорой при определении грамматических отношений между лингвистическими единицами. В этом случае каждое слово китайского языка удобно рассматривать как член формальной лексико-грамматической категории с определенными синтаксическими характеристиками: способностью сочетаться с определенными служебными и знаменательными словами, а также выступать в качестве определенных членов предложения. На основе этой теории было проведено множество полезных исследований и создан ряд грамматик современного китайского языка.

Очерченный выше семантический подход к проблеме частей речи в китайском языке не противостоит, а дополняет дистрибутивный, точно так же, как грамматика говорящего дополняет грамматику слушающего. Знаменательные слова китайского языка обладают глубиной семантикой, ИЛИ основным значением, но в синтаксической структуре предложения могут быть представлены в виде синтаксических дериватов в любой грамматической функции в зависимости от коммуникативного задания предложения. Поэтому в грамматике говорящего часть речи — это функциональный класс, состав которого меняется в каждый момент речи. Так, например, в момент произнесения слова *siao* «маленький» в приведенном выше примере оно находится в функциональном классе имени, но в следующем предложении, где оно выступает в функции определения или сказуемого, оно будет находиться в функциональном классе предикатива. Его перевод из одного функционального класса в другой осуществлен с помощью синтаксической по-



зиции, изменение которой является знаком операции образования синтаксического деривата.

Для грамматики слушающего перво-степенное значение имеет как заданная синтаксическая позиция слова, так и его сочетания со служебными морфемами, на основании которых делаются выводы относительно грамматического значения каждого слова в отдельности. Лексико-грамматическая категория грамматики слушающего состоит из тех слов, которые чаще всего находятся в соответствующем функциональном классе. Однако семантическую однородность такого класса обеспечить невозможно. Имена *цяо* «мост» и *бан* «палка» при сочетании со служебными морфемами — *цяола* «покоробился» и *хэнь бан* «очень хороший» — будут включены в класс предикативов ввиду их способности сочетаться с указанными служебными морфемами, оформляющими предикативы.

Слова-заместители, образующие систему, параллельную функциональным классам или лексико-грамматическим категориям, обладают той важной особенностью, что всегда принадлежат своему классу и не могут перемещаться из одного в другой.

Грамматика говорящего состоит из словаря и правил грамматики, на основании которых любое слово может быть использовано в любом функциональном классе в зависимости от коммуникативного задания предложения. Грамматика слушающего имеет дело с результатами речевой деятельности человека, поэтому функциональной категории грамматики говорящего здесь соответствует лексико-грамматическая категория, состоящая из слов с определенными синтаксическими свойствами. Каждый синтаксический дериват в этой грамматике описывается как отдельное слово: *ба* «держать» — в классе глагола, *ба* «ручка» — в классе имени. В словаре синтаксические дериваты описываются как отдельные значения одного и того же слова, при этом не указываются грамматические процедуры их формирования.

Все современные грамматики китайского языка являются грамматиками слушающего. Именно поэтому влияние дистрибутивной теории частей речи столь сильно в китайском языкознании. Не умаляя достоинств и заслуг дистрибутивной теории перед китайским языкознанием, следует помнить о существовании лингвистической семантики, которая составляет основу грамматики говорящего в отличие от ориентированной на форму грамматики слушающего.

Исследования диалектов современного китайского языка развиваются с 20-х годов как в самом Китае, так и за его пре-

делами. Автор совершенно справедливо отмечает, что несмотря на обилие публикаций по диалектам китайского языка, особенно в последние годы, их все равно недостаточно для серьезных обобщений в этой области. Недостаток материалов является одной из основных причин того, что в китайской диалектологии господствует взгляд на диалект как на разновидность китайского языка, используемую в определенной административно-территориальной единице (уезд, провинция) или в ее части. Для того чтобы рассматривать диалект как разновидность китайского языка, характеризующуюся определенным комплексом признаков, ареал которой определен в соответствии с изоглоссами, представляющими территориальное распределение этих признаков, нужны исследования диалектов на уровне отдельных селений. Однако при этом следует заметить, что материалы по многим фонетическим явлениям диалектов группы гуаньхуа уже сейчас позволяют проводить достаточно достоверные изолинии. Среди них наиболее существенной является образованная пучком изоглосс лингвистическая граница вдоль реки Хуайхэ и Центрального горного пояса [3, 4].

Единицей классификации диалектов, которую предлагает автор, является группа, в состав которой в одних случаях входит несколько провинциальных диалектов, в других — диалекты одной провинции. В этом отношении автор полностью принимает в качестве исходной классификацию диалектов китайского языка, предложенную Юань Цзяхуа: гуаньхуа, У, Сян, Гань, Хакка, Юэ, Минь.

В основу описания диалектов китайского языка положен комплекс из десяти признаков, характеризующих диалекты со стороны фонетики, грамматики, лексики. Этими признаками являются: местоимение 3 л., определенительно-именной суффикс, отрицание при глаголе, способ аффиксации морфемы, обозначающей пол домашних животных, наличие регистровых различий в этимологическом равном тоне, палатализация заднеязычных перед медиалью *-i-* и четыре слова — *чжань* «стоять», *цяоу* «ходить», *ар<sup>2</sup>зы* «сын», *фанци* «дом».

Классификацию диалектов китайского языка он проводит по данным двенадцати диалектов крупных городов северного и южного Китая, распределенных более или менее равномерно по всей территории страны. Эти двенадцать диалектов образуют весьма крупноячеистую сеть, в каждой клетке которой предполагается более или менее однородная диалектная среда. Указанные десять признаков образуют матрицу идентификации, где каждый из

них принимает одно из двух значений + или —. Подбор признаков представляется очень удачным, но нуждается как в теоретическом, так и в эмпирическом обосновании.

Матрица распределения этих признаков достаточно убедительно показывает, что указанные семь групп можно объединить в более крупные единицы. Северная группа характеризуется наличием всех этих признаков. Южная — их отсутствием. Центральную группу образуют диалекты, где присутствует часть этих признаков. Северная группа целиком соотносится с традиционно выделяемой группой диалектов гуаньхуа, центральная группа состоит из диалектов У, Гань, Сян, расположенных в ареале к югу от Янцзы и вдоль ее южных притоков, южная группа — из диалектов Хакка, Юэ, Минь.

Обычная для европейской диалектологии классификация диалектов по комплексу признаков пока еще не приобрела популярности у китайских диалектологов, которые предпочитают ориентироваться на единственный критерий выделения диалектных групп. Так, глава современной диалектологической школы в Китае Ли Жун предложил классификацию диалектов группы гуаньхуа на основании единственного признака — наличия входящего тона. В соответствии с этим признаком в группе гуаньхуа выделяются диалекты Цзинь, распространенные в провинции Шаньси и на севере провинции Шэньси. По этому признаку они объединяются с диалектами южного ареала Гуаньхуа, хотя, очевидно, что по многим другим признакам они не относятся к этому ареалу.

Формирование комплексов признаков представляется перспективным направлением китайской диалектологии, к которому автор приступил, не ожидая публи-

кации исчерпывающих материалов по диалектам китайского языка. Можно не сомневаться, что как только появится возможность сформировать сеть опорных пунктов, делящую ареал китайского языка не на двенадцать, а на большее число квадратов, появится возможность провести изоглоссы и уточнить комплекс признаков диалектов. Границы между ними в этом случае можно будет провести на основе не административных границ, а лингвистических изолиний. Заслуга автора состоит в том, что его комплекс закладывает основания для таких исследований в будущем.

В краткой рецензии трудно остановиться на всех достоинствах книги Дж. Нормана «Китайский язык». Можно лишь в самой общей форме сказать, что эта книга представляет собой монографию лингвиста, активно работающего во многих областях изучения китайского языка, а потому сумевшего точно изложить современное состояние науки о китайском языке, вложив в это изложение оригинальное личное толкование большинства проблем, затрагиваемых в ней. Она подводит итог развития китайского языкознания за сорок лет и дает пищу для размышлений о путях его дальнейшего развития.

*Софронов М. В.*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. The Chinese language. N.Y., 1949. P. 68.
2. Яхонтов С. Е. Древнекитайский язык. М., 1965. С. 42.
3. Завьялова О. И. Некоторые вопросы лингвогеографического изучения фонетики гуаньхуа // ВЯ. 1982. № 3.
4. Астрахан Е. Б., Завьялова О. И., Софронов М. В. Диалекты и национальный язык в Китае. М., 1985. С. 106—114

*Оглоблин А. К.* Мадурский язык и лингвистическая типология. Л. Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. 200 с.

Австронезисты давно ждали такой книги, как «Мадурский язык». Обескураживающей многочисленности австронезийских языков лингвистика обязана прекрасной школой сравнительно-исторических исследований; основоизоляции, присущей этим языкам, — несколькими поколениями структуралистов, чье главное внимание было сосредоточено на синтаксисе. Авторы же, сочетающих эрудицию

лингвиста-компаративиста с пронизательностью дескриптивиста и фантазией типолога, одинаково легко преодолевающих все уровни языка, у австронезистики пока мало, и тем выше ценность книги А. К. Оглоблина.

Мадурский (далее МАД) — язык западной ветви (по Оглоблину, группы, с. 8) австронезийской семьи, включаемый в территориальную группировку индоне.

зийских языков<sup>1</sup>. По 200-словному базовому списку, МАД демонстрирует 47% лексических совпадений с малайским, 37% — с яванским и 36% с сумланским [1]. В настоящее время активно обсуждается наличие так называемой малайско-яванской группировки языков; вхождение в нее МАД, однако, признается, пока не всеми (ср. [1]). На МАД говорят ок. 9 млн. человек, таким образом, это один из крупнейших языков Индонезии.

Несомненный уклон в сторону типологии и вообще синхронии, заметный в рецензируемой работе, оправдан и становится ясен для читателя после знакомства с обзором работ, выполненных грамматистами — предшественниками А. К. Оглоблина (с. 7—8). Наилучшим образом описаны фонология и морфология, а также словарь (лексика). По-видимому, много хуже обстоит дело именно с синтаксисом. Работа А. К. Оглоблина является, таким образом, не еще одним описанием в ряду существующих, а гораздо более системным, экономным и, если угодно, изящным представлением мадурского языка. По этому изложению скромной выглядит в аннотации работы (с. 2) ее характеристика как «первой в советском востоковедении».

Рецензируемая книга состоит из введения, трех неравных по объему разделов (самый большой из них, второй, делится на девять глав) и библиографии (125 назв.); при подготовке материала использовано десять письменных источников (с. 192), а также данные информантов.

<sup>1</sup> Средневековые письменные памятники на МАД неизвестны. В «Списке основных датированных надписей Индонезии», составленном Л.-Ш. Дамэ,— всего одна надпись с территории Мадуры, и та на древнеяванском. Между тем, мадурцы и Мадура сыграли важную роль в истории Индонезии. Достаточно вспомнить, что именно на Мадуре, в Суменепе, нашел убежище изгнанный с Явы будущий основатель крупнейшей средневековой государственности на территории Индонезии — Маджапахит — Раден Виджайя. Чуть позже именно благодаря поддержке «мадурцев, искуснейших во владении оружием» (*wong madura kang abecikbecik ginawa saha sanjata*), как повествует средневековая яванская хроника «Параратон», ему удалось сначала в союзе с монголо-китайскими экспедиционными войсками разбить узурпатора Джайкатванга, а затем, избавившись от недавних союзников, стать государем (этим сведениями мы обязаны С. В. Кулланде). К сожалению, упоминаний, подобных цитированному выше, очень мало. В этих условиях лингвистические данные становятся одним из основных источников по истории и культуре мадурцев.

Приятно отметить, что книга снабжена двумя картами-схемами: в таких сложных, этнически и лингвистически разнообразных ареалах, как Западная Австралия, картографическое описание составляет особую задачу (заинтересованному читателю, вероятно, будет полезно познакомиться с лингвистическим атласом Юго-Восточной Азии и Океании [2]).

Во введении сообщаются экстралингвистические сведения о мадурцах, истории описания языка, его диалектном членении. Задачей автора является описание нормативного МАД, и эта постановка задачи кажется наиболее удачной, поскольку без адекватного описания уже устойчивой нормы описание диалектов многое потеряет. Автор подробно останавливается на письме (графика МАД близка яванской). Для записи материала в книге предложена своя орфография, призванная отражать все фонемы и некоторые аллофоны (из аллофонов, подлежащих специальной фиксации, выбраны используемые в наиболее независимой позиции).

Первый раздел посвящен фонологии и морфонологии. Он открывается кратким типологическим экскурсом, суть которого сводится к противопоставлению тональных и «фонемных» языков; отчасти это противопоставление коррелирует с оппозицией неслоговых — слоговых языков по [3]. В описании фонологической системы МАД автор в основном следует А. Стивенсу [4], но в отличие от его генеративной модели строит более традиционную, соответствующую фонологической теории в духе Л. В. Щербы. Существенно, что к слуховым наблюдениям добавлены осциллографические (ранее МАД не описывался методами экспериментальной фонетики); это позволяет подтвердить глухость аспирированных и определить длительность звуков. Ориентация на функциональное описание, проявляющаяся и в других разделах книги, объясняет широкое и, как представляется, уместное использование функциональных нулей (о понятии функционального нуля в фонологии ср. [5]). Введение нулевых знаков облегчает и систематизацию морфонологии МАД, осуществляемую впервые. Будучи в основе своей синхронным, фонологическое и морфонологическое описание может дать многое и историку, поскольку автор подробно останавливается на таких существенных для австронезистики проблемах, как аспираты, преназализованные, устраняет возможную путаницу в вопросе об импловзивности (с. 19—20). Четкое выделение инвентаря фонем и набора аллофонов в каждом конкретном австронезийском языке является в конечном счете гарантией того, что при реконструкции удастся свести к минимуму число дополнительных распределений.

На фоне удачно выполненного фонологического описания досадно лапидарным выглядит подраздел, посвященный интонации. Едва ли спасает его *и.* отсылка к описанию «довольно близкой интонации индонезийского языка» в [6]. Читатель остается в неизвестности относительно таких вопросов, как интонация побудительных предложений, интонация высказываний с «модально-коммуникативными элементами» (с. 145 и сл.), интонирование парентезы, контрастно выделенных групп, обращения; ничего не говорится о соотношении интонации с порядком слов (ср. о нем с. 51, 145–148).

Центральный раздел книги — «Грамматика» — открывается описанием инвентаря морфем и включает не только то, что в традиции относят к грамматике, но и синтаксис. При выделении значимых единиц грамматического уровня автор и пользуется двумя критериями — формальным, или дистрибутивным (сочетаемость с другими единицами данного языкового уровня, с единицами следующего/предыдущего уровня), и функциональным (способность выступать в функции X). Второй, весьма общий, критерий, который в описании (осново)изолирующих языков подобен спасательному кругу, позволяет — если и дальше эксплуатировать сравнение — не утонуть, но не всегда позволяет выплыть. Формальный критерий (сандхи, отделимость) выделяет служебные морфемы; отрицательный функциональный критерий (неспособность выступать в качестве самостоятельного высказывания) выявляет служебные слова; критерий синтаксической субституции, не ведущей к искажению смысла, — слова-заместители (выделение их в особый класс — ср. с. 105–115 — представляется вполне целесообразным). После такого отбора остается огромное число знаменательных слов и набор морфем, в основном корневых, критерии выделения которых плохо поддаются формализации. Автор чувствует это и прибегает к критерию спонтанного порождения, который связан с возможностью для значимой единицы «выступать в качестве предложения (например, краткого вопроса, ответа, побуждения)» (с. 39). Этот критерий позволяет выделить большинство корневых морфем и основную массу знаменательных слов<sup>2</sup>. Проблема разграни-

чения морфем и слов все равно остается при этом нерешенной (строго говоря, неясен и вопрос, языковая или метаязыковая это проблема, но его мы оставим в стороне). Сказанное не является, однако, упреком автору — это общелингвистическая задача, и ее решение пока достаточно неясно.

А. К. Оглоблин противопоставляет корневые и служебные морфемы, подразделяя последние на собственно аффиксы и морфемы удвоения. В предшествующих описаниях МАД языка [4] выделялись также клитики, но в новом описании их нет (хотя автор и не объясняет, почему). Чрезвычайно удачным и подробным является описание МАД редупликации (как и в большинстве австронезийских языков, она включает полную редупликацию, преддупликацию и постдупликацию). В равной мере полно описаны как ее формальные свойства, так и семантика; описания подобного рода приближают нас к общей типологии редупликации, которая еще ждет своего исследователя.

Классификация знаменательных слов основана прежде всего на их синтаксической функции, что позволяет получить два суперкласса — имена и глаголы (в терминологию автора, отвечающей примату синтаксического критерия, — предикативы). Сочетаемостный критерий позволяет выявить более тонкие различия в обеих больших группах знаменательных слов, в частности выделить числительные и наречия.

Наиболее развитая словоизменительная парадигма имеется у глагола, различающего наклонение, время и залог (последний только у переходного глагола). Как отдельная от наклонения категория рассматривается императив, отличающийся от форм других наклонений своей выраженной апеллятивной функцией, ср. [7, с. 12]. Императив в малурском типологически интересен тем, что его форма, выделяемая только для переходных глаголов, совпадает с формой основы глагола. Так же обстоит дело и в большинстве австронезийских языков, с той лишь разницей, что в них принято выделять активный по форме императив у непереходных глаголов и пассивный по форме — у переходных, ср. в языке маори: *ē, hou, ki,*

*только измучает.*— *Ся*] [= измучится]; в тонганском языке *Kio, sio, hake, a iā* «Он (4–5) взглянул (1–2) вверх (3)» — (*'kai*) *hiō* «(Нет,) вниз» (в русском отдельные высказывания образованы морфемами, в тонганском дирекциональными частями). При уточнении предлагаемого в книге определения такие случаи желательно либо исключить, либо специально предусмотреть.

<sup>2</sup> Этот критерий в приведенной нестрогой формулировке позволяет, как представляется, выделять и некоторые служебные морфемы и служебные слова — в том случае, если они антонимически или каким-то иным регулярным образом коррелируют с единицами одного с ними порядка. Ср. в разговорной русской речи *Ты что, переел?* — *Недо* [= недоел]; *Он*

*tei whenua*, «уйди (1—2; 1 — показ, импер.) в (3) землю (4—5)»; *tahu-na<sup>^</sup> te<sub>2</sub> ahi<sub>1</sub>*, «разведи-пасс, (1) костер (2—3)». По-видимому, пассивный императив развивается, из вежливого выражения возмущения, каким является пассив конъюнктива (типологически такой генезис весьма правдоподобен). Синхронный его анализ как пассивного не оправдан, поскольку в рамках способов выражения волеизъявления он не противопоставлен какой-либо соотносительной активной конструкции. По критериям совпадения Агенса или Пациенса с группой темы и/или подлежащего, «пассивный» императив мадурского, как можно предположить, скорее активен (Пациенс — не тема), но точных данных на этот счет автор не дает.

В индикативе переходный глагол образует активную и пассивную конструкции. Последняя, как представляется, довольно частотна (ср. с. 133 о «высокой регулярности соответствия актив — пассив»), однако количественных данных автор не приводит. Кроме того, в МАД отмечена грамматическая каузативация, у переходных глаголов — интранзитивация (декаузативация), у битранзитивов — конверсивная мена дополнений.

В разделах, посвященных именным классам, неоднократно используется противопоставление этикетных (вежливых, «средних») и не маркированных по этикетности слов. Противопоставление не охватывает, как отмечает автор (с. 9), всей системы МАД, однако, насколько это следует из изложения, значимо (а) для некоторых лексических подсистем, (б) для некоторых синтаксических подсистем, а значит, выходит за рамки характеристик именного лексикона. Закономерность (б) ответственна за выбор между ирреализмом и императивом при более/менее вежливом выражении волеизъявления, между пассивом и активом при более/менее отстраненном или вежливом описании событий и т. п. Вероятно, экспликация этикетных различий в языках, близких МАД ареально и генетически, могла бы составить задачу отдельной работы.

Описанию синтаксиса простого и сложного предложений предшествует исчисление типов именных групп (нумеративные, атрибутивные, посессивные, с. 125—130). Автор пользуется при этом аппаратом метода непосредственно составляющих. Несколько неожиданным оказывается здесь то обстоятельство, что существительное управляет числительным (ср. с. 86), тогда как более принято считать вершиной нумеративного словосочетания именно числительное.

В простом активном предложении актанты не маркированы и противопостав-

ляются позиционно: базовым является, По-видимому, порядок Подлежащее — Сказуемое — Дополнение, ср. *Amir той> ka labang* «Амир открывает дверь». Агентивное дополнение типично вводится предлогом *bi'* и некоторыми другими, ср. соотв. *Labangna e-bukka' bi' Amir* «Дверь открывается Амиром». Косвенные дополнения вводятся предложениями. Помимо подлежащего пассива, имеется пассив-имперсонал, ср. *BaB, kotta% jareya, e-careta-aghii Ban, Amir\$ de? Fatimag* «Об (1) этом (3) городе (2) рассказывается (= пасс.) (4) Амиром (5—6) Фатиме (7—8)».

В описании сложных предложений автор вводит противопоставление собствен- ных сложных [о них сказано, что «в принципе они характеризуются как непосредственное соединение двух простых (предложений); в то же время к ним отнесены весьма многочисленные «конструкции, в которых конструкция простого предложения выступает в функции сирконстанта» [с. 152 —153]] и усложненных, с иерархически упорядоченными предикатами, в том числе нефинитными. Он признает, что между усложненным и сложным предложением есть промежуточные случаи (с. 152). Нам представляется, что понятие усложненного предложения не отличается сколько-нибудь значительным образом от понятия сложноподчиненного (с. 168 и др.). Единственным «выигрышем» от его использования оказывается возможность эксплицитно ввести предложения с зависимой предикацией, выраженной «оборотом» (т. е. нефинитной формой, именем действия и т. д.), в состав сложных. К сожалению, остаются нераскрытыми коммуникативные особенности усложненного предложения (автор только упоминает, что они существуют). В целом синтаксический раздел написан подробно и насыщен материалом. Именно синтаксические главы (7—9) «Грамматики» свидетельствуют о том, что А. К. Оглобин, не нарушая традиций грамматического описания, удачно приспособливает его к особенностям языка с бедной морфологией: это происходит за счет увеличения удельного веса синтаксиса.

Третий раздел монографии («К диахронической типологии малайско-яванских языков») представляет особый интерес: в нем обобщены результаты собственных наблюдений автора и наблюдений его коллег над изоглоссами малайско-яванских языков. Существование малайско-яванской группировки и вхождение в нее МАД, как было сказано, признается далеко не всеми, однако подход автора рецензируемой книги вполне оправдан: он неоднократно указывает, что не рассматривает малайско-яванские языки как строго генетическое единство. Именно исследования такого рода, как то, что

представлено в разделе III книги, позволяют верифицировать диахронические гипотезы. Выводы, полученные при сопоставительной работе на небольшой языковой группе, можно, вероятно, использовать в трех областях: 1) в сравнительно-историческом языкознании; 2) в лингвистике контактов (см. [8] о значимости малайско-яванского региона для истории австронезийцев и малайцев в частности); 3) в типологии языковых подсистем.

Ясно, что первое и второе направления неразрывно связаны. В связи с третьей, наименее очевидной, областью применения выводов из сопоставительной работы приведем заключение автора книги: «Совмещение инноваций и архаизмов в одной и той же языковой системе объясняется... тем, что не все свойства этой системы взаимосвязаны одинаково тесно...» (с. 182).

Подведем итог. Несомненно, задача книги, сформулированная автором в Предисловии (с. 3) — «представить очерк мадурского языка... максимально доступный для типологических сопоставлений», — выполнена: в обиход лингвистов введен обширный материал, раздвинуты (но не сломаны) традиционные рамки исследования, намечены его перспективы. Показательно, что недостатки и недоговоренности в рецензируемой работе возникают именно там, где автор вынужден заниматься трудными, неокончательно решенными задачами лингвистической типологии. Поэтому сказанное ниже скорее относится к самой типологии, а не к книге «Мадурский язык».

До сих пор нет удовлетворительной типологии фонологического и морфонологического уровней, поэтому автор должен быть готов к тому, что его читатели останутся не удовлетворены противопоставлением двухчленных (фонемные + интонационные противопоставления) и трехчленных (фонемные + просодические + интонационные противопоставления) языковых систем.

Противоречия, возникающие при членении морфологического уровня и выделении слова как единицы языка — в данном случае конкретно взятого языка, — это нерешенные проблемы типологии морфемы. Неудачи, ожидающие австронезиста после того как ему удается на основании синтаксических функций разграничить глаголы и имена, — это неудачи, которые терпит пока типология частей речи.

Не совсем четко сформулировано противопоставление плана содержания и плана выражения в сенцентральном синтаксисе (с. 51—54, § 8 «Синтаксическая и семантическая структура»). Весь параграф, кажущийся вообще излишне длинным, сводится к тому, что план содержания предложения — это 1) актантно-пре-

дикатная структура, описанная в терминах логических или семантических ролей (гиперролей) и, по-видимому, 2) структура, соотносящая части предложения (высказывания) с уже известной, исходной информацией и с тем, ради чего строится высказывание (иными словами, коммуникативная модель высказывания). В плане выражения различаются: оформление составляющих предложения сегментными средствами (морфемы, служебные слова), линейная позиция составляющих (а скорее, позиция + интонирование) и, наконец, способность составляющих предложения определять грамматические свойства других составляющих и/или иметь определенные грамматические свойства под влиянием других составляющих.

В плане синтаксической типологии автор находит в МАД языке черты аккузативного (номинативного), эргативного и активного строя. Аккузативность усматривается, в частности, в развитом противопоставлении по залоговым глаголам (актив—пассив). Но это не главный признак аккузативных языков; более того, залоговые противопоставления есть и в таких эргативных языках, как самоанский, эскимосский, чукотский, майя и др. Важно другое: подлежащее одноименной конструкции в МАД похоже на подлежащее же — а не на дополнение — активной двухместной — как явствует из описания в гл. 1. Это — решающий довод в пользу аккузативности. Что касается эргативности, то обязательность в пассиве агентивного дополнения — пожалуй, слишком слабое основание для сближения этого дополнения с подлежащим. Обязательны ведь и некоторые другие дополнения (например, прямое в активе). С другой стороны, приоритет в релятивизации и, по-видимому, тематичность (ср. с. 61) так же свойственны объектному подлежащему (в пассиве), как и субъектному (в активе). Между тем в эргативной конструкции объектный актант обычно входит в рему, а тематичен — субъект (Агенс). Эти наши возражения в какой-то мере адресованы не только Оглобину. Они указывают на недостаточную детальную проработку понятий аккузативной и эргативной конструкций в отечественной типологии.

Вообще же за вычетом нескольких излишне длинных теоретических экскурсов книга «Мадурский язык» написана ясно и в этом смысле оправдывает надежды автора на ее применение в практическом изучении этого языка. Грамматика не отягощена терминами, что, однако, нисколько не упрощает ее. Некоторое недоумение может вызвать использование термина «нумеральный» (вместо более принятого «нумеративный»), термине «группа существительного» при более

принято «именная группа» (для МАД это, кстати, важная терминологическая замена, если иметь в виду упоминавшуюся выше недостаточную расчлененность класса имен). Наконец, кажется не слишком удачным выражение «аффикс-повтор».

Два замечания хотелось бы адресовать издательству Ленинградского университета. Ротапринтная печать в книге довольно низкого качества. Многие буквы, в том числе в языковых примерах, читаются с трудом, а иные и вовсе не прочтены. Достоин сожаления, что один из наших ведущих и старейших университетов не располагает более совершенной техникой.

В книге отсутствует индекс служебных слов и морфем, что затрудняет того, кто пожелал бы читать мадурские тексты, поскольку оглавление недостаточно подробно для поиска служебных элементов в разных разделах и параграфах. Небольшое увеличение объема, к которому привело бы включение подобного указателя в книгу, имело бы только положительные следствия.

Типологи и компаративисты, австронезисты и специалисты по сопоставительному языкознанию получили умную, полезную книгу, и хочется верить, что в будущем она выдержит переиздание,

причем большим, чем первый (481 экз.) тиражом.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Blust R.* The reconstruction of Proto-Malayo-Javanic: an appreciation // *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde.* 1981. D. 137, afl. 4.
2. *Linguistic atlas of the Pacific area.* Pts 1–2 / Ed. by Wurm S., Hattori S. Canberra; Amsterdam, 1981, 1984.
3. *Касевич В. Б.* Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., 1983.
4. *Stevens A.* Madurese phonology and morphology (American Oriental Society series, 52). New Haven, 1968.
5. *Касевич В. Б.* Функциональные нули и их место в фонологической системе бирманского языка // *Народы Азии и Африки.* 1970. № 6.
6. *Алиева Н. Ф., Аракин В. Д., Оглоблин А. К., Сирк Ю. Х.* Грамматика индонезийского языка. М., 1972.
7. *Храковский В. С., Володин А. П.* Семантика и типология императива. Русский императив. Л., 1986.
8. *Bellwood P.* Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago. Oxford, 1985.

*Полинская М. С.*

*Сороколетов Ф. П., Кузнецова О. Д.* Очерки по русской диалектной лексикографии. Л.: Наука, 1987. 231 с.

Рецензируемая книга представляет собой первое в отечественном языкознании монографическое исследование русской диалектной лексикографии: ее истории и современного состояния.

Книга состоит из шести глав. Первые три главы посвящены историческому исследованию и критическому анализу пройденного русской диалектной лексикографией пути. Подробно рассматриваются все этапы развития науки о составлении русских диалектных словарей. Несомненную ценность представляет анализ словарей и словариков областных слов, опубликованных в различных печатных изданиях XVIII в., а также анализ источников, принципов создания, достоинств и недостатков первого и до сих пор единственного завершеного сводного словаря народных говоров — «Опыта областного великорусского словаря» Академии наук (1852 г.) с «Дополнением» к нему (1858 г.) и одного из высших достижений русской

лексикографии — «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля (1 гл.). Большой интерес вызывает проведенное во II гл. исследование русских диалектных словарей конца XIX — нач. XX в., знаменующих собой классический период русской диалектной лексикографии: словарей А. О. Подвысоцкого, Г. И. Куликовского, Н. М. Васнецова, В. Н. Добровольского и др. Всесторонняя характеристика областных словарей в рецензируемой работе включает в себя описание научных концепций их составителей, принципов отбора и подачи лексического материала, основных разрядов включаемой лексики, способов толкования слов. Теоретические рассуждения иллюстрируются фрагментами конкретных словарных статей, а это особенно важно в связи с тем, что некоторые из рассматриваемых областных словарей анализируются в лингвистической, литературе впервые. Ф. П. Сороколетов и О. Д. Куз-

нецова убедительно показывают, что, созданные разными людьми, несущие на себе печать индивидуальности их авторов, но объединенные общими принципами дифференциального отбора лексики и широкого включения этнографического материала, русские диалектные словари названного периода положили начало научному описанию русских народных говоров, задолго до появления диалектной лексикологии представили семантическое содержание русской диалектной лексики на широком этнографическом фоне, выработали рациональные приемы и способы лексикографической разработки диалектного слова, многие из которых нашли применение и дальнейшее развитие в в практике составления современных областных словарей. Глубоко и всесторонне освещается в работе новейший этап в истории русской диалектной лексикографии (III гл.). Авторы рассматривают современные направления диалектной лексикографии и их проблематику, а также существующую в диалектологии практику словарной работы с учетом отраженных в ней теоретических исканий и научных споров о типе диалектного словаря, его составе, принципах отбора лексики, организации и структуры словарной статьи, способах семантизации слов. Особое внимание уделяется типологии диалектных словарей. Предложенное в работе решение данного вопроса основывается на известных идеях Л. Б. Щербы [1] и существующих классификациях [2]. Чрезвычайно перспективной представляется активно проводимая в рецензируемой работе идея системности диалектных словарей. Центральное место в III гл. занимает анализ современных диалектных словарей, сгруппированных по принципу отбора лексического материала.

Вторая часть рецензируемой книги (IV—VI гл.) посвящена теоретическим проблемам диалектной лексикографии. В IV гл. анализируются проблемы соотношения диалектной лексики со словарным составом общенародного языка, прежде всего — с литературной лексикой, разграничения в лексическом составе народного говора диалектных и общенародных слов, а также возможность отражения последних в областных словарях. В определении диалектного слова авторы рецензируемой работы следуют идеям Ф. П. Филина: диалектным является «слово, имеющее локальное распространение и в то же время не входящее в словарный состав литературного языка...» [3]. Справедливо утверждая, что основу лексики любого говора составляют слова общенародные, известные и литературному языку, авторы на многочисленных примерах показывают, что между общенародными словами в говоре

и литературном языке наблюдаются как отношения полного сходства, так и отношения различия. Такие различия могут касаться объема значений соотносительных словесных единиц, их сочетаемости, широты употребления, стилистической и эмоционально-экспрессивной окраски, синонимических и антонимических связей и т. п. Вместе с тем, по твердому убеждению авторов, далеко не все из названных различий могут найти отражение в диалектном словаре (речь идет, прежде всего, о дифференциальном словаре). «Нельзя ставить перед словарем задачи, которые он в силу особенностей, присущих лексикографии, не может выполнить», — отмечается в работе (с. 127). Представляется, однако, что подобная точка зрения слишком категорична и правомерна только для существующих типов словарей. Достижения современной лингвистики все более определенно позволяют говорить о том, что «любые данные о языке могут быть представлены в лексикографической форме» [4].

В рецензируемой книге последовательно проводится мысль о том, что дифференциального в лексике диалекта меньше, чем интегрального, ибо каждый говор представляет собой только разновидность общенародного языка. Вместе с тем следит подчеркнуть, что идея семантической уникальности любой языковой единицы в системе говора [5] не отрицается авторами полностью, но оценивается как плодотворная в плане выявления еще не открытых или недостаточно четко сформулированных различий между словами литературного языка и народных говоров (с. 131—132). Подобный подход к проблеме тождества диалектного и литературного слова — одной из самых спорных проблем теоретической лексикологии и лексикографии — заслуживает самого серьезного внимания.

V гл. рецензируемой работы посвящена проблеме диалектного слова как элемента особой лексической системы. В современной научной литературе все более определенно утверждается идея системности говора и диалектного языка в целом [5—7]. Однако многое в организации названных диалектных образований, и прежде всего диалектной макросистемы, остается открытым и вызывает серьезные разногласия. В этом плане большой научный интерес представляет содержащаяся в первом разделе названной главы разработка вопроса о сущности и различиях лексико-семантической системы одного говора и лексико-семантической системы диалектного языка в целом, о характере междиалектных взаимоотношений и взаимосвязей словесных единиц. Весьма продуктивными представляются мысли авторов об открытости диалектной



макросистемы и относительной замкнутости словарного состава каждого отдельного говора, о необходимости различных подходов к изучению одного говора и системы диалектного языка. Однако утверждения авторов о возможности лишь диахронического исследования диалектной макросистемы и, как следствие, обязательности исторического характера сводного диалектного словаря вызывают возражения. Очевидно, что диалектный язык, как и отдельный говор, может рассматриваться не только с точки зрения исторического развития, но и с точки зрения современного состояния. Соответственно и словарь диалектной макросистемы может быть синхроническим (что, однако, возможно лишь при принципиально отличном от традиционного решении вопроса о семантической структуре слова и ее отражении в словарной статье).

Специальный раздел V гл. посвящен вопросу о типах диалектных слов, имеющему принципиальное значение не только в теории, но и в практике лексикографии, в частности, при отборе слов для дифференциальных словарей. Предложенная авторами классификация диалектных слов (с. 166—177) построена с учетом лексических групп, ранее не привлекавших внимания исследователей (в частности, в разделе лексических диалектизмов выделяются сложные слова).

Применительно к понятию «диалектная макросистема» рассматриваются в соответствующих разделах V гл. и такие сложнейшие проблемы диалектной лексикологии и лексикографии, как вариантность и материальная граница слова, семантическая граница слова, омонимия и полисемия. Авторы справедливо отмечают, что явления вариантности, омонимии и полисемии в диалектной макросистеме имеют иной статус, чем в системе одного говора или в системе литературного языка. Перенос системных отношений, наблюдаемых в отдельном говоре, на отношения в макросистеме неправомерен (с. 157). В работе указываются основные факторы разграничения самостоятельного слова и его вариантов, приводятся типы фонетических вариантов диалектных слов в макросистеме, а также предлагается решение вопроса о разграничении основных и подчиненных вариантов слова для системы одного говора и диалектного языка в целом.

VI гл. книги посвящена проблеме семантизации диалектной лексики, методам ее описания в областных словарях. Уже сама постановка подобной проблемы чрезвычайно важна, т. к. до сих пор способы семантической характеристики слова в словарях обсуждались и обсуждаются прежде всего на материале литературного языка, а инструкции по составлению сло-

варных статей в существующих диалектных словарях содержат лишь самые общие рекомендации. Рассматривая существующие в диалектной лексикографии подходы к разработке семантики слов — семантический и дефинитивно-описательный, — Ф. П. Сороколетов и О. Д. Кузнецова уточняют их возможности, справедливо указывая, что широко распространенный способ передачи диалектного слова через существующий литературный эквивалент нередко приводит к разного рода ошибкам: огрублению значения диалектного слова, неточности и неполноте передачи его семантики. Особое внимание уделяется вопросу о соотношении и разграничении филологических и энциклопедических принципов описания слов. Авторы доказывают, что толкование некоторых разрядов диалектной лексики требует обязательного перехода от определения значений к раскрытию идей, понятий, предметов реального мира (что связано с необходимостью отражения и закрепления в диалектном словаре достижений материальной и духовной культуры народа, национальных особенностей членения внеязыковой деятельности). Сближение филологического и энциклопедического словаря является для диалектной лексикографии неизбежным, теоретически оправданным и практически целесообразным (с. 211).

Проведенное в рецензируемой книге исследование выявляет огромную роль областных словарей в развитии научных представлений о территориальных разновидностях русского языка и их лексическом составе. Убедительно звучат содержащиеся в Заключении выводы о том, что в принципе отбора лексического материала в словари, структуре словарной статьи, грамматических, семантических и стилистических характеристиках слов с необходимостью находят выражение определенные теоретические взгляды, отражающие уровень языковедческих знаний и представлений своего времени. «На всем протяжении истории развития русского языкознания XIX—XX вв. диалектная лексикография, питаясь идеями общего языкознания и общей лексикологии, в значительной мере направляла и определяла пути развития диалектной лексикологии, определяла ее внутреннее содержание и методы ее разработки» (с. 226).

Работа Ф. П. Сороколетова и О. Д. Кузнецовой свидетельствует о том, что русская диалектная лексикография вступает в качественно новый период и действительно превращается в самостоятельную науку со своим предметом изучения, проблематикой, способами и методами исследования. «Очерки по русской диалектной лексикографии» намечают основные

пути развития этой науки, перспективы создания различных типов диалектных словарей. Для практической лексикографии рецензируемая работа может рассматриваться как ценное обобщающее руководство.

Безусловно, многие из затрагиваемых в книге проблем и вопросов требуют дальнейших углубленных исследований. Представляется, что развитие и уточнение отдельных выдвигаемых авторами идей и положений может быть связано с применением принципиально новых методов разработки диалектного материала с помощью ЭВМ, способных изменить традиционные представления об обязательной неполноте отражения в словаре лексики какого-либо языкового образования, создать новые формы семантизации диалектных слов.

В целом книга Ф. П. Сороколетова и О. Д. Кузнецовой является весьма весомым вкладом в науку о русском языке и его территориальных разновидностях.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Щерба Л. В.* Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 265-304.
2. *Блинова О. И.* Русская диалектология. Томск, 1984. С. 125—128.
3. *Филин Ф. П.* Проект Словаря русских народных говоров. М.; Л., 1961. С. 22.
4. *Караулов Ю. Н.* Методология лингвистического исследования и Машинный фонд русского языка // Машинный фонд русского языка: идеи и суждения. М., 1986. С. 13.
5. *Оссовецкий И. А.* Лексика современных русских народных говоров. М., 1982.
6. *Блинова О. И.* Введение в современную региональную лексикологию. Томск, 1973.
7. *Лукьянова И. А.* Некоторые вопросы диалектной лексикологии. Новосибирск, 1979.

*Загоровская О. В.*

*Златоустова Л. В., Потапова Р. К., Трунин-Донской В. СТ. Общая и прикладная фонетика/Под общ. ред. Потаповой Р. К. М.: Изд-во Московского университета, 1986. 304 с.*

Современная фонетика развивается столь стремительно, что с каждым годом становится все труднее очертить предмет данной науки: возникают новые прикладные отрасли фонетики (такие, как нейролингвистика, автоматическое распознавание речевых сигналов, речевое воспитание) и одновременно происходит дифференциация науки с точки зрения специфических целей и методов исследования (натуральная фонология, лексическая фонология, автосемантическая фонология и др.). В связи с этим появление рецензируемой книги является весьма своевременным. Отметим, что работы, посвященные подобной или близкой тематике, уже появлялись за рубежом [1—3], но данная книга значительно отличается по содержанию и даже по объекту исследования: авторы стараются охарактеризовать то новое направление, которое они называют «речеведением». В основу книги положены оригинальные, частично пока не опубликованные исследования авторов, подтвержденные большим по объему экспериментальным материалом.

В первой части книги (гл. 1—4), посвященной лингвистическим вопросам, излагаются четыре крупные проблемы современной фонетики — акустическая структура звучащей речи, стратификация

единиц звучащей речи, перцептивные характеристики речевых единиц и синтез речи. Рассмотрим содержание каждой главы отдельно.

В первой главе «Акустическая структура звучащей речи» (с. 9—53) излагаются основные положения акустической теории речеобразования (в основном по Фанту, Якобсону и Халле). Содержание данной главы составляет рассмотрение теоретических принципов и практических приемов сегментации речевого потока, поиск надежных признаков его членения. При этом обсуждается принципиально важный вопрос: какая стратегия более перспективна для этих поисков — от максимальных единиц к минимальным или наоборот, какой метод исследования стыков — параллельный или последовательный — более надежен. Чрезвычайно важно при этом, что авторы не навязывают своего мнения читателю, а приводят возможные аргументы за и против и тем самым заставляют читателя размышлять вместе с ними и самому сделать выбор. Экспериментатор-фонетист извлечет отсюда множество полезных сведений для первичной обработки речевого сигнала. К сожалению, не всегда раскрывается содержание ряда терминов, несколько отличающихся от традиционных,— напри-

мер, «тяжелый слог» в смысле «самый длительный, маркирующий конец фразы» (с. 33), «синтаксическая функция», «открытая и закрытая позиция» (с. 34), «глубинная структура» (не совсем ясен смысл этого термина по отношению к фонетике). Изложение теории локуса выиграло бы, если бы были внесены существенные коррективы и критические замечания, появившиеся после экспериментальной проверки этой теории [4].

В главе второй «Стратификация звучащей речи и ее единицы» (с. 54–92) приводятся результаты эксперимента по сопоставлению акустических параметров звуков русской речи в различных стилях. Исследовался значительный по объему речевой материал — 466 трехсловных фраз. Собственно, без данного эксперимента вряд ли можно было говорить о речеведении — он показывает изменчивость параметров изолированно произнесенных звуков, слов и естественной речи в зависимости от стиля произношения. Не повторяя полученных авторами выводов о характере этой изменчивости, отметим здесь наиболее важный результат — характеристику заударных слогов и обнаружение сегментов, характеризующих признаки двух или трех звукотипов. Авторы называют их полизвукотипами и приводят их перечень в русской речи.

В разделе 2.2 слог совершенно справедливо трактуется не как единица, механически сложенная из составляющих частей и обладающая суммарными признаками этих частей, а как качественно новая целостность со звуковыми свойствами, не сводимыми к сумме составляющих частей. Здесь приводятся комплексные характеристики слога (на материале германских языков), базирующиеся на многоаспектных исследованиях с учетом соответствующей литературы. Можно согласиться с мнением авторов о том, что слоговая ориентация при автоматической сегментации речевого потока является перспективной.

В разделе 2.3 «Фонетическое слово» приводятся новые экспериментальные данные о значении длительности и суммарной интенсивности при возникновении эффекта словесного ударения в русской речи. Длительность и интенсивность по данным эксперимента только в определенных позиционных условиях фразы может служить надежным коррелятом словесного ударения. Это означает, что корреляты ударения в русском языке весьма сложны и что следует продолжать их интенсивные поиски. При описании признаков синтагмы предлагается использовать понятие ритмо-мелодической схемы с целью получения более формализованных мелодических и силовых контуров

синтагмы как минимальной интонационной единицы.

В разделе 2.5 «Фраза» рассматриваются взаимоотношения между фразой, предложением и синтагмой. Далее следуют разделы «Фоноабзац» и «Текст», где авторы предлагают основы фонетического анализа звучащих текстов.

Глава третья «Перцептивные характеристики речевых единиц» (с. 93–109) знакомит читателя с достижениями в этой сравнительно молодой и бурно развивающейся области общей фонетики. Выделяя слог как одну из важнейших единиц восприятия, авторы подчеркивают значение слоговых стыков для адекватной идентификации речи. Здесь же приведены результаты оригинальных экспериментов по восприятию гласных в различных ритмических структурах (в начальной и конечной ПОЗИЦИЯХ во фразе). Чрезвычайно важны опыты по восприятию ритмических структур и вывод о том, что в памяти человека содержатся эталоны ритмических структур, которые позволяют, например, отличить упорядоченную стихотворную речь от прозаической без опоры на письменный текст.

В главе четвертой (с. 110–120) делается попытка показать, что синтез является важным критерием при фонетическом анализе. Экспериментатор-фонетист получает здесь интересные сведения о том, какими средствами располагает современная наука для проверки результатов анализа акустических свойств единиц звучащей речи.

Во второй части рецензируемой книги (гл. 5–9) рассматриваются прикладные аспекты звучащей речи. Эта часть состоит из ряда глав, содержащих сведения об ЭВМ, алгоритмах цифровой обработки речевых сигналов; обсуждаются также вопросы автоматического распознавания речи на различных организационных уровнях. Пятая глава «Краткие сведения о цифровых вычислительных машинах» (с. 121–154) посвящена детальному рассмотрению систем счисления, применяемых в современных ЭВМ. Значительную часть главы занимает обсуждение вопросов, связанных с историей развития вычислительной техники. Приведена структура ЭВМ первого, второго и третьего поколений, а также современных микропроцессорных систем. Достаточно подробно разбираются устройства ввода речевой информации в ЭВМ. Эти сведения безусловно являются полезными для читателей, однако, по нашему мнению, авторы излишне подробно останавливаются на изложении вопросов, связанных с ЭВМ первого и второго поколений, которые представляли интерес только для узкого круга специалистов, занятых историей развития вычислительной техни-

ки. Гораздо полезнее было бы поместить материал, конкретизирующий характеристики современных ЭВМ, с которыми приходится сталкиваться фонетистам в их повседневной практике, и дать начальные сведения о программировании на ЭВМ (или хотя бы ссылки на популярные современные пособия по программированию). Важно было бы также на несложных примерах показать конкретное применение аналого-цифровых преобразователей для непосредственного ввода звучащей речи в ЭВМ.

Наиболее важные методы и алгоритмы цифровой обработки речевых сигналов описаны в главе шестой (с. 155—183). В доступной форме излагаются метод спектрального анализа речевых сигналов и алгоритмы быстрого преобразования Фурье; дается также блок-схема этого алгоритма для 128 точечных преобразований. Представлены способы цифровой фильтрации речевых сигналов, подробно анализируется программа «Фильтр-1», позволяющая обрабатывать речевой сигнал с помощью нескольких рекурсивных фильтров. Подчеркиваются преимущества цифровой фильтрации, обусловленные доступностью получения нужных фильтров путем изменения параметров универсального алгоритма, высокой точностью и скоростью вычислений, отсутствием дрейфа характеристик фильтра и др. В главе имеется раздел, в котором читатель знакомится с простейшими методами расчета коэффициентов автокорреляции, авто-регрессии и других характеристик, позволяющих провести описание функционирования речеобразующего тракта и речевого сигнала с использованием линейного предсказания. Среди многочисленных методов автоматического анализа сигналов выделен и подробно описан метод нулевых пересечений. Показано использование современных микропроцессорных систем обработки сигналов. Глава насыщена математическими формулами и схемами, посредством которых детально поясняется принцип работы рассматриваемых алгоритмов. Вместе с тем необходимо отметить, что в главе не нашли отражения наиболее современные методы анализа временных рядов, например, методы быстрого преобразования Уолша, оптимальной фильтрации, стохастической аппроксимации, идентификации параметрических моделей временных рядов и др., которые в последнее время все больше привлекают внимание специалистов. Излишней, на наш взгляд, является детализация описания некоторых методов, например, метода быстрого преобразования Фурье. Читателю было бы полезней иметь программы для современных ЭВМ или хотя бы ссылки на

появившиеся в последнее время монографические издания, в которых эти программы имеются.

Глава седьмая «Акустико-фонетический уровень автоматического распознавания речи» (с. 184—221) посвящена различным направлениям работ по автоматическому распознаванию гласных на основе квазистационарных сегментов; обсуждаются четыре вида методов анализа звуковых сигналов. Подобная классификация представляется нам неполной, т. к. она не исчерпывает существующие методы обработки речевых сигналов и не учитывает новейших методов. Важными представляются разделы главы, посвященные анализу информативности первичных описаний гласных, проводимому на основании адекватно используемых статистических методов по алгоритмам, реализованным с помощью пакета прикладных программ ГРАФ. Глава снабжена богатым фактическим материалом, в основу которого положены данные по распознаванию гласных по параметрам клипированной речи. Особый интерес представляет исследование по автоматическому распознаванию согласных. Необходимо указать на недостаточную разработанность указанной проблемы в связи с большими трудностями автоматического распознавания и анализа некоторых классов согласных. Положительным является определенная общность методов, применяемых для анализа гласных и согласных звуков, что позволяет в какой-то мере унифицировать способы анализа сегментов речи.

В главе восьмой «Автоматическое распознавание слов и фраз, составленных из изолированных слов» даются сведения об адаптивных и неадаптивных системах определения слов. В качестве примера адаптивной системы, настраиваемой на диктора и словарь, приводится система, использующая алгоритмы динамического программирования. Положительным следует считать подробное и доступное для филолога изложение данного метода. Сведения о неадаптивных системах автоматического распознавания слов и фраз имеют более общий характер. Приведенные данные базируются на алгоритмах, реализованных на ЭВМ второго поколения БЭСМ-3М, и представляют только исторический интерес. В конце главы имеется небольшой раздел, описывающий интерактивные системы анализа речевых сигналов, применявшихся в середине 70-х годов.

Системы автоматического распознавания и понимания слитной речи приведены в главе девятой. Здесь излагаются краткие сведения о разработанных отечественных и зарубежных системах указан-

ного назначения и описаны трудности их реализации. Важным представляется раздел 9.1, описывающий перспективы автоматического распознавания речи и речевых сигналов. Однако, по нашему мнению, здесь уделено недостаточно внимания актуальной проблеме распознавания функционального состояния человека по характеристикам его речи. Эта актуальная в наше время проблема имеет большое значение в космонавтике, авиации, энергетике и других важных областях человеческой деятельности, где необходим постоянный контроль над состоянием человека. Упомянутая в рецензируемой работе задача определения эмоционального состояния оператора далеко не исчерпывает всех возможностей применения анализа состояния человека в различных, нередко экстремальных, ситуациях.

Заканчивая рецензию, следует еще раз

подчеркнуть оригинальность и новизну жанра книги. Она безусловно найдет читателей среди преподавателей вузов и широкого круга лингвистов, интересующихся звучащей речью и вопросами применения ЭВМ в лингвистических исследованиях.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Malmberg B.* Manual of phonetics. Amsterdam; London, 1970.
2. *Essen O. von.* Allgemeine und angewandte Phonetik. 5-te Aufl. B., 1979.
3. *Lindner G.* Grundlagen und Anwendung der Phonetik. B., 1981.
4. *Pitersson M.* Phonetik, Sprache, Sprachwissenschaft // ZPhon. 1978. Bd 31.

*Кальниш В. В., Проколова Л. И.*

*Скрибник JE. К.* Полипредикативные синтетические предложения в бурятском языке: структурно-семантическое описание. Новосибирск: Наука, 1988. 198 с.

Рецензируемая монография представляет собой самое полное на настоящий момент описание системы предложений с инфинитивными формами глагола в бурятском языке. Для сравнения отметим, что раздел о причастных и деепричастных оборотах в «Грамматике бурятского языка» занимает только 60 с. (см. [1]). Учитывая практически все предшествующие синтаксические работы по бурятскому языку, автор не только существенно уточняет, дополняет и систематизирует описание выявленных ранее конструкций, но и вносит в этот список целый ряд новых, обнаруженных в текстах и при работе с информантами. Таковы, например, полипредикативные построения, включающие серию причастно-падежных конструкций с семантикой эмотивности, сравнения, эмоционально окрашенного прогноза, адаптации, потенциальной оценки, метафорической локализации и т. д.

Автор пользуется понятийно-терминологическим аппаратом сибирской синтаксической школы (см. [2–4]) и называет конструкции с зависимой частью, возглавляемой причастными и деепричастными формами, нейтральным термином «полипредикативные». Это позволяет избежать старого спора о том, представляют ли они собой сложные предложения или простые осложненные. В теоретическом введении достаточно убедительно по-

казано, что полипредикативность в таком рода образованиях есть. Модальность, время и лицо как основные составляющие предикативности имеют в зависимой части не абсолютные координаты, а относительные: они отсчитываются не от момента речи, а от соответствующих значений главной части. Второй термин, использованный в работе, — «синтетические предложения» — опирается на структурную классификацию сложного предложения, разработанную в этой же школе с опорой на тюркологическую традицию. Здесь имеется в виду, что показатель связи частей сложного предложения, т. е. конструктивный центр и носитель синтаксической семантики этого предложения, имеет не аналитический характер (отдельное служебное слово типа союза), а синтетический (морфема, входящая в состав зависимого сказуемого и делающая соответствующую глагольную форму инфинитивной).

Исследование проведено на обширном материале: сюда входят материалы сплошной выборки по бурятским художественным и публицистическим текстам, а также экспериментальные данные, полученные у информантов во время лингвистических экспедиций по разным районам Бурятской АССР. Дистрибутивно-статистический анализ около 10 000 примеров позволил получить достаточно интерес-

ные результаты. Например, строго дифференцированный анализ конструкций с избыточным значением дал возможность выделить среди них четыре продуктивные модели с семантикой оперирования информацией, непосредственного восприятия, каузации и намерения.

Постулируя, что на синтаксическом уровне языка имеется обобщимое и исчисляемое количество единиц (аналогичных, например, фонемам на фонетическом уровне), автор ставит себе задачу их инвентаризации в виде структурных схем. Такая единица — модель предложения — предстает в трактовке автора как схема построения любого количества фраз одной или синтаксической семантики. В структурной формуле учитываются морфологические и семантические характеристики компонентов, а также способы их синтаксической связи (координация, управление, примыкание). В работе предлагаются критерии выделения отдельной модели, определения границ ее варьирования. Механизмы вариации модели также описаны: они касаются прежде всего соотношения модально-временных и личных (субъектных) планов главной и зависимой частей. Например, субъектные планы могут совпадать (моносубъектность фразы) и не совпадать (разносубъектность фразы). Во втором случае в зависимой части субъект может быть неопределенным (обобщенным) либо конкретным. Этим трем возможностям соответствуют различия в оформлении зависимой части: субъектное (иначе безличное, возвратное) притяжение и эллипсис позиции подлежащего в первом случае, отсутствие каких бы то ни было формальных средств во втором и личное притяжение в сочетании с формой рода падежа зависимого подлежащего — в третьем (см. табл. 2 на с. 32).

Получив конечный список моделей с инфинитивным зависимым сказуемым — около 200 единиц — автор далее решает проблему их классификации. В данной работе модели зависимых предикативных единиц (ЗПЕ) объединяются в те или иные типы по признаку формальной, а не семантической близости. Таких крупных типов выделяется шесть: причастно-падежные (например, *-ха-да* «когда»), причастно-последложные (*-ха, -han, -dag тухай* «о том, что»), причастные с «квази-союзами» (*xada* «поскольку», *haa* «если», *aad* «хотя»); с частными (*изеги* «будто, словно»), *-шуу, -dal* — с тем же значением), причастные беспаджные (определятельные) и деитричные. Таким образом, в сферу исследования попадают не только Ч:Стю синтетические конструкции, но и конструкции с элементами анализа (инфинитивная форма в сопровождении подлежащего слова — последла и т. п.). Мо-

дели между типами распределены неравномерно: больше всего насчитывается причастно-последложных (около 100 единиц).

Структура монографии определяется данной классификацией: каждому крупному типу полипредикативных синтетических предложений посвящена отдельная глава (всего их шесть). В первой же, вводной, излагается теоретическая концепция исследования и формально-понятийный аппарат описания. Здесь же описывается морфологическая база данной синтаксической системы: наборы инфинитивных форм, категория притяжения как формальное средство выражения зависимого (относительно) лица, характер соотношения средств реализации субъекта в зависимой части (показателей притяжения и формы зависимого подлежащего) и т. д. Понятие «относительное лицо», введенное и разрабатываемое сибирскими синтаксистами (см. [2, 3, 5, 6]), чрезвычайно значимо для описания синтаксиса сложного предложения и построено по аналогии с понятием «относительное время». Оно охватывает грамматические категории, нацеленные на характеристику субъекта зависимого действия, но через соотнесение не с участниками акта коммуникации (говорящий — слушающий), а с субъектом главного действия в терминах тождества/нетождества. Как в случае с относительным временем передается не прошедшее, настоящее или будущее, а одновременность/неодновременность, так и здесь выражается не 1, 2 или 3 лицо, а моносубъектность/разносубъектность. Это понятие, как нам представляется, довольно продуктивно.

Внутри глав, посвященных конкретным структурным типам предложений, дается исчерпывающее описание всех известных моделей, характеризуется их семантика, выявляются особенности использования в них показателей лица и времени. Во вводном параграфе каждой главы фиксируются общие признаки данного структурного типа, задается внутреннее его членение на подтипы, в заключительном же обращается внимание на отличия и место, занимаемое им в общей системе.

При описании причастно-падежных конструкций вводится с опорой на концепцию Е. И. Урятовой [4] понятие причастно-предикативного склонения как грамматического механизма, определяющего возможности использования падежей при конструировании сложных предложений. Следует отметить, что порядок рассмотрения конструкций регулируется системной значимостью падежей. В каждом случае раздельно анализируются конструкции с управляемой зависимой частью и с неуправляемой, обстоятельством.

В книге убедительно показано, что

система причастного предикативного склонения с ее сложной внутренней организацией является центральной для рассматриваемой системы конструкций с инфинитивными формами глагола; что уже здесь просматриваются различия (значимые для системы в целом) между тремя функционально-семантическими типами полипредикативных построений — конструкциями с управляемой зависимой частью, выражающей отношения типа «действительность — сознание» (оперирование информацией, эмоциональная реакция и др.); обстоятельственными конструкциями, выражающими отношения типа «действительность — действительность» (временные, причинные, целевые и др.), и, наконец, определительно-отождествительными (конструкции с предметной и событийной семантикой).

Впервые в бурятоведении детально описаны причастно-последложные конструкции — самый многочисленный класс, насчитывающий около 100 моделей. Автор дает список послелогов, способных употребляться с причастиями; анализирует случаи, когда один послелог образует несколько моделей, например: *-han дээрэ «пока»* и *-ха дээрэ «перед тем как»*, *-х-ын тула «чтобы»* и *-ха, -кан, -даг тула «поскольку»*. Установлено, что различия между моделями обычно связаны с вариативностью причастных и падежных форм при послелог. Система причастно-последложных конструкций во многом соотносится с причастно-падежной. Однако модели последложных конструкций более дифференцированы по значениям.

Анализируя конструкции с показателями отглагольного происхождения *aad «хотя»*, *hada «поскольку»* и *haa «если»* исследователь во многом уточняет бытовавшие представления о значениях данных моделей и обсуждает дискуссионный вопрос о статусе упомянутых выше показателей. По своим грамматическим свойствам они таковы, что не подходят ни под одну из имеющихся рубрик (союз, частица, послелог).

Большое внимание автор уделяет деепричастным конструкциям. По структурным характеристикам фразы с участием деепричастий делятся на моносубъектные и вариативно-субъектные, т. е. способные формировать конструкции со своим подлежащим в зависимой части. Как свидетельствуют факты, с деепричастиями возможны два типа моносубъектных фраз [с наличием или отсутствием аффикса субъектного притяжания *(-i)aa\*] и три типа разносубъектных (с прямым падежом зависимого подлежащего и без аффиксов личного притяжания; с род. падежом зависимого подлежащего). Автор приходит к выводу о том, что некоторые деепричастия помимо обстоятельственной

позиции могут занимать и другие места при главном сказуемом определенной семантики (целевая форма на *-хаяа* — при глаголах намерения, прогноза и т. п., условная форма на *-бал* — при оценочных лексемах).

В заключение подводятся итоги системного описания. Главные из них сводятся к следующим положениям: 1) формальные параметры зависимых предикативных единиц полностью предопределяются их функционально-семантическим типом; 2) принципы оформления конструкций с инфинитивными глагольными формами едины для всех структурных типов полипредикативных построений; 3) каждый структурный тип полипредикативных конструкций наряду с общесистемными закономерностями обнаруживает свои специфические особенности как в плане выражения субъекта, так и в отношении использования причастных и деепричастных форм; 4) система инфинитивных форм бурятского языка является живой и развивающейся системой, способной порождать новые модели полипредикативных образований.

Работа завершается инвентарным списком синтаксических моделей и указателем грамматических элементов, описываемых в тексте, что делает информацию более доступной и обзорной. Использование таблиц, формул и схем помогает компактно изложить исследуемый материал. К сожалению, в библиографии имеется ряд досадных огрехов: допущены неточности в указании выходных данных некоторых работ (например, Т. А. Бертагаева — с. 176, 3. В. Шверниной — с. 182, А. Шарху — с. 181), отсутствуют статьи С. Л. Чаркова, упомянутые в тексте (см. с. 6 и 22). Разумеется, приведенный список моделей ППК бурятского языка не является конечным: он может и должен быть пополнен в ходе дальнейших исследований. Автору следовало больше уделить внимания семантике данных конструкций, их функциональной характеристике. Кроме того, в монографии, претендующей на особый подход к анализу конструкций с причастными и деепричастными оборотами, желательнее было дать соответствующую критическую оценку и более развернутое изложение альтернативных концепций, существующих в монгольском языкознании, отечественном и зарубежном. О существовании неадекватных, порой взаимоисключающих, подходов к решению вопроса о грамматическом статусе синтаксических единиц, включающих в свой состав причастные и деепричастные обороты, свидетельствуют труды Г. Д. Санжеева, Т. А. Бертагаева, 3. К. Касыяненко, Ш. Лувсанвандана, Ц. Цэдэндамба и др., в том числе и автора этих строк.

Стремясь вести описание в нейтральной терминологии, автор устраняется от об- суждения спорного в синтаксисе монголь- ских языков вопроса: являются ли кон- струкции с зависимой инфинитивной ча- стью простыми или сложными?

В целом же рецензируемая книга от- личается содержательностью и глубиной анализа обширного материала, относяще- гося к сфере бурятского полипредикатив- ного синтаксиса. Опыт системного опи- сания и классификации бурятских поли- предикативных конструкций синтети- ческого типа, безусловно, представляет серьезный интерес для специалистов, за- нимающихся сопоставительно-типологи- ческим изучением строя сложного пред- ложения монгольских и других алтай- ских языков.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бертагаев Т. А., Цыдендамбаев Ц. Б.* Грамматика бурятского языка. Син- таксис. М., 1962. С. 117—177.

2. *Черемисина М. И.* Некоторые вопро- сы теории сложного предложения. Но- восибирск, 1980.
3. *Черемисина М. И., Бродская Л. М., Горелова Л. М.* и др. Предикативное склонение причастий в алтайских язы- ках. Новосибирск, 1984.
4. *Убрятова Е. И.* Исследования по син- таксису якутского языка. Сложное предложение. Кн. 1. Новосибирск, 1976.
5. *Бродская Л. М.* Причастные и деепри- частные конструкции в составе слож- ноподчиненного предложения // Инфи- нитные формы глагола. Новосибирск, 1980.
6. *Скрибник Е. К.* Способы выражения субъекта в системе зависимой предика- ции- (на материале бурятского языка): Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1980.

*Пюрбеев Г. Ц.*



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

19—22 декабря 1988 г. в Таллине состоялось рабочее совещание «Машинные фонды языков народов СССР», организованное Институтом языка и литературы АН ЭССР. В совещании приняли участие разработчики машинных фондов из Грузии, Казахстана, Киргизии, Коми АССР, Латвии, Литвы, с Украины, из Татарии, Эстонии, Ленинграда и Москвы.

По ряду языков были доложены результаты уже реализованных на ЭВМ разработок. По другим языкам заканчивается или продолжается проектирование баз данных, накопление первичных массивов данных.

В докладах были затронуты следующие основные проблемы: состав и структура машинных фондов различных языков, характеристика отдельных баз данных в составе машинных фондов, лингвистическое и программное обеспечение соответствующих разработок, машинные фонды и обучение языкам и некот. др.

Доклады показали, что в целом ряде республик имеются своеобразные концепции машинных фондов, которые активно разрабатываются и уже привели к получению существенных результатов. Так, в Грузинской ССР силами нескольких научных учреждений (Центральный институт научной информации по общественным наукам, ТГУ, Институт рукописей им. К. Кекелидзе и Институт истории АН ГССР и др.) Машинный фонд грузинского языка создается как иерархическая система взаимосвязанных баз данных и автоматизированных процессоров. Каждая из создаваемых баз данных включает определенный тип информации. Взаимоувязка баз данных делает возможным совместное использование нескольких баз и формирование новых баз на основе имеющихся данных. Создаваемые процессоры предполагают автоматизированное заполнение баз данных и аналитическую обработку данных (докладчик В. П. Гугушвили). В качестве одной из первых составляющих Машинного фонда грузинского языка создана база данных грузинских топонимов,

включающая 300 тыс. географических названий. Создаются также полнотекстовая и словарная базы «Мученичества Шушаники», древнейшего грузинского письменного памятника, компьютерная версия грузинско-русского фразеологического словаря и другие лингвистические и фактографические базы данных.

Эстонские разработчики предлагают концепцию инструментального подхода к созданию машинных фондов языков СССР (докладчик М. Реммель). Данная, концепция предполагает создание программных средств высокого уровня, ориентированных не непосредственно на обработку языкового материала, а на генерацию программных средств более низкого уровня, предназначенных для решения конкретных лингвистических задач. Другой особенностью инструментального подхода является его принципиальная направленность на использование традиционных описаний (словарей и грамматик), что позволяет включить в оборот уже имеющиеся описания для многих языков, для которых формальных описаний нет. Третья особенность «эстонского варианта» — ориентация на хозрасчетные отношения между разработчиками машинных фондов. Эти принципы положены в основу разрабатываемого в Эстонии проекта PROFUNDA, отдельные части которого были доложены на совещании и показаны во время демонстрации в Таллинском политехническом институте (докладчики Ю. Вике, К. Калдамяэ).

Лингвисты и программисты из Москвы и Ленинграда (О. А. Казакевич, Л. И. Колодяжная, Ж. Г. Мошкович, А. С. Асиновский) доложили о работах по созданию машинных фондов младорисменных языков народов СССР, в том числе о Машинном фонде селькупского языка. Последний разрабатывается в Лаборатории АЛС НИВЦ МГУ как совокупность текстовой и словарной баз данных, способных к постоянному пополнению. В качестве программного обеспечения Машинного фонда селькупского языка используется систе-

ма УНИЛЕКС-2. В настоящее время текстовая база данных содержит 28 текстов (свыше 10 тыс. словоупотреблений). Получены частотные и алфавитно-частотные словари словформ по всему корпусу и по отдельным текстам, обратный словарь словформ и конкордансы по говорам. Завершается автоматическая лемматизация корпуса. Основными компонентами словарной базы данных являются автоматический словарь селькупского языка и русско-селькупский словарь (около 2,5 тыс. словарных статей). На основе последнего автоматически получен словарь синонимов селькупского языка.

В докладе М. М. Пещак (Киев) было охарактеризовано состояние работ по Машинному фонду украинского языка. К концу 1988 г. в нем имелось пять подфондов (словарный, социолингвистический, иллюстративно-текстовый, диалектологический и только зарождающийся фонд письменных памятников). Основным видом работы до последнего времени было накопление материалов в составе первичных баз данных, создаваемых на основе печатных изданий и ответов на анкеты, и вторичных баз данных, являющихся результатом автоматизированной обработки текстов и анкет. Начата также разработка программных средств для обслуживания имеющихся баз данных.

В нескольких республиках ведется работа преимущественно над словарными компонентами машинных фондов. Об этом было доложено представителями Казахстана (С. А. Усковбаев), Коми АССР (С. В. Лесников), Литвы (В. Жилинке и др.), Татарии (К. Р. Галиуллин).

Совещание прошло в деловой обстановке, при хорошем уровне взаимопонимания между его участниками, что позволяет надеяться на дальнейшее активное развертывание работ по машинным фондам национальных языков.

\*

С 22 по 27 мая 1989 г. в Москве прошла третья Всесоюзная конференция по созданию Машинного фонда русского языка (МФ РЯ), организованная Институтом русского языка АН СССР и МГУ им. М. В. Ломоносова [1]. В конференции приняли участие 170 исследователей и разработчиков в области компьютерной лингвистики. Было проведено 2 пленарных и 14 секционных заседаний. Работали секции: лингвистических процессоров, словарных фондов, машинных фондов языков народов СССР, диалектных фондов, текстовых фондов, фонетических фондов и терминологических фондов.

В Институте русского языка АН СССР впервые были проведены демонстрации программно-источниковых продуктов на ЭВМ ЕС-1036, СМ-4 и персональных компьютерах.

В. М. Андрюшенко (Москва) в докладе «О рабочем проекте МФ РЯ» охарактеризовал состояние работ в головной организации — ИРЯ АН СССР. К настоящему моменту в основном создана вычислительная база и активно ведутся работы по главным компонентам МФ РЯ. Центром МФ РЯ является Генеральный словник русского языка, идея которого принадлежит акад. А. П. Ершову. С Генеральным словником должны быть согласованы все остальные базы данных. Уже имеются машинные версии Грамматического, Словообразовательного, Орфографического словарей и словаря «Слитно или раздельно?». Следующим этапом работы является создание сводного машинного словаря русского языка, включая программно-технологические средства автоматизированного формирования словарной статьи и пополнения словаря за счет обработки текстовых массивов. На конец 1990 г. запланировано иметь в машинной форме словник объемом около 200 тыс. словарных статей с морфологической и частично синтаксической информацией. По Иллюстративно-текстовому фонду активно ведется формирование пяти корпусов текстов (разговорной речи, фольклорных, общественно-политических, поэтических и прозаических художественных текстов). В составе Академического словарно-грамматического фонда вступила в эксплуатацию первая версия Автоматического варианта ДАРЯ, первая версия Автоматического синтаксического словаря Г. А. Золотовой. Активно ведутся работы по созданию принципиально нового типа словаря — Автоматического фразеологического словаря русского языка, а также по Ассоциативному тезаурусу русского языка.

В докладе Ю. Н. Караулова (Москва) «Всесоюзная программа "Русский язык», и задачи Машинного фонда» последний был охарактеризован как средство поддержки программы «Русский язык». В разработках, ведущихся в рамках МФ РЯ, отражаются три шага информатизации общества. Первым шагом является создание разнообразных ИПС. Применительно к МФ — это конкордансы и программно-источниковые пакеты по разным типам текстов. Второй шаг информатизации предполагает создание экспертных систем. В качестве таковых могут рассматриваться все процессоры и автоматизированные словари в составе МФ РЯ. Третьим шагом информатизации является создание систем типа «гипертекст», которые способны порождать но-

вые знания и синтезировать новые тексты. К системам такого типа приближаются два компонента МФ РЯ: Автоматический вариант ДАРЯ и Ассоциативный тезаурус русского языка.

Ряд докладов был посвящен лингвистическому, математическому и программному обеспечению процессоров русского языка. Доклады показали, что работы в этой области весьма продвинуты и продолжают активно развиваться. Разработкой НИИ систем автоматизации НПО «Каскад» (Москва, - докладчики Э. И. Королев и др.) характеризуется комплексный подход к лингвистическим процессорам как системе средств, предназначенных для многоцелевой и многоаспектной обработки русских научно-технических текстов, включая средства создания и ведения комплекса машинных словарей, системы анализа, коррекции и синтеза текста, средства создания баз знаний автоматизированных систем. В докладах ученых МГУ (М. Г. Мальковски и др.) лингвистический процессор рассматривается как часть более общей системы понимания естественного языка в рамках работ по искусственному интеллекту. Принципом системы искусственного интеллекта TULIPS-2 и ее лингвистического процессора «АДАМАНТ» является открытость как лингвистических, так и предметно-ориентированных знаний. Представители ЛГУ (Г. С. Цейтин и др.) разрабатывают систему машинного понимания текстов в ограниченной предметной области на основе распределенного представления языковых и предметных знаний. В данной системе в качестве промежуточной структуры данных используются ассоциативные сети, в которых отдельными узлами представлены как языковые объекты, так и соответствующие им внеязыковые объекты. В ИППИ АН СССР под руководством Ю. Д. Апресяна разрабатывается лингвистический процессор для перевода запросов на естественном (русском) языке на искусственный язык SQL, предназначенный для обращения к базам данных реляционного типа (докладчики И. М. Богуславский, Л. Л. Цинман).

На секции Словарных фондов обсуждались три основных круга проблем: разработка машинных словарей, программное обеспечение словарей МФ РЯ, конкретные лингвистические задачи, которые могут быть поставлены на машинных словарях. Совместный доклад представителей ЛО ИЯЗ АН СССР и НИВЦ МГУ (Р. П. Рогожникова, Л. И. Колодяжная и др.) был посвящен работе над сводным словариком русских словарей, который включает 14 наиболее авторитетных и массовых

словарей русского языка. В настоящее время сводный словарик содержит более 170 тыс. слов и находится в печати. В выступлении по докладу В. М. Андрюшенико подчеркнул, что сводный словарик не следует смешивать с машинным Генеральным словариком русского языка. Последний предполагает особую структуру словарной статьи и будет, в частности, содержать такую информацию, которой нет в традиционных словарях. Источниками Генерального словарика будут сводный словарик русских словарей, нетрадиционные словари (например, словари лингвистических процессоров), а также автоматически обрабатываемые тексты. В докладе Н. Н. Леонтьевой (Москва) был охарактеризован Русский общесемантический словарь (РОСС). Словарь не связан жестко с какой-либо предметной областью и включает большое количество эксплицитно поданной информации. Словарная статья имеет около ста полей, объединенных в десять зон, четыре из которых содержат семантические и энциклопедические сведения. Словарь предназначен для лингвистической экспертизы текста в режиме «человек — машина». Результаты экспертизы в форме семантического представления текста будут накапливаться в базе текстовых знаний, которая станет основным компонентом информационно-справочной системы по общественно-политической тематике. На секции была также освещена работа над Автоматическим словарем русских неологизмов (планируемый объем — 60 тыс. словарных статей), которая ведется в ЛО ИЯЗ АН СССР (докладчики Т. Н. Буцева, С. И. Алаторцева), и другие проекты.

Большое внимание <ловарным работкам было уделено также на секции Машинных фондов языков народов СССР. Преимущественное развитие словарного подфонда характерно для ряда МФ: эстонского (доклады Ю. Вике, И. Хейн, К. Калдамяэ), татарского (доклад К. Р. Галиуллина и др.). В МФ украинского языка создан Морфемно-словообразовательный фонд, представляющий собой словарную базу данных со словариком свыше 165 тыс. единиц, снабженную разнообразным программным обеспечением, с информационно-справочной и исследовательской функциями (доклад Н. Ф. Клименко и др.). В МФ латышского языка получили наибольшее развитие текстовые базы данных (общий объем — более 350 тыс. словоупотреблений). По части массива (250 тыс. словоупотреблений) получен автоматический частотный словарь словоформ (37 тыс. единиц) (докладчики В. А. Дризуле и др.). Активно ведутся работы над МФ младописьменных

и бесписьменных языков. В Л О И Я З АН СССР создается информационная система, включающая словарные и текстовые данные на машинных носителях по чукотскому, керекскому, корякскому, ительменскому, эскимосскому, ненецкому, юкагирскому, нивхскому, нганасанскому, адыгейскому и гагаузскому языкам (докладчики А. С. Асиновский и др.). В НИВЦ МГУ продолжается работа по МФ селькупского языка (докладчик О. А. Казакевич). К настоящему времени проведена автоматическая лемматизация корпуса текстов, получены частотные, алфавитно-частотные и обратные словари словоформ и лексем, словоказатели и конкордансы. Результаты использованы при подготовке учебника селькупского языка для подучилищ.

Работа секции Диалектологического фонда (ДФ) показала, высокий уровень взаимопонимания и координации усилий основных разработчиков: представителей Отдела диалектологии и лингвогеографии АН СССР, Саратовского и Сыктывкарского ГУ. Общая концепция Диалектологического фонда была изложена в докладе Н. Н. Пшеничновой. Основными составляющими ДФ должны быть: словарный, текстовый, справочно-грамматический и лингвогеографический подфонды. В рамках последнего сотрудниками Отдела диалектологии и лингвогеографии разработано лингвистическое обеспечение Автоматического варианта ДАРЯ (программное обеспечение разработано Г. А. Черкасовой). Детальный проект текстового подфонда, центрального для ДФ в целом, был представлен в докладе В. Е. Гольдина (Саратов). Доклады представителей Сыктывкарского ГУ (О. В. Загоровская, С. В. Лесников и др.) по Автоматизированному словарю русских народных гороров могут служить основой проекта словарного подфонда ДФ.

На секции Фонетических фондов (ФФ) продолжалось обсуждение концепций ФФ в составе МФ РЯ. Одна из них представлена разработками кафедры фонетики ЛГУ (руководитель — Л. В. Бондарко). В соответствии с этой концепцией ФФ должен включать фонетическую базу данных, т. е. зафиксированные на магнитной ленте звуковые реализации, а также сведения о фонеменном составе значимых единиц — морфем и словоформ, извлекаемые из машинных версий словарей морфем и словоформ, и, наконец, автоматический транскриптор, позволяющий представить орфографический текст в виде звуковых последовательностей (с разной степенью подробности). Более широкое понимание структуры ФФ как открытой системы, которая может попол-

няться различными компонентами в соответствии с возникающими исследовательскими задачами, было предложено в докладе О. Ф. Кривновой и Н. В. Зиновьевой (МГУ). ФФ, по мнению докладчиков, должен включать базу фонетических знаний, базу фонетических данных, инструментально-техническое обеспечение и корпус образов звучащей речи (фонотеку). Представители Лаборатории экспериментальной фонетики АН СССР (Р. Ф. Касаткина и др.) в своих докладах подчеркнули необходимость включения в состав ФФ большого количества записей спонтанной речи, полученных от носителей региональных вариантов русского языка и диалектов.

В докладах секции Терминологических фондов нашли отражение разработки в области создания баз знаний на основе крупных терминологических банков данных. Эти системы не являются компонентами МФРЯ, но имеют для его развития большое значение. Так, Автоматизированный банк данных по стандартизированной терминологии (СОВТЕРМ) является развитием системы АСИТО, работающей во ВНИИКИ. СОВТЕРМ должен обеспечивать одновременную обработку не менее 300—400 тыс. терминологических статей и ежегодное пополнение базы данных не менее чем на 25—30 тыс. статей (докладчики И. Н. Волкова, В. А. Гарбарчик). Большой интерес вызвал комплекс терминологических банков данных по картографии, разрабатываемый в Горьковском ГУ (докладчики Р. Ю. Кобрин и др.). Система принимает запросы по терминологии картографирования и по «языку карты» (совокупности терминов и условных знаков, описывающих объекты действительности и отношения между ними, а также пространственное положение объектов) и обладает чертами разработки по искусственному интеллекту.

На секции Текстовых фондов большое внимание было уделено вопросам программного и информационного обеспечения соответствующих разработок. Общие перспективы развития Текстового фонда МФ РЯ были определены в пленарном докладе А. С. Герда (Ленинград) «Автоматизированные лексические базы данных ИРЯ как единое целое». По мнению докладчика, основой МФ РЯ должны быть базы данных полных текстов, вводимых без предварительной обработки. Докладчик предложил список из 10 разножанровых баз, которые должны быть созданы в течение пяти лет. Центральное место среди них занимает сводный иллюстрационно-текстовый фонд источников нового академического словаря (Словарь второй половины XX в.).

Пленарный доклад С. Е. Никитиной (Москва) «Фольклорные тексты в Машинном фонде русского языка» содержал характеристику одного из текстовых фондов. В его составе — произведения двух фольклорных жанров: духовные стихи и свадебные причитания, общим объемом около 80 тыс. словопотреблений. Предложен ряд задач, которые могут быть поставлены на этом материале. Центральная из них — составление семантического словаря фольклора тезаурусного типа. Работа над ним активно ведется с использованием тексто-ориентированной компоненты автоматизированной системы «УНИЛЕКС». Данной системе был посвящен отдельный доклад. Разработчик, Ж. Г. Мошкочич (НИВЦ МГУ), познакомила собравшихся с основными возможностями пакета. Он обеспечивает полный цикл машинной обработки текстов: составление частотных словарей, словоуказателей и конкордансов, а также формирование базы данных, позволяющей работать с текстами в режиме «запрос — ответ». В качестве запроса может быть задано слово, словосочета-

ние или группа слов; пользователь-лексикограф может варьировать такие параметры, как размер контекста, число и область поиска контекстов и др.

Конференция закончилась принятием решения, вобравшего в себя итоги многочисленных дискуссий и обсуждений. В нем отмечено существенное продвижение в разработке многих компонент МФ РЯ (прежде всего словарных) и выделено главное направление дальнейшей работы: «создание систем автоматизации лингвистических исследований в институтах Академии наук и вузов, основой которого является накопление источников для изучения языков — текстов, словарей, грамматик, диалектного и фольклорного материала, памятников письменности».

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Третья Всесоюзная конф. по созданию Машинного фонда русского языка: Тез. докл. Ч. 1—2. М., 1989.

*Кукушкина Е. Ю.* (Москва)

22 ноября 1988 г. в Словарном отделе Института языкознания АН СССР в Ленинграде состоялось совещание по вопросу русской исторической лексикографии, организованное Комиссией лингвостранографии Географического общества СССР совместно со Словарным отделом и Межкафедральным Словарным кабинетом им. Б. А. Ларина (Ленинградский ун-т). В совещании приняли участие лексикологи из Москвы, Ленинграда, Петрозаводска, Вологды, Арзамаса, Перми, Красноярска, Хабаровска.

Совещание открыл заведующий Словарным отделом А. С. Герд. Актуальность обсуждаемой проблематики, как подчеркнул председательствующий С. С. Волков (Ленинград), определяется в первую очередь тем, что исторические словари являются той базой, без которой невозможно создание исторической лексикологии русского языка.

В ходе совещания было заслушано семь докладов. О теоретических проблемах построения регионального словаря говорилось в докладе Г. В. Судакова (Вологда), посвященном изложению принципов создания Словаря Северной Руси XIV—XVII вв. и проспекта Вологодского исторического словаря как его составной части. На необходимость созда-

ния региональных словарей для воссоздания исторического ландшафта русского языка и в качестве базы для будущего общерусского регионального словаря XI—XVII вв. указала в докладе «О словаре воронежской деловой письменности» В. И. Дьякова (Москва), изложившая принципы построения Воронежского регионального словаря. В ряде докладов прослеживалось стремление провести границу между диалектными и региональными словарями (Г. В. Судаков, О. С. Желская, выступление З. М. Петровой). Различие между диалектизмами и регионализмами четко определила в докладе «Региональная лексика как предмет исторической лексикографии» О. С. Желская (Ленинград): если диалектизмы составляют принадлежность современных говоров, то регионализмы созданы в определенный исторический период и актуальны до тех пор, пока существуют обозначаемые ими реалии.

В центре внимания участников совещания оказались такие важные вопросы, как отбор и характер источников региональных словарей, состав их словников, пути создания картотек и т. д. Региональная лексикография, как отметила З. М. Петрова (Ленинград), значительно расширяет круг источников. Как свидетельствовали доклады, сегодня это и деловая письменность Сибири со време-

ни ее основания [об этих источниках, хранящихся в различных архивах страны, сообщила в своем докладе Л. М. Гордилова (Хабаровск), выдвинувшая ряд требований, необходимых «при подборе рукописных материалов XVII в.], и памятки письменности Карелии XV—XVII вв. и т. д. Л. П. Михайлова (Петрозаводск) обратила внимание присутствующих на лексические данные не изучившихся до сих пор документов Олонечкой приказной избы, Соловецкого и Палеостровского монастырей. Лексика этих памятников далеко не всегда находит отражение в издаваемых Институтом русского языка АН СССР Словаре XI—XVII вв. и Словаре русских народных говоров. Мнения по поводу источников свелись в целом к общему знаменателю: круг источников должен быть максимально широк и разнообразен как в жанровом, так и в тематическом отношении.

Наиболее оживленную дискуссию вызвал, пожалуй, вопрос о том, каким должен быть региональному словарю: полным или дифференциальным. Так, Г. В. Судаков, В. И. Климова, Л. А. Дьякова (как и З. М. Петрова в выступлении по докладу) отстаивали идею дифференциального словаря, тогда как Л. М. Гордилова и выступавший в прениях С. С. Волков считали полный словарь предпочтительнее, хотя бы уже потому, что именно полный словарь способен отразить варианты, не зафиксированные словарем XI—XVII вв.

На необходимость этимологических исследований применительно к региональному словарю указал С. С. Волков в связи с интересным докладом Л. А. Климова (Арзамас), посвященным проблеме составления микропонимического словаря южных районов Горьковской области. Проблематика этого доклада в известной мере пересекалась с темой сообщения И. А. Кюршуновой (Петрозаводск), в котором затрагивался вопрос о номенклатурной топонимии старорусского языка по памятникам письменности Карелии. Как отметил Г. В. Судаков, обе докладчицы обратились к материалу, крайне редко привлекаемому составителями региональных словарей, что определило несомненную актуальность обоих выступлений.

Обсуждение докладов выявило общее стремление к координации усилий лексикографов и конкретизации дальнейшей работы.

Г. А. Богатова (Москва) вновь поддержала обсуждавшееся ранее на совещаниях в Вологде и Днепропетровске предложение о создании сборников по материалам совещаний, что даст широкие

возможности в плане обмена мнениями. В связи с этим А. С. Герд выдвинул встречное предложение: включать в подобные сборники не авторские статьи, а суммарные обзоры по проблемам региональной и диалектной лексикографии. Идею создания сборников поддержал и С. С. Волков, отметив, что они представляют интерес для преподавателей вузов.

Чрезвычайно notableший вопрос о статусе лексикографа затронула в своем выступлении Г. А. Богатова. Помочь его решению может недавно созданная Ассоциация лексикографов. Изменение статуса лексикографа безусловно скажется на интенсивности развития теории лексикографии. В выступлениях Г. А. Богатовой прозвучала также мысль о необходимости технического совершенствования работ по созданию словарных картотек.

Если проблематика докладов была связана с исторической региональной лексикографией, то свободный обмен мнениями за Круглым столом касался одной из актуальнейших задач современной науки о русском языке: создания академической исторической лексикологии. Круг вопросов был намечен заранее в Анкте, опубликованной к совещанию в Вологде. Уже в Вологде и Днепропетровске в первом приближении намечался облик будущего исследования. Собравшихся за Круглым столом в Ленинграде занимали в первую очередь такие проблемы, как основной объект исторической лексикологии, хронологические границы исследования, проблемы взаимоотношения общерусской и местной лексики, междисциплинарные связи, вопрос о группах слов, подлежащих изучению, и т. д. Понятно, что работа над таким фундаментальным трудом требует уже на первом этапе решения весьма непростых организационных вопросов. Участники Круглого стола сочли целесообразным принять предложение А. С. Герда о создании неформальной межведомственной комиссии со своим секретариатом в Москве и в Ленинграде, которая могла бы развернуть работу по созданию проекта и макета будущего исследования, координируя работу на местах. В организационном отношении подобная комиссия мобильнее, чем кафедры вузов или отделы академических институтов. При чрезвычайно сжатых сроках, отсутствии кадров, в условиях хозрасчета и самокупаемости создание такой комиссии является единственно возможным путем решения поставленной задачи. Созданную по решению совещания комиссия возглавила Г. А. Богатова.

*Этерлей Е. Н.* (Ленинград).

МОНОГРАФИИ И СБОРНИКИ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ.

СПИСОК ПУБЛИКУЕТСЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ПОСТУПИВШИХ КНИГ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ».  
ПРИСЛАННЫЕ КНИГИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.  
КНИГА ОСТАЕТСЯ У РЕЦЕНЗЕНТА.

*Васильев С. А.* Синтез смысла при создании и понимании текста. Киев. 1988. 239 с.

*Оерен И.* Паренесис Ефрема Сирина. К истории славянского перевода. Урpsala. 1989. 146 p.

*Шварцкопф Б. С.* Современная русская пунктуация. Система и ее функционирование. М. 1988. 191 с.

*Braun F.* Terms of address. Problems of patterns and usage in various languages and cultures. Berlin; New York; Amsterdam. 1988. 372 p.

*Cienki A. /.* Spatial cognition and the semantics of prepositions in English, Polish, and Russian. München. 1989. 172 p.

*Guiraud-Weber M.* L'aspect du verbe russe (Essais de presentation). Aix-en-Provence. 1988. 131 p.

Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam. 1987. 298 p.

*Esteva M. F.* Principios de organizacion del lenguaje (Estudio liminal). La Habana. 1980. 88 p.

*Freidhof G.* Ausgewahlte Vortrage zur slawischen Philologie. 1976—1981. München. 1989. 108 S.

*Herbert R. K.* Language universale, markedness theory, and natural phonetic processes. Berlin; New York; Amsterdam. 1986.

*Horn G.* Lexical functional grammar. Berlin; New York; Amsterdam. 1983. 394 p.

*Grau M.* Untersuchungen zur Entwicklung von Sprache und Text bei M. M. Zoszenko. Dargestellt an Kurzgeschichten der 20er Jahre. München. 1988. 401 S.

*Novak V.* Slovar stare knjizne prekurs6ine. Ljubljana. 1988. 73 str.

*Seidel H.-E.* Kasus. Zur Explication eines sprachwissenschaftlichen Terminus (am Beispiel des Russischen). Tubingen. 1988. 167 S.

Slovník ceske frazeologie a idiomatiky. V'razy neslovesne. Praha. 1988.

*Spraul H.* Untersuchungen zur Satzsemantik russischer Satze mit freien Adverbialen. Am Beispiel von Lokal-, Temporal-, und Modaladverbialen. München. 1986. 290 S.

Texts and studies on Russian universal grammar. 1806—1812/Ed. in three volumes by Biedermann J. and Freidhof G.: Vol. I. I. Ornatovskij. Novejsee nafiertanie pravil Rossijskoj grammatiki. Char'kov. 1810 — München. 1984. 311 S.; Vol. II. The Universal grammars of I. Rizskij, Char'kov. 1806, N. Jazvickij, SPb. 1810; I. Timkovskij, Char'kov, 1811; L. G. Jakob, SPb, 1812.— München, 1984. 104 S.; Vol. III. Linguistische, philosophische und wissenschaftliche Grundlagen — München, 1988.

*Voorst J. van* Event structure. Amsterdam; Philadelphia, 1988. 181 p.

*Rizzi E.* Italiano regionale e variazione sociale: L'italiano di Bologna. 1989. 149 p.

Технический редактор *Белыева Н. Н.*

Сдано в набор 30.10.89

Подписано к печати 25.12.89

Формат бумаги 79x100/8

Высокая печать

Усл. печ. л. 14,3

Усл. кр.-отт. 82,5 тыс.

Уч.-изд. л. 16,2

Бум. л. 5,5

Тираж 5700 экз.

Заказ 362

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ  
ЖУРНАЛА «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

4. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

5. Библиография в журнале оформляется следующим образом.

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи; б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае однократной ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

6. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

7. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

8. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.